

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

С Е Д Ь М А Я

М Ю Л Ь

М О С К В А
4 . 9 . 2 . 7

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Ал. ТОЛСТОЙ.—Хождение по мукам, <i>роман</i>	5
2. Мих. ДАНИЛОВ.—Матросская песнь, <i>стихотворение</i>	29
3. Мих. ЮРИН.—Баку—Тифлис, <i>стихотворение</i>	31
4. Сергей МАЛАШКИН.—Записки Анания Жмуркина, <i>повесть</i> , окончание	33
5. Иван ПРИБЛУДНЫЙ.—Хитрая сказка, <i>стихотворение</i>	61
6. Ник. ТИХОНОВ.—Рассказ с примечанием	63
7. Пант. РОМАНОВ.—Большая семья, <i>рассказ</i>	79
8. Петр ОРЕШИН.—Снежная гармоника, <i>стихотворение</i>	90
9. Мих. ГЕРАСИМОВ.—Два стихотворения	91
10. Вл. ЛИДИН.—Отступник, <i>роман</i> , продолжение	93
11. Дм. ПЕТРОВСКИЙ.—Стихотворение	130
—	
12. Бор. ШТЕЙН.—Международная экономическая конференция	132
13. П. Е. ЩЕГОЛЕВ.—Последний рейс Николая Романова, окончание	144

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

14. А. ЛЕЖНЕВ.—Иосиф Уткин	169
15. Я. ФРИД.—Панаит Истрати	180
16. Фрол СКОБЕЕВ.—Литературный ларек	188
17. А. ДЕРМАН.—По поводу языка книги Станиславского	190
18. А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ.—В щелочах и кислотах	193

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Арк. ГЛАГОЛЕВ.—„Недра“, кн. 11-ая	202
Бор. АНИБАЛ.—Ив. Евдокимов „У Трифона-на-Корешках“	203
Мих. ВУДЕРМАН.—Е. Эркин „Август“	204

С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—А. Свирский „В дни бесправия“	204
А. Р. ПАЛЕЙ.—Мих. Козырев „Дотошные люди“	205
Н. ЗАМОШКИН.—Ив. Касаткин „Лесная быль“	205
Н. ЭЙШИСКИНА.—Я. Вассерман „Семья“	206
П. МАРКОВ.—И. Клейнерт „Театр Мольера“	207

Хождение по мукам

Р о м а н ¹⁾

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

В трех водах топлено, в трех кровях купано,
в трех щелоках варено. Чище мы чистого.

(Из записей С. Федорченко)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор,—обрывки военных приказов, театральные афиш, воззваний к „совести и патриотизму“ русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки.

Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с „Авроры“. Бежали в неизвестность видные банкиры, члены Временного правительства, знаменитые генералы... Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, опрятные чиновники, восторженные гимназисты, общественные деятели со взбудораженными бородами. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись, — там кусочек сыру, там—засохший пирожок, ценою в сто рублей. Но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули,—на кучки решительных молодых людей, идущих как-то по-дьявольски,—с красной звездой на шапке и с винтовкой—дулом вниз, через плечо.

Северный ветер дышал смертной стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие под'езды, выдувая призраки минувшей роскоши, барского великолепия. Страшен был Петербург в конце 17 года.

Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебежал человек в изодран-

¹⁾ Настоящий роман представляет собой вторую, самостоятельную часть трилогии. «Хождение по мукам».

ной шляпе, с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми, как бельма, заплатками на вековые гранитные цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква ять, бог, собственность, и само право—жить, как хочется,—отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоем обитатели в валенках, в шубах, — заламывая пальцы, вторяли:

— Что же это? Что будет? Смерть, гибель России, конец всему... Никто... Никто не спасется...

Подходя к окнам, видели: наискосок, у особняка, где жило Его Высокопревосходительство и где, бывало, городской вытягивался, косясь на серый фасад,—стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настезь раскинутых дверей мебель, ковры, картины. Над под'ездом кумачевый флажок, и тут же топчется Его Высокопревосходительство, с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют. Куда, в такую стужу? А куда хочешь... Это — Высокопревосходительство-то, — нерушимую косточку государственного механизма!

Настает ночь. Черно, ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а, говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах — свет. Над истерзанным, простреленным городом воеет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: „Пусту быть и Питеру и России“. И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет, зачем, в кого? Не там ли, где мерцает, окрашивает снежные облака зарево? Горят винные склады... В подвалах, в вине из разбитых бочек, захлебнулись люди... Чорт с ними, пусть горят заживо!

Русские люди, эшелон за эшелонем, валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болота, в леса... К земле, к бабам... В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах. Замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на гйбаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку,—все пригодится в хозяйстве: и пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон, бильярдное сукно, и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег,—это дерьмо не годилось даже на козьи ножки.

Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станций с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. „Давай паровоз!“... „Жить тебе надоело, такой-сякой матерний сын, отправляй эшелон!“... Бежали к выдохшемуся паровозу

с которого и машинист и кочегар удрали в степь... „Угля, дров! Ломай заборы, руби двери, окна!..“

Три года тому назад много не спрашивали,—с кем воевать и за что. Будто небо расколосось, земля затряслась: мобилизация, война! Народ понял: время страшным делам приспело. Парни и мужики, расторопные и жадные, набивались в товарные вагоны, со свистом и похабными песнями валили на фронт. Кончилось старое житье. В руках—винтовка. Будет, что будет, а к старому не вернемся. Немцы ли, чорт ли, дьявол, — не все ли равно, кто враг. За столетия накопели обиды. Нужно было—развернуться и „вдарить“, выдохнуть душившую злобу...

За три года узнали, что такое война. Увидели, — господа не могут воевать, зря гибнет народ. Потом—содрогнулись, помутилось в головах, — революция... Опомнились, — а мы-то что же? Опять господа нас обманывают? Послушали агитаторов: значит, — раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными... Значит, — война [имперьялистическая... Штык—в землю.— „Немец, братишка, выходи на окопы курить“... „Ну, ребята, три года назад ехали воевать, теперь повертывай домой на расправу. Теперь мы знаем в чье пузо—штык. Теперь—ни царя, ни бога. Одни мы. Домой, [землю делить! А все прочее, города со всем прочим, фабрики, чиновники и прочие господские выдумки—нам не нужны. Наплевать. В лаптях проживем—налогов не будем платить. Сытно, весело, вольно“...

Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало, — это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светила лучина, и бабы натягивали основу на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатило назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция, Октябрьская...

Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный поллярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, — излучал в это время радио-волнами царскосельской станции бешеные взрывы идей.

— Товарищи,—застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед, — товарищи дезертиры, вы повернулись спиной к гадам имперьялистам... Мы, питерские рабочие, говорим вам: правильно, товарищи... Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии... Долой имперьялистическую войну...

— Лой... лой... лой, — лениво прокатилось по кучке бородатых солдат. Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императора Александра III. Зано-

сило снегом черную громаду царя и, под мордой его куцой лошади, оратора в распахнутом от возбуждения пальтишке.

— Товарищи... Но мы не должны складывать оружия... Революция в опасности... С четырех концов света поднимаются на нас враги... В их хищных руках—горы золота и страшное истребительное оружие... Они уже дрожат от радости, видя нас захлебнувшимися в крови... Помещики готовят для вас шомпола, товарищи, — спускай штаны... Но мы не дрогнем... Наше оружие—пламенная вера в мировую социальную революцию... Она будет, она близко...

Конец фразы отнес ветер. Здесь же, у памятника, остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды.

— ...да ведь поймите же вы... через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло, — деньги... Ни голода, ни нужды, ни унижения... Бери, что тебе нужно, из общественной кладовой... Товарищи, а из золота мы построим сортиры...

Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся, и не мог остановиться, — разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли, — кто на вокзалы, кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко:

— Рублев, здорово.

Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко. Не подавая руки, глядел рассеянно, не добро на Ивана Ильича Телегина.

— Ну? Что надо?

— Поговорить нужно... Может пойдем вместе. Вы куда?

— Эти черти, дуболомы, — сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же, заеденные вшами, бородатые фронтовики, — разве их прошибешь словом?.. Кулачье природное... Бегут с фронта, как тараканы. Недоумки... С этими защищать революцию... Тут нужно, — террор...

Застуженная, черная рука его схватила снежный ветер... И кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла, Рублев студено передернулся...

— Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо (Телегин отогнул воротник и нагнулся к худому землистому лицу Рублева)... Объясните мне, ради бога... Ведь мы в петлю лезем... Немцы, захотят, через неделю будут в Петрограде... Понимаете, — я никогда не интересовался политикой...

— Это, как так, — не интересовался? — Рублев весь взерошился, угловато повернулся к нему. — А чем же ты интересовался? Теперь—

кто не интересуется, знаешь кто?—Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу.—Нейтральный... враг народа...

— Вот, именно, поэтому я тебя и разыскиваю вторую неделю по городу... А ты не стервись...

Иван Ильич тоже весь вз'ерошился от злости. Рублев глубоко втянул воздух сквозь ноздри, слабо усмехнулся...

— Чудак ты, товарищ Телегин... Право... Ну, некогда же мне с тобой разговаривать,—можешь ты это понять?..

— Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии... Ты слышал,—Корнилов Дон поднимает?..

— Слыхали.

— Либо я на Дон уйду... Либо с вами...

— Это, как же так: либо...

— А вот так,—во что поверю... Ты за революцию, я за Россию... А чорт его знает... Может и я в революцию поверю... Я, знаешь, боевой офицер...

Гнев совсем погас в темных глазах Рублева, в них была только бессонная усталость.

— Ладно,—сказал он,—приходи завтра в Смольный, в агитотдел, спросишь меня... Россия,—он покачал головой, усмехаясь,—это штука с подковыркой... Бывает,—до того остервенеешь на эту твою Россию... Кровью глаза зальет... А, между прочим, за нее помрем все... Ты вот пойди сейчас на Балтийский вокзал... Там тысячи три дезертиров третью неделю валяются по полу... Промитингуй с ними, проагитируй за советскую власть... Скажи, что Петрограду хлеб нужен, нам бойцы нужны... Герои!—(Глаза его снова высохли, одичали).—Скажи им: а будете на печке пузо чесать, — пропадете, как сукины дети... Посадят вам помещика из германцев, пропишут вам революцию по заднице... Продолби им башку этим словом... Эх! Ты верно сказал,—в петлю лезем... И никто сейчас не спасет России, не спасет революции, — одна только советская власть... Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции... Загорится мировой пожар,—спасены... А не загорится... Что ж,—помрем... Мы что ж,—не герои?

По обмерзлой лестнице, в темноте, среди мусора, Телегин поднялся на пятый этаж. Ощупал дверь. Постучал три раза и еще раз. К двери изнутри подошли. Помолчав, спросил тихий голос жены:

— Кто?

— Я, я, Даша.

За дверью вздохнули. Загремела цепочка. Долго не поддавался дверной крюк. Слышно было, как Даша прошептала: „Ах, боже мой, боже мой“. Наконец, открыла и сейчас же в темноте ушла по коридору и где-то села.

Телегин тщательно запер дверь на все крючки и задвижки. Снял калоши. Пощупал,—вот чорт, спичек нет. Не раздеваясь, в шапке, протянув перед собой руки, пошел туда же, куда ушла Даша.

— Вот безобразие,—сказал он,—опять не горит. Даша, ты где? После молчания она ответила негромко (из кабинета):

— Горело, потухло.

Он вошел в кабинет, это была самая теплая комната во всей квартире, но сегодня и здесь было прохладно. Вгляделся,—ничего не разобрать, даже дыхания Дашиного не было слышно. Очень хотелось есть, особенно хотелось чаю. Но он чувствовал, что Даша ничего не приготовила,—попал домой не в хороший час.

Отогнув воротник пальто, Иван Ильич сел в кресло у дивана, лицом к окну. Там, в снежной тьме, бродил какой-то неясный свет. Не то из Кронштадта,—не то ближе откуда-то,—щупали прожектором небо. Все-таки, значит, копошились,—не всех еще поглотила эта тишина, эта тьма.

„Хорошо бы примус зажечь“,—подумал Иван Ильич.—„Как бы так спросить осторожно,—где у Даши спички?“.

Но он не решался. Знать бы точно,—что она,—плачет, дремлет? Слишком уж было тихо. Во всем многоэтажном доме—пустынная тишина. Только где-то слабо, лениво похлопывали выстрелы. Внезапно шесть лампочек в люстре слегка накалились, красноватый свет слабо озарил комнату. Даша оказалась у письменного стола,—сидела, накинув шубку поверх еще чего-то, отставив одну ногу в валенке. Голова ее лежала на столе, щекой на промокашке. Лицо худое, измученное, глаз открыт,—даже глаз не закрыла, сидела неудобно, неестественно,—кое-как...

— Дашенька, нельзя же так, все-таки,—глуховато сказал Телегин. Ему совершенно нестерпимо стало жаль ее. Он пошел к столу. Но красные волоски в лампочках затрепетали и погасли. Только и было света, что на несколько секунд.

Он остановился за спиной Даши, нагнул, сдерживая дыхание. Чего бы проще,—ну, хоть погладить ее молча. Но она, как труп, ничем не ответила на его приближение... Какие уж тут спички, какой чай...

— Даша, ну не мучь же так себя...

Месяц тому назад Даша родила. Ребенок ее, мальчик, умер на третий день. Роды были раньше срока,—случились после испуга и потрясения. В темные сумерки на Марсовом поле у Лебяжьей канавки на Дашу наскочили двое в саванах, выше человеческого роста. Должно быть, это были те самые „попрыгунчики“, которые, привязав на ноги особые пружины, пугали в те фантастические времена весь Петроград. Они заскрежетали, засвистели на Дашу. Она упала. Они сорвали пальто и запрыгали через Лебяжий мост. Некоторое время Даша лежала на косогорчике канавки. Хлестал дождь порывами, дико шумели голые липы в Летнем саду. За Фонтанкой кто-то протяжно кричал: „Спасите!“ Ребенок ударял ножкой в животе Даши, просился в этот мир.

Он требовал, и Даша поднялась, пошла через Троицкий мост. Ветром прижимало ее к чугунным перилам, мокрое платье липло

между ногами. Ни огня, ни прохожего. Внизу—взволнованная Нева. Перейдя мост, Даша почувствовала первую боль. Поняла, что—не дойдет, хотелось только,—добраться до дерева, прислониться за ветром. Здесь, на улице Красных Зорь ее остановил патруль. Рослый солдат, придерживая винтовку, нагнулся к ее помертвевшему лицу:

— Раздели, ах, сволочи! Да, смотри, брухатая.

Он и довел Дашу до дому, втащил на пятый этаж. Грохнув прикладом в дверь, зарычал на высунувшегося Телегина:

— Разве это дело—по ночам дамочку одну пускать,—на улице едва не родила... Черти, буржуи бестолковые...

Роды начались в ту же ночь. В квартире появилась акушерка, как и все акушерки—неунывающая и говорливая. Муки окончились через сутки. Мальчик был без дыхания,—наглотался воды. Его хлопали, растирали, дули в рот. Он сморщился и заплакал. Акушерка не унывала, хотя у ребенка начался кашель. Он все плакал жалобно, как котенок, не брал груди. Потом перестал плакать и только кряхтел. А на утро третьего дня Даша потянулась к колыбели и отдернула руку,—ощупала холодное тельце. Схватила его, развернула,—на высоком черепе его светлые и редкие волосы стояли дыбом.

Даша дико закричала. Кинулась с постели к окну,—разбить, выкинуться, не жить... „Предала, предала... Не могу, не могу“,—повторяла она. Телегин едва ее удержал, уложил. Унес трупик. Даша сказала мужу:—„Покуда я спала, к нему приходила смерть, как же ему было страшно—если волосики стали дыбом... Один мучился... Я спала“...

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видения одинокой борьбы мальчика со смертью. „Хорошо, хорошо, я больше не буду“,—отвечала она Телегину, только бы не слышать мужнина рассудительного голоса, не видеть его здорового, румяного,—несмотря на все лишения,—„жизнерадостного“ лица. Телегинского здоровья с излишком хватило на то, чтобы с рассвета до поздней ночи летать в рваных калошах по городу в поисках подсобной работешки, пайков, продовольственных карточек, дровишек и прочее. По несколько раз на дню он забегал домой,—был необычайно хлопотлив и внимателен.

Но, именно, этих нежных забот Даше меньше всего было и нужно сейчас. Чем больше Иван Ильич проявлял жизненной деятельности, тем безнадежнее отдалялась от него Даша. Весь день сидела одна в холодной комнате. Хорошо, если находила дремота,—дремлет, проведет рукой по глазам и, как будто, ничего. Пойдет на кухню, вспоминая, что Иван Ильич просил что-то сделать. Но самая пустяшная работа валилась из рук. А ноябрьский дождик стучал в окна. Шумел ветер над Петроградом. В этом холоде на кладбище у взморья лежало мертвое тельце сына, не умевшего даже пожаловаться... Даша садилась в кухне на табуретку и плакала, покуда хватало слез.

Иван Ильич понимал, что Даша почти больна душевно. Погасшего электричества в доме было достаточно, чтобы она приткнулась где-нибудь в углу, в кресле, закрыла голову шалью и затихла в смерт-

ной тоске. А надо было жить, надо жить... Он писал о Даше в Москву ее сестре, Екатерине Дмитриевне, но письма не доходили, Катя не отвечала, или и с ней приключилось тоже что-нибудь недоброе. Трудные были времена.

Топчась за Дашиной спиной, Иван Ильич случайно наступил на коробку спичек. Сейчас же все понял:—когда погасло электричество, Даша боролась с темнотой, с тоской, зажигая время от времени спички. „Ай, ай, ай,—подумал он,—бедняжка, ведь одна целый день“.

Он осторожно поднял коробку,—в ней оставалось еще несколько спичек. Тогда он принес из кухни заготовленные еще с утра дровишки,—это были тщательно распиленные части старого гардероба. В кабинете, присев на корточки, он стал разжигать небольшую печку, обложенную кирпичем, с железной трубой, коленом, через всю комнату. Приятно запахло дымком загоревшейся лучины. Завыл ветерок в прорезях дверки. Круг зыбкого света появился на потолке.

Эти самодельные печечки получили впоследствии широко распространенное название „буржук“, или „пчелок“ (в Москве). Они честно послужили человечеству во все время военного коммунизма. Простые железные, на четырех ножках, с одной камфоркой, или хитроумные с духовым шкафом, где можно было испечь лепешки из кофейной гущи и даже пирог с воблой, или роскошные, обложенные изразцами, содранными с камина,—они и грели, и варили, и пекли, и напевали вековую песню огня под вой метели и отдаленные выстрелы.

К их горячим углям собирались, как в старые времена к очагу, грели изящные руки, поджидая, когда запляшет крышка на чайнике. Вели беседы, к сожалению, никем не записанные. Придвинув изодранное кресло к свету угольков, профессора, обросшие бородами, в валенках и пледах, писали удивительные книги. Прозрачные от голода поэты сочиняли стихи о горечи любви, замерзающей в метелях России. Кружком сидящие заговорщики, сдвинув головы, шопотом передавали вести, одна страннее другой и фантастичнее. И много великолепных старинных обстановок вылетело через железные трубы дымом в эти года.

Иван Ильич очень уважал свою печку, смазывал щели ее глиной, подвешивал под трубы жестянки, чтобы деготь не капал на пол. Когда вскипел чайник, он вытащил из кармана пакет и насыпал сахару в стакан, послаще. Из другого кармана вытащил лимон, чудом попавший ему в руки сегодня (выменял за варежки у безногого инвалида на Невском), приготовил сладкий чай с лимоном и поставил перед Дашей на стол.

— Дашенька, тут—с лимончиком... А сейчас я спроворю моргалку.

Так называлось приспособление из железной баночки, где в подсолнечном масле плавал фитилек. Иван Ильич принес моргалку, и комната кое-как осветилась. Даша уже по-человечески сидела в кресле, кушала чай. Телегин, очень довольный, сел поблизости:

— А знаешь—кого я встретил? Василия Рублева. Помнишь у меня в мастерской работали отец и сын Рублевы,—я тебе рассказывал. Страшные мои приятели. Отец—старообрядец, с хитрейшим глазком,—одна нога в деревне, другая на заводе, старый ушкуйник. Замечательный тип. А Василий и тогда уже был большевиком,—умница, злой, как чорт, порох... В феврале первый вывел наш завод на улицу. Потом лазил по чердакам, разыскивал городских. Говорят, сам заперол их чуть ли не полдюжины... Честное слово... А после Октябрьского переворота стал шишкой в Совдепе... Так вот, мы с ним и поговорили... Ты слушаешь меня, Даша?

— Слушаю,—сказала она. Поставила пустой стакан, подперлась худым кулачком, глядела на плавающий огонек моргалки. Серые глаза ее были равнодушны ко всему на свете. Лицо вытянутое, нежная кожа казалась прозрачной, носик, такой прежде независимый, даже легкомысленный, обострился.

— Иван,—сказала она (должно быть для того, чтобы высказать признательность за чай с лимоном),—я искала спички, нашла за книгами коробку с папиросами. Если тебе нужно... Вон там она...

— Папиросы! Ведь это еще старые, Дашенька, мои любимые!—Иван Ильич преувеличенно обрадовался, хотя коробка с папиросами не была находкой,—он сам ее спрятал за книгами на черный день. Закурил, хвалил табачек, искоса поглядывая на Дашин нежной профиль. „Увезти ее нужно подальше отсюда, к солнцу“.

— Ну-с, так вот, поговорил я с Васькой Рублевым, и он мне помог, Даша... Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли, как пришли... Тут корень в Ваське Рублеве, понимаешь?.. Действительно, их никто не выбирал—брать власть... И власть-то их—на волоске,—только в Питере, в Москве, кое-где по губернским городам... Но тут весь секрет в качестве власти... Эта власть связана кровяной жилой с такими, как Васька Рублев... Их немного на нашу страну... Но у них вера. Они физически видят то, во что верят. А ты понимаешь, что значит—русскому человеку поверить. С неизжитым еще буйством С тысячетней ненавистью... И такая вот вера во времена анархии, такое ясновидение цели,—это все... Мужики, демобилизованные, все наши дебри,—пошевелиться не захотят ни за какую власть. Всякая власть хуже им горькой редьки, — это значит: война, поборы.. А такие, как Васька Рублев, захотят и воевать, и самоотречься, и умирать... Если его львами, тиграми травить, или живым жечь в бане, он тут-то с иступленным восторгом и запоет „Интернационал“...

Ивану Ильичу самому понравилось, как он „ковырнул в самое нутро“. А еще вчера не мог бы говорить с такой уверенностью. И ему казалось, что все мысли он нашел сам,—подвел итог переживаниям последних месяцев. Додумался, поверил, и теперь надо было рещаться, переходить к делу. Он заходил по комнате, колебля огонек моргалки.

— Даша, я к чему говорю... Нужно куда-нибудь качнуться. Сидеть и ждать, покуда все образуется, как-то, знаешь,—неудобно... Стыдно... Сидеть у дороги, просить милостыню... Нет! Я полнокровный человек... Я не саботажник... У меня, по совести говоря, руки чешутся... Все-таки же русский я человек...

Даша не отвечала. Веки ее сжались, из-под ресниц поползла слеза. Иван Ильич засопел:

— Разумеется, прежде всего нужно решить вопрос о тебе. Даша... нужно как-то тебе найти силы, встряхнуться... Ведь так, как ты,— это угасание.

Он не удержался,—с раздражением подчеркнул это слово,—угасание. Тогда Даша проговорила жалобным, детским голосом:

— Разве я виновата, что не умерла тогда. А теперь мешаю вам жить... Вы лимон приносите... Я же не прошу...

„Вот, поди, разговаривай“,—Иван Ильич застучал ногтями в запотевшее стекло. Крутился снег, пела вьюга, мчался лютой ветер с такою силой, будто опережая само время, летел в грядущие времена оповещать о необычайных событиях. „За границу ее отправить?—думал Иван Ильич,—в Самару, к отцу? Фу, чорт, как сложно... Но так жить невозможно дольше“...

Дашина сестра, Екатерина Дмитриевна, увезла мужа, Вадима Петровича Рощина, в Самару, к отцу, где можно было спокойно переждать до весны, не дрожа за каждый кусок хлеба. К весне, разумеется, большевики должны были кончиться:—не русские, так сами немцы свернут им шею. Доктор, Дмитрий Степанович Булавин (Катин отец), намечал даже точные даты, а именно: между концом морозов и началом весенней распутицы немцы развернут наступление по всему фронту, где митинговали остатки русских армий и солдатские комитеты среди хаоса, предательства и дезертирства пытались найти новые формы революционной дисциплины. Но в старой армии им так и не суждено было осуществиться.

Дмитрий Степанович очень постарел за эти года, жил неважно и еще больше разговаривал о политике. Он чрезвычайно обрадовался приезду дочери и сейчас же взял в политическую обработку Рощина. По целым часам сидели они в столовой за самоваром (двухведерной измятой машиной, пропустившей через нутро целое озеро кипятку, и от старости наловчившейся,—чуть только брось в нее уголек,—подолгу петь провинциальные самоварные песни), Дмитрий Степанович, одетый крайне неряшливо, обрюзгший и потучневший, с седыми нечесаными кудрями, курил вонючие папироски (закуривая об окурок), кашлял, багровея, и говорил, говорил...

— Странишка наша погибла, провалилась к чортовой матери... Войну мы проиграли-с... Не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в пятнадцатом году заключать мир-с... И итти к немцам в кабалу и выучку. И тогда бы очи нас кое-чему научили,

тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь кончено-с... Медицина, как говорится, в сем случае бессильна.. Оставьте, пожалуйста... Чем мы будем обороняться,—вилами-тройчатками? Этим же летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России, японцы—Сибирь, мужепесов наших со знаменитыми тройчатками загонят в тундры к полярному кругу, и начнется порядок и культура и уважительное отношение к личности... И будет у нас Русланд... Чему я весьма доволен...

Дмитрий Степанович был старым либералом, и теперь с горькой иронией издевался над прошлыми „святынями“. Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самооплевывания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались, портрет Мечникова в кабинете густо затянуло паутиной, растения в кадках высохли, книги, ковры, картины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз, летом 14 года, здесь была Даша.

Когда в Самаре власть перешла к Совдепу, и большинство врачей отказалось работать с „собачьими и рачьими депутатами“,—Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. Так как по его расчетам выходило, что все равно к весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними клистирами. „Все дело в прямой кишке,—говорил он ассистентам, глядя с ироническим превосходством на них через треснувшее пенсне,—за время войны население не чистило желудка. Покопайтесь в первопричинах нашей благословенной анархии и упретесь в засоренную прямую кишку. Такто, господа... Безусловный и поголовный клистир“...

На Рощина разговоры за чайным столом производили тягостное впечатление. Он еще не оправился от контузии, полученной первого ноября у Никитских ворот. Тогда он командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам. Со стороны Страстной площади наседали с большевиками «Саблин. Рощин знал его по Москве еще гимназистиком, ангельски хорошеньким мальчиком с голубыми глазами и застенчивым румянцем. Было дико связать юношу из интеллигентной старо-московской семьи и этого остервенелого большевика, или левого эсера,—чорт их там разберет,—в длинной шинели, с винтовкой перебегающего впереди стрелков за липами того самого, воспетого Пушкиным, Тверского бульвара, где, совсем еще так недавно, добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под мышкой. „Предать Россию, армию, открыть дорогу немцам, выпустить на волю из подвалов дикого зверя—пролетария,—вот, значит за что вы деретесь, господин Саблин!.. Нижним чинам, этой сопатой сволочи, еще простить можно, но вам...“ Рощин сам лег за пулеметом (в окопчике, на углу Малой Никитской, у молочной лавки Чичкина), и, когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели,—полил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку около паха. Почти в ту же минуту с Рощина сорвало осколком фуражку. Он выбыл из строя.

На седьмую ночь боя на Москву спустился густой, сырой туман. Затихло бульканье выстрелов. Еще дрались кое-где отдельные не связанные кучки юнкеров, студентов, чиновников. Но Комитет общественной безопасности, во главе с земским доктором Рудневым,—перестал существовать. Москва была занята войсками Ревкома. На другой же день на улицах можно было видеть молодых людей в штатском, в руке—узелок, в глазах—недоброе. Они пробирались к вокзалам,—Курскому, Брянскому... И, хотя на ногах у них были военные обмотки, или кавалерийские сапоги,—никто их не задерживал.

Если бы не контузия, ушел бы и Роцин. Но у него случился легкий паралич, затем слепота (временная), затем какая-то чертовщина с сердцем. Он все ждал—вот-вот подойдут войска из Ставки и начнут бить шестидюймовыми с Воробьевых гор по Кремлю. Но революция только начинала углубляться в народные толщи. Главкомандующий Духонин, отказавшийся вступить в мирные переговоры, был растерзан матросами на площадке вагона. Катя уговорила мужа уехать, забыть на время о большевиках, о немцах. А там будет видно.

Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры. Ел, спал. Но—забыть! Разворачивая каждое утро „Вестник Самарского Совета“ (печатающийся на оберточной бумаге),—только стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала, как хлыстом.

„...Всероссийский Съезд Советов Крестьянских Депутатов призывает крестьян, рабочих и солдат Германии и Австро-Венгрии дать беспощадный отпор империалистическим требованиям своих правительств... Призывает солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии и Италии заставить свои кровавые правительства немедленно заключить честный демократический мир всех народов... Долой войну! Да здравствует честный мир! Да здравствует братство трудящихся всех стран!“

„Забыть! Катя, Катя! Тут нужно забыть себя. Забыть огромное прошлое. Былое величие... Еще ста лет не прошло, когда Россия диктовала свою волю Европе... Что же,—и все это смиренно положить к ногам пролетария? Да он, чорт его возьми,—таблицы умножения не знает. Пушкина не читал. Нас, военную касту, создавали четыреста лет—править государством. А он знает один свой станок, и пусть его знает свой станок... Он часть механизма, только. Ему—власть? Все равно, что дать власть надо мной ногтю на моем мизинце. Чепуха. А мужичек! Ох, мужичек. Заплатит он горько за свои дела“...

— Нет, Дмитрий Степанович,—отвечал Роцин на пространные рассуждения доктора за чайным столом,—в одном я с вами не согласен... В России еще найдутся силы... Мы еще не выдохлись... Мы не навоз для ваших немцев... Поборемся. Отстоим Россию! И накажем... Накажем жестоко... дайте срок...

Катя, третья собеседница за самоваром, понимала из всех этих споров только одно, что любимый человек, Роцин, несчастен и стра-

дает, как на медленной пытке. Коротко стриженная, круглая голова его подернулась серебром. Худое лицо с ввалившимися темными глазами было точно обугленное. Когда он говорил, сжимая тяжелые руки на рваной клеенке стола:— „Мы отомстим! Мы накажем!“,—Кате представлялось только, что вот он пришел домой, обиженный, обессиленный, замученный и грозит кому-то в окно: „Погоди ты там, уж с тобой расправимся“... Кому, на самом деле, мог отомстить Роцин,—нежный, деликатный, смертельно уставший? Не этим же оборванным русским солдатам, выпрашивающим на студеных улицах хлеба и папирос?.. Катя осторожно садилась рядом с мужем, брала и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла,—ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя. Она ничего не понимала в происходящем. Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов,—например, Совдеп казался ей свирепым словом, Ревком,—страшным, как рев быка, просунувшего кудряволобую, короткорогую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя (было такое происшествие в детстве, когда жили в Хвалынске, на даче). Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала: „Французский империализм с его мрачными захватными планами и хищническими союзами...“,—ей представлялся тихий в голубоватой летней мгле Париж, запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров. Вспоминала о незнакомом старом человеке, который ходил за Катей повсюду, и за день до смерти заговорил с ней на скамейке в саду: „Вы не должны меня бояться, у меня грудная жаба, я старик. Со мной случилось большое несчастье,—я вас полюбил. О, какое милое, какое милое ваше лицо“... Это было в 14 году. „Ну, какие же они империалисты“,—думала Катя...

Зима кончилась. По городу ходили слухи один другого удивительнее. Говорили, что англичане и французы тайно мирятся с немцами, с тем, чтобы общими силами двинуться на Россию. Рассказывали о легендарных победах генерала Корнилова, который с горсточкой офицеров разбивал многотысячные отряды Красной гвардии, загонял их в море, брал города, отдавал их за ненужностью, и видимо весной готовил генеральное наступление на Москву. „Ах, Катя,—говорил Роцин,—сiju в тепле, а там дерутся... Нельзя, нельзя“...

Четвертого февраля мимо окон докторской квартиры пошли толпы народа с флагами и лозунгами. Падал крупный снег, поднималась метель, медные трубы ревели „Интернационал“. Шумно ввалился доктор в столовую в шапке и шубе, засыпанный снегом.

— Господа, мир с немцами!

Роцин молча взглянул на ерническое (широкое, мокрое) самодовольно ухмыляющееся лицо доктора, подошел к окну... Там за сплошной пеленой мартовского бурана шли бесчисленные толпы,—в обнимку, кучами, крича и смеясь: шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки,—валила рваная, серая, коренная Русь. Откуда взялось их столько?

Серебряный затылок Рощина, напряженный и недоумевающий, ушел в плечи. Катя щекой коснулась его плеча. За высоким окном проходили тени непонятной ей жизни.

— Смотри, Вадим, — сказала она, — какие радостные лица... Неужели это конец войне, не верится, — какое счастье...

Рощин отстранился от нее, сжал за спиной руки, разрез рта его был жесток.

— Рано обрадовались.

В первых числах марта Рощин и Катя сели в вагон с выбитыми окнами и потащились по снежным равнинам, под звериным солнцем весны, на юг, — куда? В Ростов, в Новочеркасск? Туда, где запутывался узел гражданской войны.

В небольшой сводчатой комнате сидело за столом пять человек. Все, кроме одного, — в солдатских суконных рубахах. Их лица были измяты бессонницей. На прожженном сукне стола, среди бумаг, окурков и кусков хлеба, стояли чайные стаканы и телефонные аппараты. Иногда дверь отворялась в длинный, гудящий народом коридор, входил широкоплечий, в ременном снаряжении военный, приносил бумаги для подписи.

Председательствующий, пятый за столом, небольшого роста человек, в сером куцом пиджаке, сидел в кресле, слишком высоком по его росту, и, казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос, — был виден только прямой рот с жесткими усиками и небритая щека с желваком мускула. Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами, устало прикрывшими лицо его, глядит острый, лукавый глаз на докладчика, отмечает игру лиц собеседников.

Почти непрерывно звонили телефоны. Тот же широкоплечий в ремнях снимал трубки, говорил вполголоса, отрывисто: „Совнарком. Совещание. Нельзя“... Время от времени кто-то наваливался в дверь из коридора, крутилась медная ручка. За окнами бушевал ветер со взморья, бил в стекла крупой и дождем.

Докладчик кончил. Сидящие — кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно слово три раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему слева, блестящему стеклами пенсне.

Третий слева прочел, усмехнулся, написал на той же записке ответ...

Председательствующий, не спеша, глядя на черное окно, где бушевала метель, изорвал записочку в мелкие клочки.

— Армии нет, продовольствия нет, докладчик прав, мы мечемся в пустоте, — проговорил он глуховатым, тусклым голосом, — немцы наступают и будут наступать... Докладчик прав...

— Но это конец? Какой же выход? Капитулировать? Уходить в подполье?—перебили голоса.

— Какой выход? (Он сощурился). Драться. Отступим в Москву. Немцы возьмут Москву,—отступим на Урал. Создадим Урало-Кузнецкую республику. Там—уголь, железо и боевой пролетариат. Эвакуируем туда питерских рабочих. Разлюбезное дело. А придет нужда—будем отступать до Камчатки. Одно, одно надо помнить: сохранить цвет рабочего класса, не дать его вырезать. И мы снова зайдем и Москву и Питер... На Западе двадцать раз переменится... Вешать носы, хвататься за голову—преждевременно,—и не имеем права...

С неожиданной живостью он вскочил с высокого кресла, побежал,—руки в карманах,—к дубовым дверям, распахнул половинку. Из коридора, из густых испарений и тусклого света придвинулись к нему черные, худые, морщинистые лица, горящие глаза,—питерские рабочие... Он поднял большую руку, запачканную чернилами:

— Товарищи, социалистическое отечество в опасности!..

ГЛАВА ВТОРАЯ

В середине зимы на узловых станциях южно-русских дорог сталкивались два человеческих потока. С севера, в донские, кубанские, терские, богатые хлебом города бежали от апокалипсического ужаса общественные деятели, переодетые военные, коммерсанты, помещики из пылающих усадеб, аферисты, актеры, писатели, чиновники, подrostки, почувывшие времена Фенимора Купера,—словом, те, кто составлял сложную и пеструю архитектуру русского интеллигентного общества.

Навстречу с юга двигалась, как сельдь, сплошной массой закавказская миллионная армия с оружием, пушками, снарядами, вагонами соли, сахара, мануфактуры. В скрещеннях получалась теснота, где работали большевистские агитаторы. Казаки станичники выезжали к поездам скупать оружие, богатые мужики меняли хлеб и сало на мануфактуру. Шныряли бандиты и мелкое жулье. Пойманных пришибали тут же на путях.

Красногвардейские заслоны были мало действительны, их прорывали, как паутину. Здесь были степи, воля. Здесь еще в седую старину ходили, заломив шапки. Все было непрочно, текуче, неясно. Сегодня в станице перекрикивали иногородние, малоземельные и выбирали Совдеп, а на завтра коренные казаки разгоняли шашками коммунистов и слали гонца,—с грамотой в шапке,—в Новочеркасск к атаману Каледину. Чихали здесь на питерскую власть.

Но с конца ноября питерская власть начала уже показывать зубы. Создавались первые революционные армии,—это были передвигающиеся в растерзанных вагонах эшелоны матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию, буше-

вали, дрались свирепо, но при малейшей неудаче откатывались, бросая оружие, и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать в клочки командиров. Состав армий был текуч. Они рассеивались так же быстро, как создавались.

По тогда уже задуманному плану Дон и Кубань окружались по трем основным направлениям: с северо-запада на Харьков двигался Саблин, отрезая Дон от Украины, полукольцом к Ростову и Новочеркасску подходил Сиверс, из Новороссийска давили отряды черноморских матросов. Изнутри готовилось восстание в фабричных районах Таганрога и Ростова.

В середине декабря Саблин занял Харьков. Рабочие требовали разоружения корниловских войск, передачи власти советам, резали по ночам в слободках одиночек офицеров. Казаки атамана Каледина уходили с фронта. На Тереке пылали станицы богатейших казаков и усадьбы узденей. Дальше—к Дагестану племена резались с племенами за землю, скот и давние обиды. Из горных аулов спускалась Чечня, разрушая чересполосицу, била зажиточных осетин и русских станичников. В Армавире Ян Полуян формировал бродячие остатки закавказской армии в коммунистические отряды.

С января большевики начали наступать по всему фронту. Генерал Кутепов бежал из Таганрога с горстью добровольцев, которых расстреливали из каждого окна поголовно восставшие рабочие. Донской урядник Подтелков разбил и уничтожил последний атаманский заслон перед Новочеркасском. Тогда атаман Каледин обратился к Дону с последним отчаянным призывом—послать казаков добровольцев в корниловскую армию.

29 января Каледин созвал в Новочеркасском дворце правительство. В белом зале за полукруглым столом сели 14 окружных старшин войска донского, знаменитые генералы и представители „московского центра по борьбе с анархией и большевизмом“. Большого роста, хмурый, с висячими усами, атаман сказал с мрачным спокойствием:

— Положение безнадежно. Население Дона и Кубани не только не поддерживает нас,— оно нам враждебно. Сопrotивление считаю бесполезным. На мой призыв для защиты Донской области нашлось на фронте всего лишь сто сорок семь штыков. Я не хочу лишних жертв и лишнего кровопролития. Предлагаю вам, господа, сложить с себя полномочия и передать власть в другие руки.

Он сел и, положив руку на чистый лист бумаги, добавил:

— Господа, говорите короче. Время не ждет.

Когда, вслед за этим, помощник атамана, „донской соловей“ Митрофан Богаевский, крикнул злобно:—„Иными словами—передать власть большевикам?“—Каледин открыл рот, сказал что-то беззвучно и, покинув заседание, ушел в боковую дверь к себе. В кабинете он позвал жену, взглянул на мотающиеся за окном голые деревья парка и пошел дальше в спальню, где пылал камин. Здесь он снял тужурку и шейный крест, в последний раз, словно не вполне еще уверенный,

нагнулся над картой фронта, висевшей над постелью. Красные флажки густо обступили Дон и Кубанские степи. Игла с трехцветным флажком была воткнута в черной точке Ростова. И только. Атаман вытянул из заднего кармана синих, с лампасами, штанов плоский, теплый браунинг и выстрелил себе в сердце. Кровь залила карту.

Девятого февраля главнокомандующий, генерал Корнилов, вывел добровольческую армию, обозы генералов и особо важных беженцев из Ростова за Дон, в степи. Маленький, с калмыцким лицом, сердитый генерал шел в авангарде войск, пешком, с солдатским мешком за плечами.

За окном плыли бурые степи, оголенные от снега. В разбитое окно дул свежий ветер, пахнувший землей. Катя глядела в окно. Ее голову покрывал оренбургский платок, завязанный на спине узлом. Роцин, в солдатской шинели и рваном картузе, протянув ноги, дремал. Поезд шел медленно. Вот потянулись голые, с прижатыми ветвями, высокие деревья, густо обсаженные гнездами. Тучи грачей кружились над ними, раскачивались на сучьях. Катя придвинулась ближе к окну. Грачи кричали тревожно, дико,—по-весеннему, так же, как кричали в далеком детстве,—о вешних водах, о туманах, о первых грозах.

Катя оглянулась на мужа,—он спал, уронив голову, небритое лицо было обтянуто, жесткие морщины выступали у рта, сложенного брезгливо. И вдруг Кате стало страшно:—это было не его лицо,—чужое, жестокое. В окно ветер нес крики грачей. Потряхиваясь на стрелках, медленно шел вагон. По грязному шляху, найскосок уходящему в степь, тянулись воза,—лохматые лошаденки, телеги, залепленные грязью, бородатые, чужие, страшные люди. Роцин затынул во сне не то храп, не то стон, хриповатый, мучительный. Тогда Катя дрожащими руками коснулась его лица:

— Вадим, Вадим...

Он резко оборвал страшную ноту. Разлепил бессмысленные глаза.

— Фу, чорт, снится какая-то мерзость...

Вагон остановился,—теперь слышались, кроме грачиных—человеческие голоса. Пробежали в мужичьих сапогах, в толстой ветоши бабы с мешками. Толкаясь, показывая белые ляжки, полезли в товарный вагон. В окно купэ, прямо на Катю, просунулась в засаленном картузе косматая голова, от самых медвежьих глаз заросшая бородой, сваланной в косицы:

— Случаем пулеметика не продадите?

На верхней полке крикнули, кто-то сильно повернулся, веселым голосом ответил:

— Пушечки имеются, а пулеметики все продали.

— Пушки нам ни к чему,—сказал мужик, раздвигая большой рот, так что борода пошла в стороны венником. Он влез с локтями в окошко, хитро оглядывая внутренность купэ,—нельзя ли к чему прицениться? С верхней койки соскочил рослый солдат,—широкое

лицо, голубые дерзкие глаза, ладный, бритый череп. Затянул сильным движением ремень на шинели:

— Тебе, отец, не воевать, на печку пора, в сухую рожь, шептунов пускать.

— Это верно,—сказал мужик,—что на печку. Нет, солдат, нынче на ржи не поспишь. Нынче хозяйствовать не дадут. Ино кормиться надо.

— Разбоем?

— Ну, ты скажешь...

— А зачем тебе пулемет?

— Как тебе сказать.—Мужик закрутил нос, корявой рукой разворочал шерсть на лице, и все это затем, чтобы скрыть блеск глаз,—так они у него лукаво засмеялись.—Сынишка у меня с войны вернулся. С'езди, да с'езди, говорит, папочка, на станцию, приценись к пулеметику. Пуда за четыре пшенички я бы взял. А?

— Кулачье,—сказал солдат и засмеялся,—черти гладкие. А сколько у тебя лошадей, папочка?

— Восемь бог дал. А из вещей каких или оружия,—ничего для продажи нет?— Он еще раз оглянул сидящих в купэ и вдруг и улыбка пропала и глаза потухли,—отвернулся, будто это не люди были в купэ, а дерьмо, и пошел по грязи, по перрону, помахивая кнутиком.

— Видели его,—сказал солдат, ясно взглянув на Катю,—этот весной пахать не будет. Восемь лошадей! А сыновей у него душ двенадцать. Посадит их на коней, и пошли гулять по степи, добытчики. А он сам—на печку, задницей в зерно, добычу копить.

Солдат перевел глаза на Рощина, и вдруг брови его поднялись, лицо просияло:

— Вадим Петрович, вы?

Рощин быстро оглянулся на Катю, но,—делать нечего,—„Здравствуй“,—протянул руку солдату, усмехаясь, полез в карман за папиросами. Катя видела, что ему не по себе.

— Вот, встретились,—сказал он кисло,—рад видеть тебя в добром здравии, Алексей Иванович... А я, как видишь,—маскарад...

Тогда Катя поняла, что этот солдат был Алексей Красильников, бывший вестовой Рощина. О нем Вадим Петрович не раз рассказывал с любовью, считал его настоящим героем, великолепным типом умного, даровитого русского мужика. Было странно, что сейчас Рощин так холодно с ним обошелся. Но, видимо, Красильников понял—почему. Улыбаясь, присел рядом, закурил. Спросил вполголоса, деловито:

— Супруга ваша?

— Да, женился. Будьте знакомы. Катя, это тот самый мой ангел-хранитель, помнишь—я рассказывал... Повоевали, Алексей Иванович... Ну, что же,—поздравляем с похабным миром... Русские орлы, хе-хе... Вот, теперя пробираюсь с женой на юг... Поближе к солнышку... (Это „солнышко“ прозвучало дрянно, Рощин резко поморщился, Красильников и бровью не повел)... Ничего другого не остается... Благодарное

отечество наградило нас — штыком в брюхо... (Он дернулся, точно по всему телу его обожгла вошь)... Вне закона, — враги народа... Так-то...

— Положение ваше затруднительное, — Красильников качнул головой, прищурясь на окошко. Там, за сломанным забором, в железно-дорожном палисаднике сбивалась толпа. — Положение, как в чужой стране. Я вас понимаю, Вадим Петрович, а другие не поймут. Вы нашего народу не знаете...

— То-есть, как не знаю?

— А так... И никогда не знали. И вас сроду обманывали.

— Кто обманывал?

— Обманывали мы, — солдаты, мужики... Отвернетесь, а мы смеемся. Русский человек таков, — каким его хочешь, таким он и представится. Вот мы и ходили георгиевскими кавалерами, орлами. Эх, Вадим Петрович, беззаветную отвагу, любовь к царю, отечеству, — это господа выдумали, а мы долбили по солдатской словесности... Я ведь мужик. Сейчас за братишком моим еду в Ростов, — он там раненый лежит, офицерской пулей пробита грудь, — возьму его и — назад, в деревню... Может крестьянствовать будем, может воевать... Там увидим... Но мы не орлы... Нам нужна земля, мы по самый пупок в земле, в навозе... Какие мы орлы... А будем воевать по своей охоте, — так — без барабанного боя, обрезам, из-за кустов, по-звериному. И с большой надсадой... Нет, не ездите на юг, Вадим Петрович. Добра не будет...

Рощин, глядя на него снизу вверх блестящими глазами, облизнул сухие губы. Красильников все внимательнее всматривался в то, что происходило в палисаднике. А там нарастал злой гул голосов. Несколько человек полезло на деревья — смотреть.

— Я говорю — с народом все равно не справитесь. Вы иностранцы, на митингах говорят — буржуи. Это слово сейчас опасное, все равно, как сказать — конокрады. На что генерал Корнилов вояка, — лично мне георгиевский крест приколот, хорошо его знаю, — Аника-воин... А что же, — думал поднять станицы за Учредительное собрание, и получается — пшик: — слова не те, а уж он народ знает как будто... И слух такой, что мечется сейчас в кубанских степях с офицерами, как собака в волчьей стае... Шерсть летит... А мужики говорят: „Буржуи бесятся за то, что им воли в Москве не дано“... И уж винтовочки, будьте надежны, на всякий случай подпиливают на обрезы. Нет, Вадим Петрович, вернитесь с супругой в Москву, Питер... В столице вам безопаснее будет, чем с мужичьем... Смотрите, что делают... (Он внезапно возвысил голос, нахмурился)... Убьют сейчас его...

В палисаднике, видимо, дело подходило к концу. Двое коренастых солдат крепко, со зверскими лицами, держали хилого человека в мохнатой, разодранной на вороте куртке из тигрового одеяла. Щеки его были точно помазаны сажей, лицо с длинным носом — смертно бледное. Струйка крови текла с края дрожащих губ по длинной шее.

Блестящими, побелевшими глазами он следил за молодой, разъяренной бабой. Она то рвала с головы своей теплый платок, то приседала, тормоша юбки, то кидалась к бледному человеку, схватывала его за взъерошенные дыбом волосы, кричала с каким-то даже упоением:

— Это он, узнала его... Украл, вытащил из-под подола, охальник, жидовская твоя морда... Отдай деньги! (Она схватила его за щеки, замерла). Скрыл деньги, передал. Их тут шайка...

Бледный человек ужом вывернулся из ее пальцев, но коренастые насели на него. Баба взвизгнула. Тогда, расталкивая народ, на место происшествия появился давешний мужик с медвежьей головой, плечом отстранил бабу и коротко, хозяйственно ударил бледного человека в зубы, — и-эх! — Тот сразу осел. На ближайшем дереве, перегнувшись, закричал кто-то с длинными рукавами: „Бьют!“ Толпа сейчас же сдвинулась. В середине над телом нагибались и разгибались, взмахивая кулаками.

Окно вагона поплыло мимо толпы. Наконец-то! У Кати в горле стоял клубочек задавленного крика. Рощин брезгливо морщился. Красильников покачивал головой:

— Ай, ай, ай, и ведь наверно убили зря. Бабы эти кого хочешь растроят. Не так мужик лют, как они. Что с ними сделалось за четыре эти года — не поверите, — вернулись мы с войны — смотрим — другие бабы стали. Теперь ее не погладишь вожжами, — сам сторожись, гляди веселей. Ах, до чего бойки бабы...

На первый взгляд кажется непонятным, почему „организаторы спасения России от разнузданной черни“ — главнокомандующие Алексеев и Лавр Корнилов, генерал Марков, Деникин, Романовский и Лукомский, — повели пятитысячную армию с жалкой артиллерией, почти без снарядов и патронов, на юг к Екатеринодару, в самое пекло большевизма, охватившего полукольцом столицу кубанских казаков (с востока Армавир, с запада бушующий матросами Новороссийск, с юга горские станицы, где менее всего склонны были умирать за реставрацию дореволюционной власти).

Строгого стратегического плана здесь усмотреть нельзя. Добровольческая армия была выпихнута из Ростова, который защищать не могла. В кубанские степи ее гнала буря революции. Но был план политический, оправдавшийся двумя месяцами позднее. Казачество неминуемо должно было подняться против иногородних и пришлых с севера. На Кубани на один миллион четыреста тысяч казачества приходилось иногородних миллион шестьсот пятьдесят тысяч. В руках казачества находилось шестьдесят процентов земли (семьдесят процентов скота) и — управление краем.

Иногородние неминуемо должны были стремиться к захвату земли и власти. Казачество неминуемо — с оружием восстать за охрану прав и земли. Иногородними руководили большевики. Казачество вначале

не хотело над собой никакой руки, — чего было лучше — сидеть помещиками по станицам, — но, когда в Феврале авантюрист, родом казак, Голубов с двадцатью семью казаками ворвался в Новочеркасске на заседание походного штаба атамана Назарова и, потрясая ручной гранатой, — под щелканье винтовочных затворов — закричал: „Вон, мелкобуржуазная сволочь, помещики, контрреволюционеры, так вашу растак, перетак, на телеграфных столбах перевешаю, — вон! — И, на самом деле, на следующий день в роще за городом расстрелял атамана Назарова вместе со штабом, — с тем, чтобы самому взять атаманскую булаву, но побоялся большевиков, расстрелял еще около двух тысяч казачьих офицеров, запутался в дебрях политики, кинулся в степи, схватил там Митрофана Богаевского, стал возить его по митингам, агитируя за вольный Дон, и, наконец, сложил буйную голову, убитый на митинге в станице Заплавской, — словом, в Феврале казачество осталось без головы. А тут еще с севера наседала нетерпеливая, голодная вз'ерошенная Русь, Великороссия.

Стать головой казачества, сев в Екатеринодаре — мобилизовать регулярное, царских времен, казачье войско, отрезать от большевистской России Кавказ, грозненскую и бакинскую нефть, занять черноморские гавани, подтвердить свою верность союзникам, а там, бог даст, установить живую связь с Парижем и Лондоном, — вот каков был план высшего командования добровольческой армии, отправлявшейся в так называемый впоследствии „ледяной поход“.

Матрос, Семен Красильников (брат Алексея), лег вместе с другими на пашню, на гребне оврага, недалеко от железнодорожной насыпи. Рядом с ним торопливо, как крот, ковырял лопаткой армеец, Васька — ротный запевало. Закопавшись, высунул вперед себя винтовку и обернулся к Семену:

— Плотней, плотней в землю уходи, братишка.

Семен с трудом выгребал из-под себя липкие комья. Пели пули над головой. Лопата зазвенела о кирпич. Он выругался, поднялся на коленях, и сейчас же горячим толчком ударило его в грудь. Захлебнулся и упал лицом в вырытую ямку.

Это был один из многочисленных коротких боев на пути добровольческой армии. Местные силы красных были пополнены частью отряда Жлобы, переброшенного по железной дороге. С ближайшей станции шел бронепоезд, но корниловцы взорвали мост, и шестидюймовка с бронепоезда стреляла издалека, с недолетом.

Как всегда почти, силы красных были значительнее. Но они могли драться, могли и отступить без большой беды: в бою в этот первый период войны победа для них не была обязательна, — позиция ли неудачна, или слишком уж огрызались кадеты, — ладно, мол, наложим в другой раз, и отступали. Не сегодня, так завтра, Корнилову, все равно, крышка. Это понимали все.

Для добровольческой армии каждый бой был ставкой на смерть или жизнь. Армия должна была победить и продвигаться вместе с обозами и ранеными еще на дневной переход. Отступить было некуда. За плечами — ошестиненная, лютая Россия. Поэтому в каждый бой корниловцы вкладывали всю силу отчаяния, и побеждали. Так было и в этот раз.

В полуверсте от залегших от пулеметного огня цепей на стогу прошлогоднего сена стоял, расставив ноги, Корнилов. Подняв локти, глядел в бинокль. За спиной у него вздрагивал холщевый мешок. Черный с серой опушкой полушубок расстегнут. Ему было жарко. Из-под бинокля упрямо торчал подбородок, покрытый седой щетиной.

Внизу, прижавшись к стогу, стоял поручик Долинский, адъютант командующего, — большеглазый, темнобровый юноша, в офицерской шинели, в лихо смятой фуражке набекрень. Глотая волнение, катающееся по горлу, он глядел снизу вверх на седой подбородок командующего, точно в этой щетине — страшно человеческой, близкой — было сейчас все спасение.

— Ваше превосходительство, сойдите, умоляю вас, подстрелят, — повторял Долинский. Он видел, как разлепились у Корнилова лиловые губы, судорогой оскалился рот. Значит, дело плохо. Долинский не глядел уже туда, где черными крошечными фигурками поднимались над буро-зеленой степью, перебегали густые цепи большевиков. Туда, — ссссык, ссссык, — уходили шрапнели. Но он же знал, — снарядов мало, чорт, мало... — Буммм, — серьезно ухала за взорванным мостом красная шестидюймовка... Так-так-так, — торопливо, окаянно стучал пулемет. И пчелками часто пели пули близко, где-то, — над головой командующего.

— Ваше превосходительство, подстрелят...

Корнилов опустил бинокль. Коричневое, калмыцкое лицо его, с черными, как у жаворонка, глазами собралось в морщины. Топчась по сему, он обернулся назад, нагнулся к стоявшим за стогом спешными текинцам, — его личному конвою. Это были худые, кривоногие люди в огромных, круглых, бараньих шапках и в полосатых, цвета семги, черкесках. Не шевелясь, картинно, они держали под уздцы рыжих лошадей.

Резким, лающим голосом Корнилов отдал приказание, показав рукой в сторону оврага. Текинцы, как кошки, вскочили на коней, один крикнул гортанно, по-своему, — выхватили кривые сабли и на рысях, затем галопом пошли в степь, в сторону оврага, где чернела пашня и за ней виднелась полоска железнодорожной насыпи.

Семен Красильников теперь лежал на боку, — так было легче. Еще час тому назад, — сильный и злой, — сейчас он слабо, часто стоял, с трудом сплевывая кровью. Справа и слева от него беспорядочно стреляли товарищи. Они глядели туда же, куда и он, — на бугор, покатый бугор, по ту сторону оврага. По нему вниз мчались верхоконные, человек пятьдесят, лавой. Это была атака конного резерва.

Сзади подбежал кто-то, упал рядом с Красильниковым на колени и кричал, кричал, надсаживаясь, размахивал маузером. Он был в черной кожаной куртке. Верхоконные ссыпались в овраг. Человек в куртке кричал, не по-военному, но ужасно напористо: — Не смей отступить, застрелю, туды вашу мать! — И вот над этим краем оврага поднялись огромные шапки, — раздался протяжный вой, как ветер. Выскочили текинцы. Лежа в полосатых бешметах над гривами лошадей, они скакали по вязкой пашне, где по бороздам еще лежал грязный снег. Летели в воздух комья грязи с копыт. — И-ааа-ияяя, — визжали оскаленные смуглые личики с усами из-под папах. Вот, уже виден водяной блеск кривых сабель. Ох, не выдержат наши конной атаки. Серые шинели поднимаются с пашни. Стреляют, пьются. Комиссар в кожаной куртке заметался, прыгает, как паук. Наскочил, ударил одного маузером в голову: „Вперед, в штыки, сукины дети!“

Красильников видит, — один полосатый бешмет, будто по-нарочному покатился с коня, и добрый конь, озираясь испуганно, поскакал в сторону. Рванул по цепи железный лязг, дымными шарами, желтым огнем разорвалась очередь шрапнели. И этот Васька, запевало, балагур, в шинели не по росту, — сплоховал. Бросил винтовку. Весь — белый и рот разинул, глядит на подлетающую смерть. Они все ближе, вырастают вместе с конями. Один — впереди, конь стелется, как собака, опустив морду. Текинец разогнулся, стоит в стремях, разлетаются полы халата. „Сволочь! — Красильников тянется за винтовкой. — Эх, пропал комиссар!“ Текинец рванул коня на кожаную куртку. „Стреляй же, чорт!“ — Красильников видел только, как полоснула кривая сабля по кожаной куртке... И сейчас же вся конная лава обрушилась на цепь. Дунуло горячим лошадиным потом.

Текинцы проскочили, повернули во фланг. А на пашню, из оврага уже выбегали, спотыкаясь, светло-серые, черные шинели, барски блестя погонами. — Уррррра!

Бой отодвинулся к полотну. Красильников долгое время слышал только, как стонал комиссар, порубленный саблями. Все реже раздавались выстрелы. Замолчали пушки. Красильников закрыл глаза, — гудело в голове, ломило грудь, тошнило. Ему жалко было себя, не хотелось умирать. Отяжелевшее тело тянуло к земле. С жалостью вспомнил жену, Матрену. Пропадет одна. А ведь как ждала его, писала в Таганрог, — приезжай. Казалось — вот-вот покончим с контрреволюцией и — домой. Увидала бы сейчас его Матрена, перевязала бы рану в груди, принесла бы пить. Хорошо воды с простоквашей, — кислого.

Когда Красильников услышал матерную ругань и голоса, не свои, — барские, он приоткрыл глаз. Шли четверо, — один в серой черкеске, двое в офицерских пальто, четвертый в студенческой шинели с унтер-офицерскими погонами. Винтовки — на ремнях за спиной.

— Гляди — матрос, сволочь, пырни его, — сказал один. — Чего там — сдох... — А этот — живой. Они остановились, глядя на лежавшего

Ваську-запевало. Тот, кто был в черкеске, вдруг гаркнул бешено: — Встать, тудыть твою мать! — Ударил его ногой.

Красильников видел, как поднялся, шатаясь, Васька, — половина лица залита кровью. „Стать — руки по швам!“ — крикнул в черкеске, коротко ударил Ваську в зубы. И сейчас же все четверо потащили со спин винтовки. Ребячьим, плачущим голосом Васька закричал: „Пожалейте, дяденька“. В черкеске отскочил от него, уронив винтовку на перевес и, резко выдыхая воздух, ударил его штыком несколько раз в живот. Повернулся и пошел. Остальные нагнулись над Васькой, стащивая с него сапоги.

(Продолжение следует.)

Матросская песнь

МИХ. ДАНИЛОВ

Вдали горит свечей маяк,
Скользит вода, плеща...
Прощай, любимая моя,
Далекая, прощай!

Не дрогни долго на ветру,
Прижав ко лбу ладонь:
Погаснет тлеющий, как трут,
В зеленой тьме огонь.

Корабль плывет, плывет легко
А ночь—как из стекла!
Круглеет в небо высоко
Луна, как рыбий глаз.

Пчелой жужжит тихонько лаг,
Ушедший берег сер,
И алой птицей бьется флаг:
На нем три С и Р.

Вокруг сияющая мгла,
И плеск текучих глыб...
Не плачь, любимая, не плачь,—
Моряк умеет плыть!

Когда же бури синий конь
Взметнется на дыбы,
Ты вспомни тлеющий огонь,
И ночь, и волн горбы.

И знай: под ветра злую песнь
Сквозь бешеную хлябь
Любимый, в черной коже весь,
Ведет родной корабль.

Но пусть совой угрюмой страх
Летит от сердца прочь...
Моя любовь, моя сестра,
Пошли улыбку в ночь.

Путь мчится чайкою сквозь хмурь
Поверх седых горбов.
Могу ль страшиться гнева бурь,
Когда со мной—любовь?

А там, в порту, в чужом краю,
Где все мечты—борьба,
Улыбку алую твою
Я подарю рабам!

Давно сторел свечей маяк,
Скользит вода, плеща...
Прощай, любимая моя,
Далекая, прощай!

Баку—Тифлис

МИХ. ЮРИН

Века бегут быстрее серны,
Раскрашивая жизнь пестро...
Но дни бывают лицемерны,
А человек упрям и строг.

И вот вчера, сооротив мину
И дорогих не тратя слов,
Жизнь приказала мне покинуть
Любимейший из городов!

Был зимний день румян и весел,
Года шагали по полям,
И в балаханском черном лесе
Покашливали дизеля!

Баку водил седую бровью,
Улыбка искрилась из глаз...
Резервуары черной кровью
Захлебывались каждый час.

Отчетливей звенели ночи,
И корчевало время пни...
И становились дни короче,
И ярче расцветали дни.

И был увереннее пролит
На мостовые четкий цок...
Места любимые до боли
Меняли старое лицо.

И седина не гнула спину,
Дни заматали пыль следов...
Но мне приказано покинуть
Любимейший из городов!

* * *

По узким рельсам, ног не чуя,
Под мерный стук стальных колес

Меня несет в страну иную
Черноголовый паровоз.

Я измеряю дни шагами
И слушаю вагонный вой...
Слежу за серыми полями,
Мелькающими предо мной.

Глаза мои целуют горы,
Да ветром сваленный плетень,
Близки мне горькие укоры
Однообразных деревень.

Хранят все так же день вчерашний
Пески безлюдные... И вдруг
Издалека радио-башней
Меня приветствует Навтлуг.

В долине дремлет вечер мгlistый,
Дымят седые облака,
И вьется змейкой серебристой
Быстро-бегущая река.

По берегам поют свирели,
За перевалом стынет ночь...
Проспект Плехановский и Руставели
Мне улыбаются в окно.

Как оголтелый, воеет город,
Встречая смехом поезда,
И смотрит в даль с фуникулера
Пятиконечная звезда!

Закинув голову надменно,
Метех немеет на часах...
Но мне милее несравненно
Бакинские корпуса!

1 марта 1927 года

Тифлис.

Записки Анания Жмуркина

Повесть

СЕРГЕЙ МАЛАШКИН

(Продолжение ¹)

Зеленая ночь

Феклушин сменил Синюкова. Он остановился около окна и стал упорно смотреть на озеро, на начало окопов, которые отделяла от нас бешено-ревушая полоса огня и железа. Временами эта полоса обрывалась и, яростно крутя вершины деревьев, падала в озеро, поднимала огромные фонтаны воды, выворачивала землю, выкидывала вместе с водой далеко на берег. От таких взрывов, содрогаясь внутренностями, точно в мучительной рвоте, дрожала земля, и темно-красный дом дрожал, как пух одуванчика, каждую минуту готов был подняться и улететь в безвоздушное пространство. Густая свинцовая мгла ночи то и дело разрывалась на части, шарахалась в разные стороны; двухэтажный дом, в котором мы сидели, освещался розово-красным заревом. Воздух ревел, вертелся огромными воронками, обрушивался шквалами огня, железа на окопы, делал свое жестокое дело, вырывал из земли многосаженные гнезда спрятавшихся людей, разрывал и сплющивал в воздухе в сплошное месиво—землю, деревья, железо и бросал на вздрагивающую землю и так без конца. Слушая эту дьявольскую музыку, у меня не было силы подчинить себя собственной воле: меня всего трясло, нижняя челюсть отстала и, стуча о верхние зубы, работала самостоятельно. Мне все время хотелось сказать какое-нибудь слово, поговорить с Феклушиным, но язык не слушался и настолько был тяжел, что я не был в состоянии пошевелить им. Я только широко открытыми глазами смотрел на Феклушина, жадно искал его глаз, старался уловить выражение его лица, но и этого мне не удавалось до тех пор, пока он не заговорил со мною.—„Ты что, земляк,—спросил он,—в первый раз в секрете?“—и посмотрел на меня кроткими, как будто ничего не говорящими, светло-голубыми глазами.—

¹) См. «Новый Мир», кн. 6 с. г.

„Да“,—ответил я и подошел ближе к окну.—„В секрете гораздо лучше,—не слушая меня, ответил Феклушин и переступил с ноги на ногу.—Теперь там ужасное творится. Наши скоро будут наступать“.

— Наступать?

Феклушин помолчал. Потом, отступив от стены, отошел от окна, посмотрел на меня, улыбнулся.—„Надо бы покурить“.—„Что ж, покури, а я посмотрю“,—ответил я и ближе подошел к окну, но не успел я отвести глаз от Феклушина, взглянуть в окно, как наш дом дернулся, припал к земле, потом закачался из стороны в сторону.

— Ложись!—крикнул Феклушин и быстро повалился на пол.

Я последовал его примеру, но было поздно: снаряд тяжело прогромыхал над крышей дома, грузно вонзился позади в гору и, вырывая с корнями деревья, ошеломляюще лопнул, вместе с глыбами земли поднялся вверх и градом земли и щепок осыпал дом, отчего дом прогремел, как бубен. Мы неподвижно лежим на полу, освещаемые ежeminутно вспышками. Феклушин заговорил первым:—„Живы?“—это он бросил по лестнице вниз.—„А вы?“—поднимаясь ползком по лестнице, спросил Синюков и, как черепаха, вытянул голову.—„Живы“,—ответил Феклушин и прислушался.—„Сейчас пришлют еще“...—„Тогда нам нужно отсюда утекать“,—прошептал я.—„Этого мы не можем сделать“,—сказал Феклушин и придушенно засмеялся.—„Ложь!“—выкрикнул я и сам испугался своего голоса. Феклушин приподнял от пола голову, выпустил из рук винтовку и, упираясь руками в пол, приподнял туловище, долго лежал так и смотрел на меня. В этот момент он был похож на большую, только что потревоженную жабу, которая нацеливалась броситься в пропасть, чтобы спастись от врага.

— Ты что?—Он быстро прыгнул ко мне. Я испуганно подался от него в сторону.—„Ложь?“,—выдохнул Феклушин и замер.—„Ложь“,—ответил я и тоже облокотился на руки и приподнял туловище. В это время, когда я поднимался, Феклушин что-то хотел мне сказать, но ничего не сказал, так как ночь, налитая огнем и металлом, вздрогнула и зеленой бабочкой затрепетала за окнами. Мы, ослепленные трепетом ее огромных крыльев и неожиданно наступившей тишиной, припали плотнее к полу, вытарашенными орбитами глаз кричали друг другу в упор:

— Ложь!

— Ложь!—Сколько мы так пролежали, я хорошо не помню, только помню одно: Феклушин поднялся первым, смахнул с шинели приставшую солому и, не торопясь, подошел к простенку окна, привалился плечом к стене и, склонив голову, облокотился на ружье.

— Пошли.

За Феклушиным подошел к окну Синюков, остановился за его спиной.

— Пошли,—вдохнул вторично всем своим чревом Феклушин.

— В штыки?—не поднимаясь с пола, спросил я у Феклушина.

Он не ответил.

— Какое зрелище!—вздыхнул Синюков и обратился ко мне:— Жмуркин, посмотри.

Я подошел к окну, остановился позади Феклушина и Синюкова и стал смотреть на зеленое море ночи.

— Ты видишь, как немцы тревожно освещают поле боя?

Действительно, ракеты поднимались одна за другой и, долго-вися в воздухе, горели, ослепительно-зеленым светом обливали пространство боя, потом, прогорев, рассыпались темно-красной пылью.

— Сейчас заработают пулеметы.

Огненный шквал был позади немецких окопов. Такая же завеса огня была и позади наших окопов. Огонь красно-желтой цепью протянулся по высокому холму и, подпрыгивая кверху, танцевал какой-то необыкновенно-причудливый танец, — это был наш заградительный огонь, чтоб немцы не могли бросить подкреплений, а также удрать из окопов. В этом танце огня что-то было ужасное; он прыгал, подскакивал; от его топота дрожала земля, глухо бушевало озеро, кружились вершинами деревья.

— Пулеметы, пулеметы,—вздыхнул Синюков,—это наши.

— Немецкие; разве ты не слышишь, как они твякают?—и Феклушин, несмотря на то, что мы великолепно разбирались в звуках оружия и орудий, подробно об'яснил нам.

— Да, и нашим стрелять нельзя, когда наши наступают,—сказал я. Мне не ответили: Феклушин и Синюков плотно припали к окну, прислушались. Пулеметная и ружейная стрельба застряла в каком-то узком проходе, издавала еле уловимый всхлипывающий свист. Но это было только неверное восприятие слуха: били тысячи пулеметов, тысячи орудий. А ружейные выстрелы трещали, как грецкие орехи,—это наши; немецкие хлюпали, как крупные дождевые капли в жирную землю. Потом вдруг, как-то внезапно, все стихло. Зеленая бабочка дернулась и, помахав прозрачными гигантскими крыльями, грузно провалилась в какую-то бездну, и мы погрузились в зловещую темноту. Но вот ошеломляюще спокойно вспыхнула ракета, плавно скользнула по небу, осветила на одно мгновение нас и снова погасла перед нашими окнами, и мы опять погрузились в рокошущую тьму. Мы все трое стояли, не шевелясь, и время, что бежало мимо нас, мимо нашего дома, казалось нам вечностью. Слушая тишину, нам хотелось спать, спать, спать. А из этой глухой и знойной тишины до нашего слуха отчетливо, как всплеск далекого океана, доносился потрясающий человеческий крик и смертно-животное кряканье:

— Уууурррааа!

А нас неудержимо тянуло: спать, спать, спать.

„Культура“

В обед нас сменили. Мы прошли в окоп все тем же путем, которым проходили в караул вчера вечером, и разошлись по своим

блиндажам. На душе у меня было тяжело, мрачно; мне совершенно не хотелось думать ни о настоящем, ни о будущем, так как у меня ничего этого не было, а было только одно: окопы, жуткое время, оторванное от всего мира, свободно разгуливающая смерть, которая бегает, вертится вокруг и издевается надо мной:— „Не торопись, не торопись! Еще, голубок, не пришло твое время проститься с этой жизнью. Не пришло. Я сама знаю, когда нужно тебя подкосить, прахом твоим напитать червей, прахом твоим унавозить землю. Не торопись, голубь мой, не торопись. Наберись терпения и жди. Я тебя не забыла“. Так нашептывала смерть из времени, оторванного от всего мира, бегала, как безумная, по обожженному и по глубоко взрытому снарядами полю, косила, жалила беспощадно моих товарищей, с которыми я приехал сюда из далекой и пышно-цветущей России. Такое было у меня настроение, когда я вошел в блиндаж, но когда я осмотрелся и в блиндаже не нашел Евстигнея, меня охватил чудовищный испуг, стиснул огромными тисками, так что я оцепенел на несколько минут, остался стоять на одном месте и тупо стал смотреть на Соломона, что сидел в углу блиндажа и дремал. Я видел, как густые женские ресницы неподвижно лежали в орбитах, и от орбит и ресниц падала темно-серая тень на желто-землистое лицо Соломона; я подошел к нему и толкнул его:— „Соломон! Соломон!“—Соломон взмахнул ресницами, и я видел, как с его лица сбегала тень, из орбит взглянули кроткие глаза, осыпали желтой пылью.— „Что?“—Потом он быстро вскочил на ноги, побежал к бойнице и принялся стрелять. Я подошел к Соломону и взял его за плечо:— „Соломон, Соломон!“ Он повернулся ко мне; на его лице возбужденно играл жидкий румянец и дрожала заячья губа; мне показалось, что его губа снова дразнилась, подсмеивалась надо мной и как будто выговаривала: „Жмуркин, я, брат, того, великолепно сдремнул, а ты, Жмуркин, проворонил.. да-да, ты, брат, проворонил“. Соломон ничего не говорил; только стоял передо мной, шевелил заячьей губой.— „Где Евстигней?“—спросил я и пристально посмотрел на Соломона. Он улыбнулся, оттопырил губу, но ничего не сказал.— „Где Евстигней?“—повторил я и коснулся Соломона.—Евстигней!“... Соломон расплылся в улыбку, замахал рукой.— „Евстигней?. Он остался там... А я убежал сюда нынче ночью... Немцы нас не допустили до себя... Евстигней остался там!“.

— Убит?

— Убит?— не понимая меня дернулся Соломон и закружился по блиндажу и весело замурлыкал какую-то песенку на своем жужжащем языке.

— Да ты с ума сошел, что ли, а?—заскрипел я и схватил Соломона за грудь гимнастерки.— Ты что, обалдел, а?—От такой неожиданности Соломон остановился, испуганно вытаращил на меня глаза, зашевелил губами:— „Ааа, Ананий!“— „А ты думал, это кто?“— „Так это ты?— „Я“.— „А я думал, тебя убили“.— „Пока еще не убили, а гуляю,— улыбнулся я и крепко обнял Соломона.— Расскажи, как

потерял Евстигнея?“ Соломон, волнуясь и целуя меня в щеку, привалился к стене, а когда мы кончили лобызаться, я сел на выступ и приготовился слушать. В соседнем блиндаже кричал взводный, приказывал становиться к бойницам и стрелять. Потом взводный пришел к нам, строго-настрого приказал не отходить от бойниц, и все время стрелять. Он грозно сказал: — „Вы должны выбить врага, который старается выбить вас из действия“. — „Как его достать? — огрызнулся Соломон и посмотрел на взводного. — Он, как крот, сидит в земле, а вы достать“... — „А ты еще поговори у меня!“ — Соломон замолчал, пошел к бойнице. Я пошел тоже к бойнице, и мы принялись стрелять. Взводный, проверяя нашу стрельбу, сказал: — „Нынче в ночь пойдем в атаку. Нужно обязательно выбить врага, против которого сидите, иначе он вас перестреляет, когда пойдете в атаку“. — „Слушаю“, — ответил Соломон и старательно принялся выпускать обоймы. Немцы отвечали так же горячо и добросовестно. Ружья, пулеметы хлестали ливнем свинца в насыпь нашего блиндажа; некоторые пули, не долетая, ударялись около насыпи, поднимали небольшие стружки пыли. Создавалось такое впечатление, что будто бы шел крупный ливень дождя, капли которого падали на землю, на сплошные лужи воды, дымились легким дымком. Стреляли мы долго, сильно, так что затворы винтовок и патронные коробки невыносимо стали горячими. Первым заговорил Соломон.

— Евстигней остался там, и я думаю, что он не ранен.

— Как это там и не ранен? Я не понимаю.

Соломон дернулся и застыл:

— Это ты, Ананий? — и пощупал меня рукой.

— Я.

Соломон, захлебываясь словами и дергая то и дело заячьей губой, стал рассказывать:

— Да, это ты, Ананий. Сколько мне пришлось пережить. Боже мой, сколько мне пришлось пережить! О, если бы ты знал, Ананий, сколько пришлось пережить в эту ночь! Ты поверь, Ананий, немцы долбили по нашим окопам чемоданами, так что было никак невозможно не только показаться из блиндажа, а и мизинца высунуть. Как они долбили, Ананий! Ужас! А пулеметы как из пожарных кишек поливали... Боже мой! — Соломон повернул лицо ко мне и совсем захлебнулся словами. — О, как они, Ананий, поливали... — и замолчал. Я смотрел на него. У Соломона тряслась губа и все шире открывались каштановые глаза. Я чувствовал, что Соломону было тяжело и трудно говорить: слова, пухлые от ужаса, застревали в его горле, душили его. Он говорил: — Боже мой, как немцы поливали! Мы все: — я и Евстигней — припали к земле и не дыша лежали. Поверь, Ананий, нас не было, не существовало... Боже мой, нас совершенно не существовало! Я тебе прямо скажу: был Соломон и не было Соломона! Боже мой, что только делалось над нашими головами... О!

— „Вылазь“, — зашипел взводный над нами и забегал по окопу. — „Вылазь!“ — зашипели за взводным отделенные командиры и тоже забегали по окопам. А мы, как будто не слыша, лежали и не шевелились. — „Вылазь!“ — прохрипел надо мной взводный и двинул меня носком сапога по задку. „О! — вскрикнул я, — зачем же так драться, можно и толком сказать... боже мой, что тут только было! Бухали снаряды, трещали блиндажи, летела земля, свистели осколки“... — тут Соломон широко открыл рот и замер и так стоял несколько минут.

— Ну.

— Ну! — выкрикнул за мной Соломон и заиграл заячьей губой. — „Вылазь!“ — грозя кулаком, приказал взводный и пошел в соседний блиндаж. — „Ну, — поднимаясь с земли, сказал мне Евстигней: — придется вылезать“. — „Да, придется, Евстигней“, — ответил я и хотел было снова повалиться на землю. — „Ты, — говорит Евстигней, — держись около меня. Я, — говорит он, — имею огромную силу и в штыковом бою защищу тебя“ — и стал вылезать из окопа, а когда вылез, бросил мне: „Лезь, да скорее“. Боже мой, что тут и было! Я хочу кверху, а меня тянет книзу. А пулеметы так и режут, так и режут козырек насыпи!“... — Соломон замолчал, ближе прижался к бойнице, с азартом выпустил несколько обойм. — „Ночь была светлее дня. Все дрожало, лопалось, как яичная скорлупа, свистело; под ногами гудела земля и, как гигантская палуба корабля, качалась из стороны в сторону. А мы припали к ней и крепко держались за нее. — „Вперед, вперед!“ — раздавался голос взводного. Мы оторвались от земли, рванулись вперед, побежали. Ярко зеленая завеса огня, земли и металла преградила нам путь и все заградила собой. Огонь походил на цепь, на неумолкаемо бьющие фонтаны ярко зеленой воды. Мы остановились, упали на качающуюся землю, прижались к ней!.. боже мой! мы лежали около цепи фонтанов, и брызги земли, огня и металла летели на нас... — „Вперед, вперед!“ — кричал взводный. Мы не могли оторваться от земли. Боже мой, что была за ночь! Первым поднялся Игнат, бросился в зеленое пламя фонтанов, и пламя схватило его и скрыло собой. За ним побежал Яков Жмытик. Но он не добежал до огня; он, вскидывая кверху руки и откидывая без головы туловище, застыл на раскорячившихся ногах... О! — вздохнул Соломон, — и был Яков Жмытик на зеленом фоне огня, как черное пугало на гороховом поле... — „Вперед! вперед!“ — раздавался за нами голос взводного. Я бросился за Евстигнеем, я нырнул за ним в зеленое пламя огня. — „Соломон! Соломон!“ — кричал Евстигней и бежал вперед. Я бежал с ним рядом. — „Вперед! вперед!“ — гремела команда. Впереди было тихо и светло, как днем; позади бесновались фонтаны заградительного огня. Перед нами чернели немецкие окопы, а над нами моталась половинка луны, бодалась рогами. — Вдруг немецкие окопы зашевелились, поползли к нам навстречу... Мы сгрудились в кучу, рванулись: — „Урраа!“ — Боже мой, — вздохнул Соломон и замахал руками. Я видел, как у Соломона покраснело лицо, и еще больше оттопырилась заячья губа, а глаза,

окаймленные женскими ресницами, застыли и смотрели холодно и сухо мимо меня.

— Боже мой! Гляжу—прет на меня здоровенный немец и ревет... „О! — думаю я, — Сарра, помяни непослушного своего Соломона!“ А немец все ближе, ближе и похож он на пузатого Игната... Я почувствовал, как занули мои колени, по спине побежали мурашки... Боже мой! — закрыв глаза, вскрикнул я и бросился вперед. — О! — Соломон снова споткнулся, замер на минуту, дернулся.—Штык, хрипло распарывая, вошел в мягкое, и пронзительный крик немца обрушился на меня. Я приоткрыл один глаз, присел на ноги и взглянул: немец, как гора, сидел на штыке, крепко держался за ствол моего ружья и, вырывая его, жутко визжал... Боже мой! У меня не было силы удержать ружье; у меня кружилась голова. Крик немца и его зверское искаженное ужасом лицо давило меня к земле, тащило к себе. Я видел, как дуло уходило все больше в его тело... Я присел на корточки, потащил к себе, но тут приклад оторвался от ствола, и я полетел, а на меня со штыком в брюхе бросился немец.—О! — вскрикнул я... Тут Соломон закрыл глаза, улыбнулся.

— Ну?

— Жив! жив! — ответил он радостно и, не открывая глаз, завертелся по блиндажу. — Евстигней, — остановился Соломон и посмотрел на меня.—Евстигней?—Боже мой! Это он, Ананий, ударил немца прикладом по голове, когда он навалился на меня... О! я больше ничего не помню... Я долго вытирал мозги с моего лица и шинели, а когда вытер лицо, Евстигней мне крикнул: „Назад!.. А где твоя винтовка?“ — „Моя винтовка! О, где моя винтовка?“, — и я схватил винтовку убитого немца; побежал за Евстигнеем. О! — Соломон снова улыбнулся и закружился по блиндажу, — как будет рада моя мать Сарра!

— Это чорт знает, что такое! — крикнул взводный и вплотную подошел к Соломону. — Я тебе, жидовская харя, дам такую Сарру... Я тебе дам... — Но взводный ничего не дал Соломону; он только толкнул его к бойнице и, втягивая шарообразную голову в плечи и опуская застенчиво мышинные глаза, снисходительно заговорил:—Ну, как с вами, ребята, не ругаться? Вы и святого Николая выведете из терпения! Вам говорят—стрелять, а вы о Саррах и Марьях думаете. Я тоже был бы не прочь подумать, да...

— И, наверно, думаешь,—сказал обиженно Соломон.

— Да некогда. Я бегаю, как угорелый, а из чего и сам не знаю.—И взводный махнул рукой и вышел.

— Все время ругается, чорт,—бросил Соломон и повернул ко мне лицо.

В блиндаж вошел Игнат и, ставя к стене винтовку, улыбнулся.

— Не ждали?

Соломон спросил:

— Боже мой! Откуда? Я думал, что тебя вывели в расход.

— Пока еще нет,—держа на лице улыбку, ответил тихим голосом Игнат. Он очень был похож на суслика и так был смешон, что просто, глядя на него, хотелось пошутить, посмеяться над ним.

— Кто это тебя так вылизал? — спросил я и отошел от бойницы и показал на его гимнастерку.

Игнат икнул и, приваливаясь к стене, присел на корточки. На его лице все так же играла улыбка, так что ее никакие силы не могли спугнуть, согнать с его лица. Он был взаправду смешон. Гимнастерка была мокрой, в особенности на круглом животе она блестяла и, как зеркало, отражала бледно-серый цвет послеобеденного дня.

— Ты что, плавал?

Игнат не ответил. Он смотрел мимо меня в противоположную стену и все так же невинно улыбался.

— Ты что же молчишь?

— Да, плавал,—ответил он после некоторого молчания.—Я все утро плыл животом по траве. А сейчас написал стихотворение, хотите прочту.

— Ты пишешь стихи?—дернулся Соломон и заиграл женскими ресницами.—Как я, Игнат, люблю стихи! Я очень люблю Бялика. Ты знаешь Бялика?

— Нет,—ответил Игнат,—не слышал такого.

— Это мировой поэт; он пишет на древне-еврейском языке, и ты не знаешь!...

— А ты что же думаешь, еврейский язык имеет значение для меня?

— Ты обязательно прочти Бялика, — настаивал Соломон, — он тоже из Одессы, и мы с ним земляки.—И, обращаясь ко мне:—А ты, Ананий, читал?

— Я?

— Да.

— Я читал много стихов, но Бялика не читал.

Игнат повернул голову, подозрительно поглядел мне в глаза, потом, осмотрев меня с ног до головы, спросил:

— Ты много читал? Кого?

— Много, но только имен не помню,—уклончиво ответил я.

Глаза Игната вспыхнули, стали необыкновенно глубокими; на лице хрупкой зыбью солнечных веток заиграла, забегала улыбка.

— Хоршо,—протянул он и стал читать:

— Небо не небо, а голубой бык
С рыжими рогами;
Это он, став на дыбы,
На тебя, на тебя
Все глядит золотыми глазами

— Все?

— Все,—ответил Игнат.—А вот начало другого:

Культура!

Что такое культура?

Это блин, сделанный из костяной муки,

Это блин, поджаренный не на масле, а на сахариновой воде...

О, голубой огонь,

Спали эту культуру—

Распутную девку с подвитыми рыжими волосами!

О, голубой огонь!

— Какие же это стихи?—сказал Соломон.—От таких стихов лопнут ушные перепонки. Это какой-то бред.

Игнат ничего не ответил, он только мрачно посмотрел на Соломона и развалился на солому.

— Евстигней лежит еще там...

— Там? Убили? Ранен?

— Нет. Там еще много из нашей роты. Они окопались.

— Стихи у тебя плохие,—перебивая его, бросил Соломон.—У тебя совершенно нет тем для стихов. Хочешь, я тебе расскажу сон, а ты на эту тему составь стишок.—Боже мой!—начал Соломон. Соломон постреливая из бойницы, рассказал, какой он видел сон:—Я видел во сне девушку. Девушка эта была в белом платье.—Говорил Соломон очень долго и очень скучно.—Шел я с этой девушкой по узкой дороге в гору. По бокам дороги колосились поля, шумели спелой рожью. Девушка мне и говорит:—„Соломон! Соломон! ты знаешь, куда мы с тобой идем?“—„Ничего не знаю“,—ответил я ей.—„А я знаю“,—сказала она и улыбнулась.—„А я знаю“.—„О!—воскликнул я и посмотрел ей в глаза,—скажи“.—„Хорошо“,—ответила она и взяла меня под руку,—если ты, Соломон, не знаешь, куда мы идем, я тебе скажу“. „О!—воскликнул я вторично,—я буду очень рад“. Она мне сказала:—„Идем мы с тобою на гору Сион“.—„Это как так на гору Сион?—испугался я и спросил девушку:—Это как? Я совсем не хочу идти на гору Сион“.—„А ты знаешь, с кем идешь?“—спросила она и склонила ниже голову.—„Нет, не знаю“,—ответил я.—„Не знаешь?—спросила она и еще ниже склонила голову.—А знаешь, Соломон, как звать меня?“—„Не знаю“.—Тут мы оба остановились.—„Не знаешь“,—вдохнула она и положила голову на грудь.—„Не знаю“,—вдохнул я и коснулся рукой ее подбородка. Она подняла голову, взглянула на меня грустными синими глазами.—„Узнал?“—„Да“,—простонал я и отвернулся от ее лица. Это была моя сестра Руфь...—О!“—выкрикнул радостно Соломон. Снаряды били по брустверам и по насыпи. Со свистом впивались пули в окопный козырек. От пул тонкими струйками поднималась пыль; от снарядов—большими цветущими кустами сирени. Игнат лежал на соломе и, жалобно насвистывая носом, проговорил:

— Соломон! Соломон!

Я повернул голову в сторону Соломона и встретился с его каштановыми глазами.

— Соломон! Соломон! — Он ничего не ответил. Он смотрел на меня и улыбался. Я стал всматриваться в его лицо: нижняя заячья губа, обнажив серебро мелких зубов, далеко отвисла от верхней и была бледно-синего цвета; на его голове вместо темно-русых волос оказалась тарелка с манной кашей, через края которой сочилась темно-красная жижица и тонкими струйками медленно текла к переносице, к вискам, от висков по щекам и к подбородку.

— Соломон! Соломон! — Соломон не шевелился. Ужас приковал меня к бойнице, так что я не мог пошевелинуться ни одним мускулом. Игнат, не поднимая головы и не открывая глаз, бросил:

— Череп своротило... разрывной.

Потом посмотрели мы друг другу в глаза, вздохнули. Потом, потрясенные, долго молчали. Первым сказал Игнат:

— Надо написать на его родину, у него, наверно, есть мать.

— Я сейчас напишу,—ответил я и полез за голенище.

К л о п

Гремели орудия всех калибров. Под лавами огня и железа резко раздавались дикие, короткие вскрики. От рева, металлического треска сжималось тело, гудело, трещало, словно в нем бабы мляли на мялках коноплю; сжимались виски, так что кости черепа трещали, отчего во всей голове была невыносимая мучительная боль, как будто под черепной коробкой находился небольшой зверек-грызун и маленькими острыми зубами медленно пожирал кашиду мозга. От такого ощущения я не мог сосредоточиться на мыслях и написать письмо. Я напрягал все свои силы, весь свой ум, чтобы вылить на небольшой лоскуток бумаги несколько нежных, утешительных слов... Я писал:

„Многоуважаемая мадам, Сарра Абрамовна, сообщаю Вам, что Вашего сына Соломона ранили, и мы схоронили его в большую могилу, засыпали мягкой землей; на могилу поставили большой кленовый крест, насыпали полевых цветов и еловых веток“...—Тут я поднял голову, взглянул на Игната; он лежал кверху животом, и, глядя в бруствер потолка, напевал себе под нос:

Тешится поезд товарный,

Тешится поезд над нами:

— Дураки, дураки, дураки.

Эх! Тешится поезд над нами.

— Игнат!—крикнул я.—Я написал письмо Сарре Абрамовне Соловейчик.

Игнат, не поворачивая тела, повернул в мою сторону голову, спросил:

— Написал? А ну, читай.

Я прочел.

— Как же это так,—протянул он и улыбнулся,—ранили и схоронили в большую могилу? Ты что-то написал неладно. По-моему его убили.

Игнат был прав, так как кровь и кашлица мозга Соломона были на стене блиндажа и неприятно смотрели на нас.

— Да, это верно,—ответил я,—но я не хотел писать в первых же строках письма „убили“, так как это слово слишком было бы тяжело для старческого слуха Сарры Абрамовны, и я написал „вашего сына ранили“

— Ты прав,—согласился он,—слово „убили“ жестоко для слуха матери. В этом ты, Жмуркин, тысячу раз прав!—вскрикнул он и громко засмеялся, а когда закончил смеяться, добавил:—Я только сомневаюсь относительно креста...

— Креста?

— Да,—ответил он и пустился было философствовать.—Правда тут в земле все боги и религии смешались, перемешались, а о нашем брате и говорить не приходится...—и он глубоко вздохнул.—Из нашего брата получается месиво, так что не поймешь: какие куски мяса принадлежат русскому, какие татарину, какие еврею... ничего, Жмуркин, не поймешь! ничего, все они одного цвета, да и бог не позаботился сделать различие... да и какое ему дело до простонародия...

— Да,—согласился я и резко оборвал его.—Так ты говоришь, что я написал неудачно, плохо?

Игнат замолчал, задумался, а через пару минут сказал:

— Соломон был иудейского вероисповедания, а ты...

— Ты прав!—воскликнул я.—Я совершенно упустил из виду, что Соломон—еврей и, главное, я обидел бы его мать, задев ее религиозное чувство; придется другое написать,—и я разорвал на четыре части письмо.

— Написать?—удивился Игнат и приподнял голову, потом все свое туловище и, сложив руки на круглом животе, сел и стал как-то странно смотреть на свои кряжистые ноги, обутые в большие сапоги, которые от походов и от времени потеряли цвет и были похожи на серо-желтую осеннюю листву. Впрочем, такого цвета были не одни сапоги, а и шинель, и гимнастерка, и лицо Игната, а также и мое. На войне люди, как змеи, меняют не только кожу, но и тело и душу, и сливаются с матерью землей, так что их невозможно отличить от земли и выжидают друг друга, чтоб исподтишка наброситься, убить, растерзать... Человек странное и жуткое животное. Он даже, по-моему, куда гадливее самой ядовитой змеи. Я очень много видал змей, которые так ловко припадали к серой гористой земле, так что были совершенно незаметны для глаз, но когда мои глаза встречались с их глазами, змеи сжимались и виновато убегали от меня, а человек не бежал...

— Человек не бежал,—сказал я вслух и вздрогнул.

Игнат сидел и все так же смотрел на свои ноги, улыбался.

— Ты что?—спросил я.—Давай вместе напишем.

— Написать?—повторил он.—По-моему не надо. Зачем писать, что „убили“ вашего Соломона? Не надо. Ничего не надо.

— Ведь он, Соломон, просил и дал мне адрес.

— Но она тебя не просила,—ответил он сердито.—Какое ты имеешь право создавать в ее жизни, перед ее глазами пустое место, а?..

— Позволь...

— Никакого позволь. Пусть бедная мать Соломона живет в ожидании сына, пока ее не возьмет земля...—Игнат замолчал и опять развалился спиной на землю и стал смотреть в потолок блиндажа.

Возражать Игнату я не стал: он был, пожалуй, прав. Зачем убивать старого человека жестоким письмом? Пусть она верит и ждет, что ее любимый Соломон жив и скоро вернется. Пусть она, бедная Сарра, выходит ежедневно из своей халупы и по вечерам и по утрам смотрит из-под старческой сморщенной руки на широкую дорогу. Пусть. Ничего не надо! И я взглянул на Игната. Он лежал и тянул однообразно песенку, сложенную им:...

Тешится поезд...

— Дураки, дураки, дураки...

Я отвел от него глаза, уперся в стену блиндажа. Остановился По стене, спотыкаясь в ноздрях глинистой почвы земли и останавливаясь перед трещинами, лениво полз жирный коричневый клоп. Полз он медленно и тяжело, ног его было совершенно не видно. Я стал внимательно рассматривать клопа, и, чем я его больше рассматривал, он все больше и больше вырастал, и через несколько минут он превратился в огромного кабана. Сквозь прозрачную коричневую и блестящую, как лак, кожу я видел, как в нем пузырилась, вращалась человеческая кровь... Я стал наблюдать за кровью.

...Клоп медленно переваливался, полз...

Я в ужасе подумал: это кровь Жмытика, Евстигнея, Игната, Соломона, моя... Я взялся за винтовку, положил ее на колено и острием штыка стал ловить огромного, отливающего бронзой клопа; но клоп, вырастая в огромную гору и раздвигая стены блиндажа, спокойно переваливался, полз вперед, и я никак не мог поймать его на острие штыка, пропороть его блестящую коричневую кожу, чтоб выпустить кровь. Я чувствовал, как дрожали мои руки и блестящий штык скользил по коже клопа, а он все также спокойно разрастался и полз, раздражая меня... Полз...

— В атаку-у!—раздался протяжный крик по узкой кишке окопа и добежал до моего уха и, как мотылек, забился в ушную перепонку. Я вздрогнул и опустил винтовку, клоп тяжело шлепнулся на солому.

— В атаку-у,—сказал Игнат и быстро повернулся животом вниз и громко засмеялся.

— Да,—ответил я и тоже засмеялся.—Я видел большого клопа.

— Клопа?

— Да. И я его никак не мог поймать на штык.

И мы долго и безумно хохотали.

Братцы, мы должны быть храбрыми!

Мы не пошли в атаку... Мы сидим глубоко в земле и ждем команды.

— Какой нынче день?—спросил один солдат с черной бородой, с глубоко-провалившимися глазами от бессонницы и от переживаемого ужаса.

— Пятый,—не глядя на него, ответил Игнат и плотнее привалился к стене.

— Пятый? Не может быть. Мне кажется, что прошло больше месяца, как мы сидим в земле и ждем команды,—возразил солдат с черной бородой и с глубоко-запавшими глазами.

— Пятый,—ответил спокойно Игнат.—Я добросовестно наблюдал в дырку за восходом солнца.

— Пятый,—согласился солдат с черной бородой,—а я думал...

Вошел взводный. Остановился. У него под круглыми, немного выпуклыми, кошачьими глазами большие черные круги; под правым глазом бьется толстая синяя жилка. Мы все повернули головы в его сторону, вяло смотрим на него и ждем, что он нам скажет. Взводный стоит несколько минут и смотрит мимо нас, в стену окопа, потом неуклюже взмахивает рукой, делает несколько шагов к стене, к которой прижались и мы, останавливается напротив двух солдат, затем поворачивается и приваливается спиной к стене.

— Значит, нет,—шепнул я Игнату.

Игнат ничего не ответил. Игнат сидел с полузакрытыми глазами и дремал.

— Слава богу,—вдохнул солдат с черной бородой и улыбнулся мне сизыми губами из черной бороды.—Слава богу. Все лишний раз посмотрим на солнышко. И люблю я, братцы, смотреть на солнышко, ох, как люблю!

Взводный медленно отвалился от стены, выхватил из кармана руку, замахал ею, как будто он отгонял осу, которая кружилась около лица и желала ужалить его, а когда опустил руку, он отбежал от стены и, став перед нами, испуганно, шопотом выкрикнул:

— Братцы!

Мы все тоже отвалились от стены. Вытянули головы в его сторону и внимательно стали слушать. А солдат с черной бородой, с глубоко провалившимися глазами, судорожно стал креститься.

— Господи Иисусе... Господи Иисусе... Господи Иисусе...—губы у него тряслись и борода дергалась во все стороны,—сусе...

— Братцы!—выкрикнул взводный,—сейчас наступила наша очередь вылезать... Прошу приготовиться.

Мы все как-то странно засуетились по окопу. Многие из нас бросились к своим блиндажам. Солдат с черной бородой бросился тоже и, пробегая мимо меня, вскрикнул:

— Братцы, а я белье позабыл... Господи Иисусе...

— На смерть идет, а...

— А ты разве не взял?— сказал мне Игнат.— Если не взял, то иди сейчас же и все заведи.

Я посмотрел на Игната. Он все так же спокойно стоял около стены и так же спокойно выжидал выступления.

— А ты все взял?— спросил я и стал осматривать Игната.— А зачем это все?

— А если нас ранят?— спросил Игнат и улыбнулся.— А возможно, в плен попадем?

— Ты прав,— сказал я и побежал в свой блиндаж за барахлом, которое лежало у меня в вещевом мешке. Игнат был прав, так как он хорошо знал настроение каждого солдата, и это настроение хорошо знал и я, так как я его имел и в себе. Мне тоже хотелось быть раненым или попасть в плен, но лишь бы выбраться из этого ненавистного ада и никогда его не видеть.

— Ну, вот и хорошо,— улыбнулся Игнат, когда я пришел с вещевым мешком и привалился к стене.

— Братцы,— хрипел взводный,— а бомбами все запаслись?— А ты?— обратился он к Тяпкину.— Я тебе, сволочь, морду набью. Где у тебя бомбы, а?

— А ежели она, господин взводный, взорвется?— оправдывался Тяпкин и виновато улыбался и испуганно оглядывал себя.— А ежели она взорвется?

— Ах, ты, голова расстуденова, да тебя немцы прикакушать в два счета, а с бомбой десять уложить можешь.

Тяпкин растерянно топтался около взводного; взводный привешивал к его поясу две бомбы и, добродушно ругаясь, объяснял, как нужно с ними обращаться, чтоб они не взорвались преждевременно и не убили самого и товарищей. Тяпкин испуганно глядел на бомбы и на взводного. Тяпкин был своего особого мнения в нашей роте. Войну он понимал по-своему, глубоко верил в господ бога, в молитвы и в заговоры, которые носил за голенищем в записной книжке. Перед каждым выступлением, перед каждой атакой он говорил своим товарищам:— „А вы, братцы, никогда не цельтесь в противника, а пускайте пулю в божий свет“. На это ему отвечали:— „А ежели он в тебя?“ Тяпкин упрямо твердил свое:— „Убивать никого не надо: грешно. Я вот с начала войны так делаю и, слава богу, жив и невредим“.— „А бомб боишься“.— „Бомба особь статья: она может случайно взорваться, а пуля“... Солдаты вздыхали:— „Ты, Тяпкин, слово какое-нибудь знаешь?“

— Ну, вот и готово,— сказал взводный.— И теперь ты похож на настоящего вояку.— Смирно-о!

Неожиданно вошел ротный командир.

— Готово?

— Так точно, ваше-родие!

— Вольно, братцы, вольно.

Ротный был высокого роста, но хрупкого телосложения. Он был чисто выбрит, был похож на мальчика лет семнадцати, но он старался быть спокойным и серьезным. Он надул важно щеки, старался говорить нам басом, но из его баса ничего не получалось серьезного, а было как-то смешно и как-то нелепо. Он говорил:

— Братцы, мы должны быть храбрыми!

Над его правым глазом судорожно дергалась белобрысая бровь; мне казалось, солдаты не слушали его, смотрели на его бровь, что дергалась от страшного испуга, который еще больше передавался солдатам, входил в их тело; солдаты, глядя на бровь ротного командира, стучали зубами, а он все говорил:

— Братцы, наша задача!

Над его глазом все судорожнее билась, дергалась бровь.

— ...выбить противника...—ротный замолчал, взглянул на взводного, но ничего не сказал, так как у него необыкновенно дергалась бровь, и судорога брови передавалась на всю правую сторону лица, которая тоже стала подергиваться.

— Вперед!—крикнул взводный.—За мною.

— Да,—вздыхнул ротный командир и, пропуская взводного вперед, а также и нас мимо себя, крикнул:—вперед!

Я и Игнат были в самом хвосте роты; за мной и Игнатом шел ротный командир.

Игнат повернул голову:

— Будем, Жмуркин, ближе друг к другу.

Я не помню, как я вылез из окопа, я только помню, как, взмахивая наганом, кричал ротный командир, выгонял солдат из окопа, а также очень хорошо помню, как ротный командир двинул меня по шее, грозил уложить на месте, ежели я не вылезу из окопа. Я бледный, с холодными каплями пота на лбу, которые, как горошины града, размазываясь, катились по щекам в бороду, с дрожащими челюстями стал карабкаться по стене окопа вверх. Первым делом я положил на козырек окопа винтовку, свою дорогую землячку, с которой я не расставался несколько месяцев, потом, держа над головой лопатку, чтоб пули не пробили голову, и не отрывая лица от земли, быстро соскользнул животом с окопного козырька, сполз и припал к земле. Переведя дух, я стал очень внимательно прислушиваться к своему телу, чтобы узнать, в порядке ли оно и целы ли конечности, а когда я узнал, что все мое тело и все мои конечности в полном порядке, я стал так же внимательно прислушиваться к окружающей обстановке. Надо мной было не разбери-бери: стоял в воздухе потрясающий шквал, свист невиданного мною никогда такого ветра, улюлюканье, неумолкаемое хлюпанье воздуха, как будто над моей головой шумел, плескался взволнованный чудовищными бурями океан и катил свои многоверстные толщины воды...

Тяжелое сопение

— Вперед! Вперед!—Это был голос взводного. Голос взводного, как тяжелый металлический жгут, опускался на голову. От этого голоса я вздрагивал, поднимался на четвереньки, выбрасывал туловище вперед, бежал несколько сажен под ревущим океаном воздуха и падал на землю, изрытую и зияющую страшными ранами, как будто по ней прокатилась невидимая еще человечеством болезнь—оспа. Эти злоеющие раны дымились, горели, воняли, сочились кровью, дышали и рдели студенистым гноем человеческого мяса. Несмотря на все это, нам командовали:—Вперед, братцы, вперед!—и мы, увязая по пояс в гной разложившегося мяса своих товарищей, в мясо противника, которого гнали так же, как и нас, послушно, безропотно, с трясущимися челюстями, „двигались вперед“.

— Вперед! Вперед!—Я снова вскочил, ринулся из огромной окровавленной, слезящейся сукровицей воронки, вырытой снарядом, поскользнулся и с обрыва сполз обратно на дно, потом опять вскочил и побежал, а в это время, когда я выбежал и побежал, земля охнула подо мной и дернулась, как худое решето, и я с ужасом посмотрел на нее, чтоб не провалиться в зияющие трещины, в ее дыры, налитые сукровицей и гноем разложившегося мяса. Когда я, спотыкаясь и падая, бежал вперед, я ничего не видал вокруг себя, кроме изуродованного лица земли, пыли и едкого вонючего дыма, который острой ржавью точил глаза, ноздри, заползал внутрь, распирали грудную клетку.

— Вперед! Вперед!

Я лежал на земле, в нескольких саженях от проволочного заграждения противника. Тут было хорошо, а главное, не было над головой страшного хлюпанья воздуха, вонючего дыма. Я только слышал, как над моей головой то и дело, непрерывным потоком, журчали, свистели пули, с жалобным пением, хлюпаньем впивались в землю. Я припал плотнее к земле и, не поднимая руки и как-то особенно движком, стал ковырять землю, сыпать ее повыше своей головы, а когда я сделал бугорок земли и спрятался за него, я услышал звучную команду взводного командира.

— Ложись! Окапывайся!

Я стал прислушиваться: с левой стороны шла возня, сопение, стоны, и я повернул голову: недалеко от меня была небольшая кучка солдат во главе с взводным командиром. Среди них я стал отыскивать Игната, но его не было. Я позабыл про Игната, я только сейчас его вспомнил и ужаснулся.

— Игнат, Игнат!—простонал я и плотнее припал к земле. Игнат на мой стон не отозвался; я совершенно не знал, где и в каком месте я потерял Игната. Перед моими глазами промелькнули славные, дорогие мне лица, с которыми я проводил тяжелые дни, был не один раз на грани смерти, делился с ними последней крошкой

хлеба, а они со мной... Я с великой скорбью прошептал имена робкого и забитого жизнью Соломона, вечно веселого и беззаботного Евстигнея, жадного и страстного картежника Жмытика, задумчивого Игната, всегда напевающего песенки собственного изобретения.

— Игнат! Игнат!

На мой стон опять никто не отозвался. Я прислушался: вокруг меня было тихо, лежала мертвая пустыня, изрытая и налитая гарью и дымом. Я не вижу никого, кроме десятка товарищей, зарывшихся глубоко в землю, да разбросанных трупов, которые были гораздо обильнее, чем снопы ржи на самой плодородной пашне. Я никогда не видал такого урожайного поля, как это поле битвы, на котором столько валялось трупов, что не было силы взглянуть на них, — это только было впереди...

— Вперед! Вперед!

Я затаил дыхание. Мне мучительно не хотелось подниматься; мне так была мила изрытая, зловонная от человеческого мяса, земля, что я не мог от нее оторваться. Я еще плотнее прижался к ней. Я почувствовал, что я не Я, а неотделимая частица земли, которую никакими криками „вперед“ не оторвать, не сдвинуть с места. Я лежал крепко, неподвижно; рядом со мною лежала моя землячка-винтовка. Надо мной, над десятком товарищей, которые, как и я, остались живыми в этом аду, было необыкновенно тихо, и только нарушал тишину рокочущий ливень пуль, что неумолкаемо жужжал, свистел над нами, страшно желая впиться в наши тела. Но, несмотря на эту тишину, что висела над нами, мы не могли двинуться вперед, а также и назад, так как впереди, за немецкими окопами, как и позади нас, бушевали, били из земли кверху, осыпая пространство пылью и железом, непрерывные фонтаны заградительного огня. От этого огня воздух бушевал, хлюпал, словно целый океан кипятили на огромном невиданном костре.

— Вперед! Вперед!

Крик взводного командира придавил меня еще больше к земле. Я пролежал несколько минут, а сколько, — хорошо не помню. В это время я ничего не слышал, даже не слышал биения собственного сердца, да и билось ли оно в это время, я даже затрудняюсь сказать. Я почувствовал только, как меня больно ударили прикладом по затылку.

— Ты что лежишь, сволочь, а! Твои товарищи давно впереди! Вперед!

От приклада и окрика я побежал вперед. Пули свистели около моей головы, а одна звякнула о котелок. Я уперся в разорванное проволочное ограждение, на котором, как черные бусы, висели человеческие тела, клячья мяса...

— Господи!...

Я споткнулся на что-то мягкое и повалился на землю.

— Ложись! Сюда!

Я повернул голову и открыл глаза: из груди человеческих тел на меня смотрели кроткие глаза Тяпкина.

— Сюда! Сюда!—шептал он дрожащими губами и шевелил, как мне казалось, каждым волосом бороды.—Еще...

Я привалился к нему почти вплотную, спрятался за вал человеческих трупов.

— Ты что же так отстал, а?

Я не ответил.

— Это наши,—сказал он и показал глазами на трупы, за которые мы спрятались.

И на это я не ответил.

— За нами идут еще цепи?

— Идут,—лякнул я дрожащими челюстями, скривился в зевоту, потом, когда зевота прошла, я повторил:—идут.

Я поднял голову и стал осматривать трупы.

— Ты что?—встрепенулся испуганно Тяпкин.—Знакомого, товарища ищешь, а?

Я опять ничего не ответил.

— Трудно. Разве ты не видишь, что они спиной к нам положены? Я вот только недавно одного перевернул на другой бок, чтоб не смотрел на меня.

— Живой?

— А бог его знает!..—Я лег и хотел было поправить винтовку, получше положить, и только было положил и поднял голову, смотрю, на меня глядит человек большими серыми глазами и улыбается.—Ты что, говорю, братец? А он мне ничего, а только глядит и улыбается. Я его осторожно потрогал рукой, а он холодный и не шевелится, а только глядит на меня и улыбается.—Господи,—говорю я,—он мертвый!—и так мне, Жмуркин, стало не по себе, что даже все косточки затрепетали от озноба...

— А кто это был?

— А господь его знает,—ответил Тяпкин и закрыл глаза.—Я с большим трудом повернул его на другую сторону.

— На другую... Так и не узнал?

Тяпкин приподнял голову, ткнул пальцем в широкую спину солдата.

— Он.

Пока мы разговаривали, к нам перебежала другая цепь, спрятавшаяся за трупы; через несколько минут третья. Теперь мы лежали вплотную, группами по несколько человек. Мы не стреляли, а спрятавшись за груды трупов, плотно припали к земле и ждали. Минуты бежали длинными неуклюжими днями. Тишина была более отчетливой, и каждый выстрел четко раздавался в ней. Выстрелы над нами становились все реже и реже, затем совершенно прекратились. Только позади нас, да впереди все так же неистово били из земли и сверху сплошные желто-красные фонтаны заградительного огня.

На левом фланге раздался хриплый, как будто придушенный крик:

— Урррааа!

— Господи Иисусе, — вздохнул Тяпкин и перекрестился. — Пошли...

Он поднялся первым, медленно двинулся вперед. За ним вскочили остальные.

Поднялся и я и тоже пошел. Было так тихо и хорошо. Я только что заметил, что недалеко от меня, в нескольких шагах, раскинулось озеро и густые заросли ивняка. Я неожиданно остановился, так как впереди меня не было никого, а только в кустах ивняка радостно насвистывала какая-то маленькая птичка. Ее свист, как нежная песня молодости, потянул меня к себе. В ее песни не было слышно ни горя, ни страданий, ни той тяжелой доли загнанного сюда человека. В ее песне была какая-то особая жизнь, особая прелесть, и эта полная красоты прелесть захватила меня всего, потянула к себе, и я пошел. А когда я вошел в кусты ивняка, уперся глазами в серебряное озеро, птичка, перелетая с ветки на ветку, зашуршала в кустах и с тревожным пискom выпорхнула из кустов и быстро полетела над озером, пересекая его поперек. А когда птичка скрылась, я очнулся, прислушался. Я стоял одной ногой на насыпи немецкого окопа, а позади меня, на левом фланге, около проволочного заграждения, в сдавленной заградительным огнем тишине, было тяжелое сопение, не человеческое криканье, как будто корчевали из земли тысячелетние дубы...

— Господи,—простонал я и бросил бомбу в немецкий окоп и, отскочив в сторону, прислушался.

Раздался треск металлического ореха, а когда треск затих, я осторожно спустился в окоп.

Русская с примесью гопака

В окопе не было никого: это было только начало окопа, по которому немцы пробирались с тыла. Я, не размышляя долго, осторожно, стуча зубами, пошел вперед, вслушиваясь в тишину. Сколько я прошел, хорошо не помню, но только прошел я очень много и все еще не дошел до блиндажей: тянулся проход. Я остановился, прислушался: до моего слуха донеслись странные звуки, которые заставили меня прижаться к стене, приготовиться. Я взял другую бомбу и медленно пополз вперед по стене окопа, но не прополз несколько шагов, как звуки стали отчетливее, громче, а через минуту я очутился перед прекрасным помещением, где не было ни одной живой души, кроме пустых банок из-под консервов, что лежали в земляном шкафу, похожем на большой печурок русской печи. Я двинулся дальше, в другое помещение, и у входа его остановился, так как это помещение было ужасно разворочено, а часть потолка обрушилась вниз и придавила трех немцев; они с искаженными лицами лежали неподвижно и были похожи на придавленных ящериц. У одного немца лицо улыбалось мертвой улыбкой и как будто что-то собиралось сказать, но ничего

мне не сказало. Я отвернулся от этого лица и стал осматриваться. Два остальных немца лежали лицами к земле и не шевелились. От их трупов тянулись по глинистому полу темно-красные ручейки к окопному коридору. На один ручеек кто-то наступил, перервал его перед выходом, и он на этом месте вздулся, распространился вширь и был похож на большое блюдо, наполненное вишневым киселем. Я осторожно перешагнул через это блюдо, ручейки, направился дальше по окопу, как раз в ту самую сторону, откуда все слышней и слышнее раздавались веселые, плясовые звуки, как раз в ту сторону, откуда, разрывая звуки, доносились до моего слуха глухие взрывы ручных гранат, трещали ружья, как грецкие орехи, а также тяжелое криканье и стоны. Я прошел еще несколько землянок, и в этих землянках было все то же, что и в первой: валялись убитые немцы, бежали к проходу ручейки крови, валялись каски, а с ними рядом лежали и фуражки русских солдат. В одной землянке, на самой середине, лежали в обнимку два солдата—русский и немец. У русского был проломлен череп, из него вывалилась на желтый пол кровавистая кашка, а пустой череп блестел, как металлическая каска; правый глаз был у него широко выкачен, а из мочки глаза, мимо курносого, вздернутого и сильно припухшего носа, протянулась нежная струйка крови и, упершись в безусую вздернутую кверху губу, застыла; этот глаз смотрел в сторону от лица немца, к проходу, как будто он встречал каждого входившего в эту землянку и, провожая его мимо себя, оставливал и говорил:

— Эй, братец, посмотри, как мы любим друг друга!

Немец лежал к русскому солдату лицом и, сжав обеими руками его горло, прямо смотрел голубыми стеклянными глазами в лицо и как будто покорно соглашался:

— Правильно русский говорит, правильно!—Чтоб не видеть этой картины братания мертвецов, я бросился дальше, но тут же перед входом остановился, застыл на месте: передо мной лежала груда трупов и преградила мне путь. За грудой трупов слышался русский говор, веселые звуки, подмывающие, зовущие в круговую, в пляс; слышался тихий шопотливый топот ног. Я, чтобы пробраться к своим, должен был перелезть через трупы; я стал перелезать, но не успел я влезть на трупы, как они стали расползаться в стороны, и я поскользнулся, застрял между убитыми и шумно покатился вниз с одним мертвецом, держась за него. Труп был теплый и, как мне показалось, когда я катился с ним, он дышал мне в лицо, стонал, но я быстро поднялся, оправил шинель и бросился вперед. Через несколько секунд я стоял позади своих солдат, удивленно, широко открытыми глазами, забывая все на свете, смотрел в глубину землянки, в которой, прислонившись к передней стене, стоял Перепечко и играл на скрипке. В бледно-сером свете, падающем в землянку из бойниц, в которых до этого лежали немецкие ружья, Перепечко был непохож на прежнего Перепечко, которого я встречал до этого дня; сейчас в нем что-то было

необыкновенно-странное, не похожее на прежнего замкнутого и хмурого хохла Перепечко; сейчас на его круглом лице не было ни одной морщины, а оно было молодо, беззаботно, светилось кротким, успокаивающим светом, и этот свет его лица напоминал огонек лампы, освещающей деревенскую избу в пасхальную ночь. Глаза Перепечко были закрыты веками, и густые ресницы пепельного цвета спокойно лежали под глазами и закрывали морщинистые мешочки нижних век; голова была немного закинута назад и наклонена на левое плечо, отчего тупой подбородок смешно выдавался вперед и казался неуклюжим, грубо вырубленным из серого железняка-камня. Впрочем, вся его фигура, забрызганная каплями крови, за исключением пальцев левой руки, что трепетали по струнам скрипки, и правой руки, которая выделяла странные петли и движения смычком, была неподвижна и тоже казалась вырубленной из этого же грубого камня. В фигуре Перепечко что-то было потрясающе жуткое, а из-под его пальцев, из-под смычка, которым он работал, вырывались дикие звуки бурного сатанинского веселья, хохота и трепета. Эти дикие необузданные звуки захватили меня, и я, как и солдаты, стоявшие впереди, был захвачен ими, подергивался всем телом, едва сдерживая ноги, чтоб не пуститься в пляс. Я с стиснутыми зубами привалился к стене, но не прошло и одной секунды, как я оторвался от стены, подался вперед, впился всем своим существом в взводного, который, поджав руки в бока, пошел отделять казачка. На взводном не было фуражки, и около правого уха зиял большой шрам, рдел запекшейся кровью; все правое плечо гимнастерки было тоже черным от крови. Взводный оторвал от бока правую руку, провел ею зачем-то по голове — со лба до затылка, помахал в воздухе перед своим носом и, не глядя на Перепечко, крикнул:

— Почаще! — и пошел выделять казачка. За ним, пожимая плечами и держа руки за спиной, вышел Тяпкин и пошел отплясывать какую-то смесь русской пляски с казачком. Взводный с каменным лицом, с плотно закрытыми глазами, плавно кружился, откидывая носки рыжих сапог; на его лице, во всей его фигуре, как и в фигуре Перепечко, что-то было не живое, мертвое, и только один правый ус, над которым был шрам от немецкого штыка, подергивался, и, подражая хозяину, выделял колена над правым углом губ.

— Почаще.

Тяпкин кружился около взводного, в такт звукам скрипки отбивал колена, отступая от взводного, давая ему простор. Голова Тяпкина была откинута назад, отчего бороденка дергалась острым клинушкой, а стальные, широко открытые, безумные глаза неподвижно стояли в воспаленных веках, казались мертвыми и как будто ничего не видели перед собой.

— Дьяволы! Что вы делаете?! — раздался плаксивый голос позади, и кто-то толкнул меня в сторону.

Я дрожал в лихорадке, притопывая ногами. Два солдата, стоявшие впереди меня, сорвались, вышли на середину.

— Черти! Сволочи! Что вы делаете?! Перестреляю!... Впереди меня был ротный командир, хрипло кричал, но на него никто не обратил никакого внимания, а Перепечко все так же стоял около стены, все так же трепетал смычком по струнам, рассыпал дьявольские звуки. Взводный, Тяпкин и еще два солдата все так же ходили, выделывали всевозможные колена...

— Черти!— простонал ротный командир и бессильно привалился к стене.—Противник готовит контр-атаку.

Нужно сказать, что пошел я в атаку не торопясь, но не первым и не последним. Не успел пробежать десяти шагов, как меня ударило по рукам, отбросило назад и заставило остановиться. Я посмотрел на руки: вместо винтовки у меня был небольшой кусок приклада, а из кисти левой руки фонтаном била кровь. При виде крови у меня закружилась голова, и я повалился на землю. Сколько я пролежал на земле, хорошо не помню, но только хорошо помню, что, когда открыл глаза, я лежал в землянке немецкого окопа, взятого нами сегодня, и как раз в той самой, в которой происходила пляска, — это я узнал по скрипке, что висела на стене; около меня лежали в очереди тяжело раненные и ожидали, когда их возьмут санитары, недалеко от меня в углу лежали винтовки. Я закрыл глаза и стал прислушиваться: в соседней землянке санитары перевязывали раненых и тихо разговаривали. Они спрашивали, заняли ли наши вторую линию окопов? Сквозь разговор санитаров и солдат я услышал далекий, знакомый гул „ура“! А через несколько минут перевязали и мою рану, я стал пробираться из немецкого окопа к своему окопу, из которого я вышел нынче утром в наступление. Вся местность, по которой приходилось ползти, обстреливалась тяжелыми немецкими снарядами, и на ней не было ни одного живого места, а была вся изрыта снарядами, завалена трупами, осколками чугуна, железа и стали, и тяжело ранеными. Трупы лежали несколько дней, благодаря теплой погоде; почернели, вздулись, заражали воздух неприятным запахом; местность потрясающе шевелилась. Ползти приходилось очень осторожно, то и дело приходилось прятаться в глубокие воронки от снарядов. Я с большим трудом дополз до небольшого окопа, что находился недалеко от немецкого проволочного заграждения, из которого мы пошли в атаку, и этим узким проходом направился к главному окопу. Пробираться по этому окопу было необыкновенно трудно, так как навстречу беспрерывно двигались войска, и мне приходилось останавливаться, прижиматься к земле и пропускать целые роты, батальоны, которые осторожно перешагивали через меня и вообще через всех раненых, завидя нам, что мы так счастливо отделались и отправляемся в тыл на отдых. Но вот солдаты прошли, и я добрался благополучно до конца окопа, который подходил к мосту, остановился и спрятался у подножия огромного дерева, недалеко от места, под которым спряталось

больше десятка раненых товарищей, так как немцы жестоко обстреливали снарядами этот участок: они знали, что этот участок является главным проходом. Я лежал под деревом, стараясь врости в землю. Я совершенно упустил из виду, что лежать под деревом гораздо опасней, чем просто на земле. В это время, когда я лежал под деревом, ко мне подползли еще несколько раненых и тоже привалились к дереву, как к спасительному кругу. Здесь у дерева я ожидал удобного случая, чтобы двинуться дальше.

— Давайте перебираться к мосту,—предложил один из раненых.

— И верно,—сказал другой. И мы двинулись вперед, но не успели проползти сажени, как один за другим упали снаряды, и недалеко от нас и под нами задрожала земля и выбросила впереди нас несколько фонтанов пыли и огня. Мы пригнулись к земле и замерли. За этими фонтанами стали беспрерывно вспыхивать фонтаны, и местность, на которой мы лежали, закачалась из стороны в сторону, а дерево затрещало и, осыпая нас сучьями и щепками, готово было обрушиться на нас своей огромной массой. Я, стиснув зубы, двинулся вперед; за мной поползли и товарищи. Я благополучно добрался до прохода, который упирался в главный наш окоп и считался проходным, но этот проходной окоп, вырытый в позапрошлую ночь перед наступлением, был так разбит немецкими снарядами, что местами было почти невозможно пробираться, но все же я благополучно пробирался все ближе к главному окопу. В проходе то и дело попадались тяжело раненые, а то и трупы, которые очень затрудняли путь, создавали и без того тяжелое впечатление, в особенности тяжело раненые, через которых приходилось переползать и которые, когда через них переползали, оглашали окопы страшным нечеловеческим стоном от боли, причиняемой легко ранеными. Но делать было нечего, и мы, несмотря на стоны тяжело раненых, пробирались дальше, как можно дальше от этого ада, а главное каждому из нас страшно хотелось жить и как можно скорее выбраться отсюда подальше в тыл. Я полз неустанно и скулил от страшной боли, как жалкая и разнесчастная собака, избитая больно своим хозяином. Я все время своего пути старался держать кисть руки как можно дальше от земли, чтобы не задеть и не причинить еще больше и без того еле выносимой боли; я все время высоко держал кисть руки, которая, пропитав кровью марлю, была похожа на пылающий факел; я берег ее, как драгоценный предмет. Так я добрался до середины окопа и дальше не мог двинуться, так как в этом месте окоп был допдна завален землей, а из земли торчали окровавленные ноги, куски растерзанного мяса и концы бревен; перебраться через это место не было никакой возможности, и я был вынужден выбраться из окопа на голое поле и обойти это место, а потом снова погрузиться в проход. Не раздумывая минуты, я стал вылезать из окопа. Вылез я с большим трудом, прижался к траве, чтобы передохнуть, но гул летящих по воздуху снарядов, их треск заставил меня двинуться, как можно скорее, обойти засыпанное

место прохода, и я пополз по желтой, спаленной и пропитанной вонью траве. Но не успел проползти и шага, как в ужасе метнулся назад и поднял ладонь правой руки; она была вся испачкана в липкое и во что-то потрясающе белое.

— Мозг,— простонал я и стал вытирать ладонь.— И верно: перед моими глазами в желтой траве лежал мозг, на который я наступил ладонью. Мозг, настоящий мозг, который жил и мыслил под черепом человека, а теперь валяется в траве и не мыслит.— А вдруг — мыслит? — прошептал я и вздрогнул.— Вот его одна половинка не раздавлена и находится в полной исправности и под пленкой. И я посмотрел внимательно на раздавленный мозг, но тут же отвел взгляд в другую сторону и в еще большем ужасе остановился, так как из желтой травы на меня смотрели два человеческих глаза. Я застыл на одном месте: на меня упорно смотрели два глаза и улыбались... на меня шел из травы голубой свет.

— Господи! — простонал я и пополз обратно, так как на меня смотрели два человеческих глаза, и я остановился и стал смотреть в желтую траву, откуда шел на меня голубой свет.

— Война! Будь ты проклята! Да здравствует другая война! — простонал я и двинулся было обратно, но внезапно упавший снаряд оторвал меня от земли и вместе с фонтаном пыли, огня и осколков железа подбросил кверху, откуда я, теряя сознание, полетел в сладкое бездонное небытие.

«Божественная Комедия»

Я лежал с закрытыми глазами, и мне было необыкновенно хорошо, а главное вокруг меня была какая-то особая тишина, и эта особая тишина благоприятно успокаивала, заставляла спокойно лежать с закрытыми глазами как можно больше, а если можно, то и целую вечность. И я лежал и слушал. Надо мной шумели деревья, издали доносился непрерывный гул грозы, а на фоне шума и деревьев шел тихий человеческий разговор:

— Сколько работы предстоит.

— Да, придется поработать.

— Ты видишь: вся площадь завалена тяжело ранеными. Я второй раз вижу такое количество раненых: под Варшавой и вот здесь... Там под Варшавой было, пожалуй, больше.

— А ты, Александр, давно на этом фронте работаешь?

— На германском недавно, месяца два с половиной... а вообще-то я работаю на фронте с самого начала войны, но только больше на австрийском.

— А я все время на этом.

— Ты знаешь, что старший доктор послал вестового, чтоб выслали на помощь четырех врачей?

— Да, мне об этом говорили. По-моему это необходимо. Если не пошлют на помощь — беда: весь лес будет завален ранеными. Ты

видишь, как по шоссе дороге текут раненые? Они текут, как капли из продырявленного океана, и кажется, что этим каплям не будет конца.

— Да, по всем направлениям идут: по лесу, по тропинкам, но больше всего по шоссе. А ты видишь, сколько идет легко раненых?

— Да-а, если бы делать перевязку и легко раненым, то тут бы скопилась не одна армия. А ведь там, в земле, не видно людей — пустыня..

— Вы что это стоите? — послышался недалеко от меня третий голос. — Надо подтаскивать.

Я открыл глаза и взглянул: надо мной шумели разноцветной листвой березы, осины, звенели необыкновенно зелеными иглами сосны, ели; сквозь вершины деревьев, в просветы било серо-желтое небо, смотрело на меня единственным глазом, который был не больше сморщенного печеного яблока. От такого неба и солнца мне стало жутко, больно, и я вздрогнул, так как остро почувствовал, что нахожусь не в приятной тишине, а все еще в окопах, вязну в разложившемся человеческом мясе.

— Куда же подтаскивать? У операционных столов больше тысячи...

— Уже?

— Разве?

— А ты думал... Теперь, брат, благодаря войне, хирургия высоко шагнула... Мне кажется, что в этом лесу мы не людей режем, а кромсаем бревна на дрова и сваливаем.

— Так это мы сейчас...

— Поживее, ребята!

Я посмотрел в сторону разговаривавших. Это говорили санитары. Третий, что только заговорил и был недалеко от меня, пошел от них к операционным столам, а оставшиеся недалеко от меня стали класть раненых на носилки и таскать. Через полчаса очередь дошла и до меня. Меня положили на носилки и понесли. Когда меня несли, мне было приятно; и от слабости немного кружилась голова. Несли недолго, и меня свалили в общий ворох тяжело стонущих людей. Я поднял голову и попросил одного санитаря, чтобы он помог мне сесть. Санитар остановился, посмотрел на меня, но ничего не сказал и направился обратно. Я попробовал было подняться, но страшная боль в левом боку заставила меня стиснуть зубы и повалиться на правый бок.

„Что же это такое? — подумал я. — Боль в боку?“

Недалеко перед моими глазами, в нескольких шагах от меня, за большими сбитыми из досок столами, работали два врача. Они были в белых халатах с высоко засученными рукавами. Они работали быстро, так что восемь человек еле успевали подавать на столы раненых и убирать из-под ножей. Врачи работали спокойно, изредка перекидываясь словами. Из-под их рук санитары еле успевали убирать

теплых мертвецов, которые не выдерживали операции, а тут же умирали под ножами и пилами. Санитары брали со столов на носилки теплых мертвецов, отрезанные конечности — руки, ноги. Трупы, руки, ноги, когда их клали на носилки, забирали и сваливали за несколько сажен от работы в глубокие ямы, глухо звенели, как будто только что нарезанные поленья осиновых дров. Я с трудом приподнял немного голову и с необыкновенно жадным любопытством наблюдал за страшной работой над людьми. Изуродованные, окровавленные люди, какие-то обрубки без рук и без ног, похожие на боченки, лежали около меня, потеряв человеческий облик и человеческую речь, по-звериному выли, ляскали зубами, требовали смерти, а когда их отрывали от земли и несли на столы под ножи и пилы, они затихали и, побыв несколько секунд под руками врачей, на операционных столах, умиротворенно затихали, умиротворенно уходили в вечность. Их уход был страшен и радостен. Они, мертвые, были похожи на большие стеклянные бутылки, на белые боченки из-под соленого масла. А живые еще хуже. Живые, как надутые пузыри, лежали на земле, жили животом, то поднимая его, то опуская. В такой жизни было больше жути и ужаса! И я, глядя на эти пузыри, содрогался от боли, жалости, и мне страшно хотелось, чтоб и эти живые трупы не оставались на земле, а уходили бы вместе со своими конечностями, но врачи равнодушно, со строгой деловитостью, делали свое жуткое дело, не желая даже знать, выживут ли эти обрубки или тут же отойдут в вечность. Возможно, так было нужно? Возможно, это было нужно? Возможно, врачи хорошо знали, что делали? Возможно, они делали это для того, чтобы эти живые безрукие, безногие боченки служили памятником человечеству, говорили, кричали своим уродством о цивилизации двадцатого века, о великой культуре? Возможно, они это делали для того, чтобы человечество не так скоро позабыло ужасы войны? Возможно, что врачи хорошо знали, что, не видя этих живых боченков, человечество опять заживет беззаботно и, ожирев в своем свином логове, самодовольно будет похрюкивать и хвастаться своей культурой?... Так размышляя о человечестве, я настолько забылся, настолько увлекся, что даже позабыл, что я нахожусь в огромной куче людей, перемятых мялкой войны, гуляю с Данте не по злоеющим пещерам ада и гляжу на изуродованные человеческие тела и громко рассуждаю:

— „Несносный запах тленья от заживо гниющих исходил туда, где суд всевышнего казнил“.

— Это что такое, а?—Я открыл глаза: передо мной стоял с сложенными руками на груди врач и смотрел на меня, улыбаясь.— Как фамилия?

Лицо врача было сурово, было оно плохо выбрито, но, несмотря на это, оно приятно светилось из светло-рыжей растительности, обливал лаской, а небольшие голубые глаза говорили о том, что и он так же страдает, как вот и эти люди, что валяются рядом со мной, и

над которыми ему приходится, не покладая рук, работать круглыми сутками.

— Жмуркин,— ответил я,— крестьянин...

— Крестьянин? — улыбнулся он и обратился к другому врачу, который стоял к нему спиной и продолжал свое дело.

— Знает „Божественную Комедию“. Ты слышишь, Петр Петрович, этот мужичек знает Данте?

Петр Петрович подошел ко мне. Он был необыкновенно толст и тяжело дышал, а на его круглом, хорошо выбритом лице дрожали капли пота. Он, вынимая из кармана черный с гравюрой Льва Толстого портсигар, спросил:

— Откуда?

Я ответил.

— А-а-а, из центральной России. Да-а, там такие мужички, как ты, не редки, братец мой, не редки. Так ты знаешь „Божественную Комедию“? Так-так,— протянул он и повернулся ко мне спиной и покатился обратно к столу, а когда подошел к столу, крикнул:

— Михаил Васильевич, давайте его сюда... Мы над ним будем работать, а он нам почитает из Данте.

Михаил Васильевич ласково улыбнулся, сказал мне несколько теплых слов и обратился к санитарам:

— Разденьте и подайте на стол.

Через несколько минут я лежал на столе, надо мною стоял Петр Петрович и черными вишнями глаз внимательно осматривал левую кисть руки и левый бок.

— Пустяки,— сказал он.— Ну, а теперь, голубчик, почитай нам из „Божественной Комедии“, а мы послушаем. Ну, начинай. Читать можешь с закрытыми глазами.

Я стал читать 29 песню:

О, что за вид являли безотрадный
Лежавшие недвижно кучей смрадной!
За шагом шаг мы двигались во мгле
Среди больных, стонавших от недуга
И ползавших бессильно по земле.

А в это время Петр Петрович говорил Михаилу Васильевичу:

— Некрасов верно предсказал, что придет времечко, когда не Милорда глупого, а Гоголя, Белинского мужик с базара понесет.

— Вы что же, думаете, оно пришло?

— Пришло, Михаил Васильевич, пришло. Ты разве не видишь, что мужичек не Гоголя тащит, а великого Данте.

— Но ведь это редкостный экземпляр.

— Да. Но это показательно.

— Еще далеко...

— Нет, недалеко. Он уже, мужичек, идет с своей культурой... Он скоро предъявит нам потрясающий счет на понимание не только Гоголя, Белинского, но Данте.

Страшная боль подступила к моему сердцу, в глазах потемнело, и мой рассудок стал мутиться, а слова „Божественной Комедии“ стали застывать на моем языке:

И что за вид являет безотрадный...

— Читай, читай, голубчик... Читай!

Но я сорвался со стола, поплыл, поплыл в мутно-розовое пространство, и мне так стало хорошо, а главное я почувствовал себя гораздо легче пуха одуванчика.

1924 — 1925 — 1926 г.

Хитрая сказка

ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ

Это было в лесах Поднепровья,
Где сбивается путник с дороги,
Где так редки людские становья,
И так часты медвежьи берлоги.

Среди леса—как полночь—густого,
В ветхой хижине—тихо и глухо—
Словно в присказке трижды не новой,
Жили-были старик со старухой.

Днем и ночью в открытые двери,
Временами нуждаясь в услуге,
Заходили к ним всякие звери,
Посидеть, поболтать на досуге.

Так, заботясь, любя и болтая,
Доживали они свои сроки...
— Видишь, милая, глупость какая
Заплелась в мой умные строки.

А, доверившись тону начала,
Где в порядке все знаки и точки,—
— Посмотри, как серьезно звучала
Эта дрянь,—до двенадцатой строчки:
— И мытарства ушедших от мира,
— И любовь к недомашним животным,
— И клеймящая глупых—сатира
— И стремленье к широким полотнам.

Ну, так вот... с позапрошлого мая
Мы особенно близкими стали;
И, друг дружку впотьмах обнимая,
Мы, чорт знает, о чем замечтали:
— О светлицах в кайме безделушек,
— О ребятах с моими глазами,
— О покое ковров и подушек
— И о счастье, что выкуем сами...

Эту сказку о жизни гулящей
Я нарочно заплел в эти строки,
Чтоб сказать по-возможности мягче,
Что и нас подвели наши сроки;

Что уже не могу я так круто
Обнимать все одну и все ту же,
С каждым днем для меня почему-то
Ты становишься хуже и хуже.

И, все реже тебя обнимая,
Я дарю тебе ласку—как милость...
— Видишь, милая, глупость какая
Из тебя и меня получилась.

А, припомнив горячность начала,
Где любовь и мечта и природа,
—Посмотри, как серьезно звучала
Наша близость,—до этого года.

Март 1927.

Рассказ с примечанием

НИК. ТИХОНОВ

В августе 18-го года турки осадили Баку. В пяти головах меньшевистской директории плавал разноцветный туман. По всем направлениям в городе и вне его метались вооруженные люди, и нельзя было разобрать, идут они на фронт или с фронта.

Один крошечный отряд был выслан в район Кубы, чтобы уговорить бежавших мусульман-земледельцев вернуться домой и заняться доставкой хлеба, так как в Баку питались уже мелкими орехами. Отряд этот таял с каждым шагом, люди предпочитали итти по своим собственным делам, пренебрегая делами директории. Прапорщик Крутиков, бывший банковский конторщик, старался командовать отрядом.

Раз вечером в предгорьях отряд окружили турки. После десятка выстрелов в воздух Крутиков попросил у единственной женщины отряда—Даши чистый носовой платок и повязал его на конец тупой шашки.

Солдаты, переругиваясь и плюясь, зашлепали за турецкими аскерами, тоже усталыми и спотыкавшимися.

Турецкий субалтерн, рыжий, в синих очках, похожий на сыщика, отвел Крутикова с его помощником подпрапорщиком и Дашей в низенький дом, где в темной комнате уныло горела толстая железно-дорожная свеча, приклеенная к столу. Вокруг свечи сидели другие пленные: агроном, почтовый чиновник и офицерская вдова, уничтожавшая горбушку кукурузного хлеба.

— Вот мы и воюем, Андрюша,—сказала весело Даша и вынула из кармана зеркальце. Полосатый платок она сбросила с плеч, ботинки ее были в пыли. Скоро ей стало холодно, платок вернулся на свое место, ботинки она обтерла тряпкой.

Крутиков бегал по комнате, заложив руки за спину. На груди его болтался бинокль, оружие от него отобрали.

— Я хочу иметь частную жизнь,—ворчал он.—Зачем меня вытаскивали из банка? Я, Крутиков, должен воевать! Что я—Наполеон или Керенский? Какой-то дурацкий плен—турки на Кавказе, как называется эта оперетка? Я спрашиваю, что это такое? Я ничего не пони-

маю. Говорят, немцы взяли Петроград, а англичане Берлин. Ну и оставьте меня в покое. Берите, что хотите, но оставьте меня в покое. Не успею я выкинуть белый флаг, меня бы убили. Как тебе это нравится? Мне это не нравится...

— Андрюша, не волнуйся,—сказала Даша,—дай я тебя поцелую. Это даже очень интересно, такие приключения.

— Глупости, женские конфеты, глупости,—закричал Крутиков, но тут вошел турецкий субалтерн.

— Дай бинокль,—грубо сказал он по-русски.—Он есть имущество войны.

— Возьми шаровары, возьми сапоги, возьми фуражку—это тоже военное имущество,—затопал ногами и запрыгая перед турком Крутиков.

— Как вам не стыдно!—закричала Даша.—Из бинокля стрелять нельзя.

Турок смутился. Он разглядывал Дашу, как будто хотел ей разорвать, потом сказал:

— Паша зовет его. Идем!

Глаза турка пенились за синими стеклами.

Паша восседал перед большим костром на складном стуле. Перед ним сидел известный барантовод и арабист Нажмудин Гацинский. Паша смотрел на левую ладонь Нажмудина.

— Эффенди, наука не ошибается,—говорил он:—треугольник, в левом углу, пересеченный линией, значит, что вы будете драться и с пролитием крови.

Нажмудин недоверчиво кивал головой.

— Хиромантия—наука будущего,—продолжал паша, но тут он увидел раздраженное лицо Крутикова и синие очки. Он быстро и мягко перебрал через костер десяток слов.

— Паша—перевели синие очки—приказывает вам выдать жалованье.

— Кому?—закричал Крутиков.—Приходите ко мне в банк двадцатого. Кому я здесь буду выдавать и чем и вообще, почему меня беспокоят, когда я нейтрален? Понимаете, нейтрален? Мне совершенно все равно.

Турок повторил громче:

— Паше известно, что вы не успели выдать жалованье своему отряду перед боем...

— Перед каким боем? Что вы хотите сказать? Что вы мне врете? Пожалуйста, не раздувайте. Никакого боя не было.

— Паша приказывает вам заплатить жалованье вашему отряду сейчас, здесь,—настойчиво сказал турок.

Хорошо,—отвечал Крутиков, мотнувшись плечами,—у костра, вот здесь. Паша никогда не видал, как выдают жалованье. Хорошо. Но деньги у моего помощника.

Привели подпрапорщика. В костер подкинули сучьев, и солдаты стали в очередь. Они молча мяли в обветренных руках ненужные ни-

кому бумажки, между которыми попадались керенки. Подпрапорщик ставил птички в ведомости.

Паша курил сигару и смотрел, прищурясь, как из мрака возникли люди. Когда Крутиков вернулся к Даше, он нашел ее в оживлённой беседе с турком в синих очках.

— Еще этого не хватало,—заворчал он.—Уйти нельзя, он уже тут, и зачем ты с ним разговариваешь?

— Тише,—отвечала Даша,—он все понимает. Его зовут Али-Гассан.

Турок засмеялся и ушел. Офицерская вдова тянула из бутылки жидкий чай. Агроном читал истрепанного Чехова. Подпрапорщик и чиновник делились махоркой. Али-Гассан появился снова.

— Паша велел отделить женщин от мужского пола,—сказал он.

— Пожалуйста,—ответил агроном, перелистывая страницу.

— Было бы лучше, если бы он добавил еще сюда,—крикнул из угла чиновник.

— Эх-ма,—протянул, затягиваясь собачьей ножкой, подпрапорщик,—были когда-то и мы рысаками.

Но Крутиков стоял перед турком, потрясая кулаками.

— Вот этот женский пол,—он указал на старуху, допившую чай,—отделяй, а этот—он взял Дашу за руку—попробуй только отделить. Я буду защищаться биноклем, я напечатаю в газетах протест. Пойдем к паше. Я скажу ему самому. Да, да. Что он курит сигары, а дела не понимает.

— И я пойду,—ответила Даша, хватая старуху за руку.—Идите и вы, протестуйте. Это нельзя позволить. Это издевательство. Идемте.

Костер пылал на том же месте. Паша сравнивал теперь левые ладони—свою и Нажмудинову—и громко доказывал:

— Я вам повторяю, эффенди, когда несколько тонких линий, хотя и длинных, склоняются от указательного к среднему пальцу, то это означает удар по голове.

Нажмудин не хотел ссориться с пашей, он хотел быть министром, оставаясь помещиком, он протестовал изысканными арабскими фразами.

— Я пять лет жил в Европе,—говорил паша,—поверьте мне. Это почти философия.

Тут румяное и юное лицо Даши возникло, как павлин из пламени.

— Паша спрашивает, кто эта женщина?— мрачно изрек Али-Гассан.

— Это моя жена,—ответил поспешно Крутиков.

— А кто вторая женщина,—тоже ваша жена?—спросил, ехидничая, турок.

— Это моя бабушка, которая хочет выйти замуж за турецкого офицера и прямо из богадельни приехала сюда,—сказал Крутиков.

Турок ущипнул усы и щелкнул пальцами.

— Что же хочет эта молодая женщина?—спросил паша, с удовольствием рассматривая Дашу.

— Она хочет, чтобы ее отделили от мужа, потому что он брюзга и злее чорта,—поспешно пояснил Али-Гассан.

— Не совсем так.—Нажмудин ударил своей освобожденной ладонью о колено.—Не совсем так. Она просит, чтобы ее оставили вдвоем с мужем.

Паша стряхнул пепел с сигары на бурку Нажмудина.

— Скажите им, с русскими у меня войны нет. Я взял их под охрану, чтобы защитить от разных неприятностей. А вы, Али-Гассан, отыщите завтра экипаж и посадите двух женщин в экипаж. Я их вместе с остальными пленными отправлю в Нуху. Слышите? Плен, только почетный плен. Передайте им мои слова, но точнее, чем прошлый раз.

Даша поклонилась паше. Крутиков отдал честь, придерживая другой рукой бинокль. Перед входом в дом Али-Гассан схватил за руку Дашу:

— Иди со мной, хорошо будет.

— Пустите,—шопотом ответила она,—мне и здесь хорошо.

И она так вонзила ногти в руку турка, что Гассан отскочил, вскрикнув.

* * *

Экипаж несли легкие лошади, но сам экипаж был стар и тяжел, он трещал на каждом повороте... Али-Гассан сходил с ума от великой страсти. Он то и дело гарцевал за экипажем, так как дорога не позволяла ехать рядом. Он кривился, улыбался, посылал воздушные поцелуи, он без умолку говорил, он вынимал Дашу из экипажа на остановках, он был хозяином положения.

Крутиков, чтобы унижить его, смотрел на него в перевернутый бинокль. Турок становился маленьким, как комар. Потом Крутиков сдружился с главным проводником отряда Бодави, служившим еще у него в его бродячей роте. Бодави был свой человек, ему можно было открывать душу. Кроме маршрута, Бодави назначал ночевку.

— Это едем мимо,—говорил он, кивая на аул.—Здесь нам головы снимать будут. Не интересно. Это такой аул, очень немирный. Русским здесь пощады нет.

На ночевках Али-Гассан садился около Даши и подолгу разговаривал с ней. Офицерская вдова молча жевала кукурузные лепешки. Агронома и почтового чиновника паша отпустил в Кубу. Подпрапорщик бежал. Крутиков купил кинжал у одного горского мальчика и носил его в сапоге. Али-Гассан дарил Даше постоянно то бусы, то старинные монеты, то цветы, то любопытные камешки.

— Брось это, брось сейчас же,—просил Крутиков.

— Зачем доводить человека до отчаяния?—отвечала Даша.—Не надо сердить его, он добрый.

— Ах, он уже добрый,—кричал Крутиков, размахивая биноклем.—Посмотрю, как это ты доедешь до Нухи, если будешь строить ему глазки.

— Доеду и тебя довезу, мой милый.

Крутиков с горя пил невероятную водку, которую где-то доставали русские пленные, и пьяный приходил к Даше.

— Уходи,—говорила Даша,—уйди, не лезь целоваться. Ты знаешь, от пьяного может родиться и сын-пьяница.

— Это верно,—соглашался Крутиков и шел плакать на плечо Бодави. Аулы сменялись аулами, обувь изнашивалась. Все простудились, чихали и кашляли. Крутиков сказал Бодави, запинаясь:

— Изведи мне этого турка.

— На совсем?—сказал Бодави, сморщив свое птичье лицо.—Почему ты имеешь такое зло?

— Он жену у меня украсть хочет.

— А-а, Дашу,—лезгин оскалил свои великанские зубы.

— Ты изведи его, но не убивай. А так, чтобы он остался где-нибудь, чтобы без него в Нуху ехать.

— Буду делать в раз,—пробормотал Бодави.

Он долгий день искал чего-то среди камней и вечером на ночлеге показал Крутикову коричневый корень, похожий на морковь.

— Истолки кусочек, клади ему завтра утром в кофе, и будет Даша наша.

Он подмигнул и ушел. Крутиков задумался. Что это значит—Даша наша.

Даша смеялась с Али-Гассаном. Турок стоял, опираясь на столб сакли, и зубы и глаза его брызгали пеной. Он снял синие очки и протирал стекла.

— Приходите утром пить с нами кофе,—сказала Даша.

— Ваш муж—черный меланхолик,—ответил турок.

Она обернулась и, посмотрев, засмеялась в лицо Крутикову.

На другое утро Крутиков с нетерпением смотрел в кофе. Дымящиеся чашки стояли перед ним. Даша причесывалась перед своим крошечным зеркальцем. Туземки недоверчиво щупали ее платье и пересмеивались.

Крутиков услышал приближающиеся голоса и всыпал в чашку истолченный корень. Из-за угла вышли четыре человека. Они несли Али-Гассана. Он скрежетал зубами и вскрикивал.

— Бей упал и сломал ногу,—сказал один из них.

Гассан увидел Дашу и послал ей воздушный поцелуй. Бодави привел местного знахаря, и тот торжественно велел перенести больного к себе в дом, радуясь высокому гостю и приплясывая. Али-Гассан попросил пить.

Тогда Крутиков опрокинул чашку с настоем себе на сапоги.

— Ваш муж—жестокий человек,—сказал Али-Гассан, охая и передавая команду отряда помощнику.

* * *

— Даша, объяснись,—воскликнул Крутиков, когда Али-Гассан остался позади.—Я хочу частной жизни. Что мне эти горы и небеса

вверх ногами? Я был хорошим счетоводом и я никуда не годный генерал. Я без боя сдался бы со всей армией. Я хочу иметь твердую женщину, чтобы она не улыбалась первому иностранцу.

— Андрей, прекрати,—сказала Даша и зажала ему рот рукой.— Ты забыл о Ложкомоеве.

— Что Ложкомоев? Что ты хочешь этим сказать?—закричал Крутиков, отведя ее руку.—Что Ложкомоев? Во-первых, петух, во-вторых, черносотенец, в-третьих, изменник—перешел к туркам.

— Андрей, ты забыл, что он хотел жениться на мне, и все-таки я выбрала другое сокровище.

Тут Бодави подал знак выступать дальше. На каждом повороте Крутиков оглядывался, ища ненавистного ему турка.

— Ты природой полюбовался бы,—говорила Даша.— Смотри, какие растения.

— Растения каждая страна родит по-своему. Что мне смотреть на дерево? Ну, вижу ботаническое дерево, ну и что дальше?

— Облака прямо чудные, как сковородки.

— Облака—скопление пара, и в них больше ничего нет.

— Фу,—вздыхала Даша,—ты меня не любишь.

Тогда он искажал лицо и отъезжал. Бодави достал ему хромую лошадь, но так как он ездить не умел, то ему было все равно. По ночам ему снился банк, его стул за конторкой и книги с синими и красными графами.

— Ты должен уметь бороться за женщину,—говорила, ласкаясь, Даша.

— С кем бороться?—спрашивал он:—что это значит? Я боролся за свое существование, потом я боролся за матушку-Россию, потом я боролся за революцию, потом я попал в плен и здесь нет покоя. Я теперь должен бороться за женщину, за какую женщину?

— За меня,—сказала Даша.

— За тебя? Разве этот негодный турок не сломал себе ногу?

— Вот дурак,—закричала Даша:—я не говорю про турка. Ты еще скажи, что Бодави...

— Что Бодави, что Бодави. Он тоже успел что-нибудь? Сознавайся. Она ударила его по лбу и убежала.

— Фантастическая женщина,—сказал он:—она погубит меня, как сиротку. Зачем я с ней связался? У меня нет никакого оружия, кроме кинжала, а я должен за нее бороться. Как вам это нравится?

На другой день Бодави вертелся возле экипажа, непрерывно болтал, приносил даже цветы и камушки, доставал в аулах молоко для нее и высаживал из экипажа на остановках. Она смеялась его быстрому, почти птичьему языку.

— Что это значит?—спрашивал себя Крутиков:—откуда у женщины из мещанской семьи такой разврат, такая энергия? Почему ей нужно смеяться со всеми? Она не замечает, что я сохну, как былинка.

Бодави следовал за экипажем, словно примагниченный.

— Эй, Бодави!—кричал ежеминутно Крутиков, если ему казалось, что тот очень близко под'езжал к коляске.

— Что, звал меня, да?—оглядывался Бодави, осаживая коня.

— Нет, ничего,—говорил Крутиков и через минуту снова кричал:—эй, Бодави!

Через неделю они приехали в Нуху.

* * *

Крутикову с Дашей отвели комнату над лавкой оружейника. Бодави пришел прощаться. Ему выдали сыра, арбузов, хлеба. Его отправляли на фронт.

— Дай ему ручку на прощанье,—говорил повеселевший Крутиков:—пусть он за меня повоюет, не все же мне в самом деле.

Крутиков вышел на улицу прогуляться и столкнулся с помощником коменданта, немецким офицером.

— Отто Цвернер,—сказал немец, протягивая ему руку.

— Не понимаю,—подозрительно сказал Крутиков:—ни слова по-немецки не понимаю, даже стыдно.

— Это моя фамилия Отто Цвернер,—на чистейшем русском языке прогремел немец.—Я шел спроведать вас.

— Меня зовут Крутиков. Но откуда вы знаете так русский язык? Удивительное совпадение. Я не политически спрашиваю, я как банковский служащий интересуюсь. У нас в банке то же говорили на разных языках.

— Вы бывали в Петербурге когда-нибудь?—спросил немец, входя с ним вместе в комнату.

— Жил когда-то немного, до войны еще.

— Но вы помните „Пассаж“ против Гостиного двора? Такой большой дом со стеклянным верхом.

— Ах, это там, кажется, продают разную дрянь: шляпы, митры, кастрюльки, туфли.

— Вот видите,—воскликнул немец;—вам это хорошо знакомо, так если бы вы вышли из „Пассажа“ и пошли сразу налево, то первый магазин был бы моего отца Цвернера, эмалированная посуда, медь и прочая геометрия.

Даша раскидывала пасьянс. Немец поблескивал перед ней, как новый самовар.

— Как же вы очутились в немецкой армии?—спросил Крутиков:—вас тоже взяли в плен?

— Никто меня в плен не брал. Я родился и воспитывался в Петербурге, в Анненшуде, но я был немец. Я поехал в Германию, завоевал Бельгию, Францию, Сербию, Польшу, Румынию, Крым и Кавказ. Я хочу завоевать еще Персию, но до этого, кажется, не дойдет.

— Кажется, не дойдет,—с опаской сказал Крутиков:—вы, видно, любите воевать?

— Защита родины и прекрасного—выше всего,—сказал Цвернер, заглядываясь на Дашу.

— Простите, но вы родились в России. Ваша родина...

— Андрей, ты вечно говоришь не то. Господин Цвернер видел, верно, много женщин.

— Начинается,—воскликнул Крутиков:—ты лучше дала бы арбуз разрезать чем-нибудь.

— Не беспокойтесь,—сказал Отто:—у меня есть универсальный походный нож. О женщинах я расскажу вам подробно.

* * *

Паша с салютами и с парадами в'ехал в Нуху. Он отдыхал, пускал фейерверки и увеличил паек солдатам. Безоблачный мир витал в комнате Крутикова. Бросая обнимать Дашу, он рассказывал, как он будет в Баку служить в банке, как она будет качать колыбель с маленьким Крутиковым.

Один из дождей выбросил перед их домом Бодави. С него лило как со скалы, но он, по-птичьи усмехнувшись, вынул из бурки письмо.

— Ложкомоев султанский офицер, русский офицер писал, писал это письмо про тебя самому паше, читай, пожалуйста.

Крутиков не мог распечатать письма. Дом вертелся перед его глазами. Даша разорвала конверт и бросила на пол.

— Ну,—сказала она:—это пустяки. Он пишет, что ты обворовал полевое казначейство, и у тебя в карманах пять тысяч золотом. Это он выдумал из-за меня.

— Я воровал. О, негодяй, о, мерзавец. — Крутиков забегал по комнате со сложенными назад руками. Ну, что я буду делать? Меня расстреляют. Видишь, как хорошо улыбаться всякому иностранцу? Я говорил это раньше. Как тебе это нравится? Меня расстреляют. Теперь я погиб.

Даша заплакала.

— Я вез тебе письмо, я рвал его,—мрачно сказал Бодави и разорвал письмо на мелкие клочки.

— Позволь,—сказал, выйдя из столбняка, Крутиков:—а кто будет отвечать?

— Ответ. Ха, я найду ответ по дороге,—воскликнул Бодави. Даша бросилась к нему на шею и целовала его смуглое лицо вдоль и поперек.

— Ну, это лишнее, Даша,—дрожа, сказал Крутиков:—но все-таки, Бодави, тебе ужасное спасибо. Ведь кто бы мог подумать, что этот мерзавец может заниматься доносами? Но, ведь он сам может сюда приехать?

— Он не приедет, он ждет меня. Мы как попало сражаемся.

Вечером ординарец паши пригласил Крутикова прибыть на чашку чая к паше.

— Они все знают,—заплакал Крутиков:—знаешь восточные тайны. Сначала чай, а потом запытают так, что своих не узнаешь. Я—человек слабый, я буду кричать и выдам золото.

— Но ведь золота никакого нет, это—выдумка,—сказала Даша.

— Пускай выдумка, но я наговорю на тебя сначала, потом на себя, потом на всех, кто придет в голову. Ты знаешь, что такое пытка?

— Глупости. Поищи лучше мои шпильки и пойдем к паше. Может быть, я просто ему понравилась.

Переводчиком у паши был Цвернер. Даша смеялась. Паша гадал по ее ладони, а Цвернер переводил ей в самое ухо разные восточные гадости. Крутиков со злости разбил чашку и стал извиняться. Паша гладил Дашину руку и декламировал арабские стихи.

Ночью Крутиков откинул с головы одеяло, разбудил Дашу и сказал, что он все обдумал, бороться с пашей ему не по силам, и он лучше зарежет Дашу.

— Попробуй только,—сказала Даша:—я тебе глаза выцарапаю.

Крутиков заругался и заплакал. Не успело еще солнце обернуться вять раз, как Бодави снова с письмом стоял у семейного ложа Крутиковых.

— Он писал опять, я нес опять,—ухмыляясь, проговорил он.

Крутиков прочел письмо сам, и Бодави закачался перед ним как падающее дерево. Ложкомоев писал, что у него в руках неоспоримые доказательства того, что пленный русский прапорщик Крутиков—большевик, тайный агитатор и разлагает потихоньку турецких солдат.

Даша сожгла письмо на свечке и стала шептаться с Бодави. Теперь Крутиков жил в вечном страхе. Каждые четыре дня Бодави стоял как призрак из почтового мира и протягивал конверт.

— Не читай, не интересно,—говорила Даша и рвала письма.

Некоторые из них Крутиков все-таки читал. В этих письмах он вырастал в заговорщика, интригана, международного афериста, шпиона, анархиста и политического спекулянта. И вдруг лезгин пропал, пропал, как осенью мухи, совершенно неожиданно.

Отто Цвернер приходил и часами рассказывал о себе и о тех бесчисленных подвигах, которые он натворил в бесчисленных завоеванных им странах. Собственно говоря, это было скучно: бой, бой, груды тел взятый город, торжественный в'езд, женщины, вино, бой, груды тел взятый город, торжественный в'езд и т. д. Крутиков засыпал и просыпался под металлический монотонный голос его рассказов. Даша смеялась.

Однажды Цвернер пришел и попросил Дашу приготовить вещи, потому что с партией армянских солдат отправляют и всех штатских пленных в Грузию по приказу паши.

— А я?—спросил Крутиков:—почему вы мне не говорите, чтобы я приготовил вещи?

— Потому что вы не поедете,—сказал Цвернер.—Отправляют только штатских и армян. Вы не штатский и не армянин.

— Он хочет украсть мою жену,—завопил Крутиков:—знаем мы эту лавочку, Да, да, одевайся, собирайся, Даша. Но подожди еще, в какую сторону ты поедешь. Я сам дойду до даши.

И он выбежал, побледнев от волнения. Паша сидел посреди площади на своем складном стуле, и перед ним стояли делегаты от русских военнопленных.

— Эрмени вар? Есть ли армяне?—спросил паша.

— Есть,—ответили ему.

— Так почему же вы не хотите итти в Грузию? Там вас переотправят на родину.

Армяне нахмурились и молчали. Русский солдат вышел и сказал, почесывая рыжую бородку:

— Позвольте доложить, ваше благородие, товарищ паша, они боятся, что если их отдельно от нас отправят, их за милую душу переобрежут по дороге.

Цвернер перевел. Паша вспыхнул:

— Почему вы так думаете?

— Тут думать не приходится, — сказал солдат: — и так режут всюду, а тут и бог велел. Как пойдут, так и чирик.

— Что значит чирик?—спросил паша.

— Они говорят, что их души полетят, как птицы, чирикая,—перевел Цвернер.

Паше понравилось сравнение.

— Ну, хорошо, вы пойдете вместе и не завтра. Я подумаю.

Крутиков, подпрыгивая от радости, вернулся к себе, но дома с Дашей уже сидел ординарец паша. Они вместе ели дыню.

Паша ждал его и жену на вечерний чай.

* * *

— Даша, будем объясняться,—проснувшись среди ночи, поворачиваясь к ней лицом, сказал Крутиков.—Ты все говорила—борьба за женщину. Я сегодня чуть такую борьбу не провел, до сих пор ноги дрожат.

— Ты не сходи у меня с ума,—строго прервала его Даша:—что ты еще выкидывал?

— Даша, ты знаешь, я хотел заколоть пашу. Я пошел с кинжалом в сапоге прямо на площадь, но он спасся. Он отменил приказание, и никто не уехал.

— Где твой кинжал?—живо закричала Даша:—какой генерал в сапоге нож носит?. Завтра же ты у меня будешь гулять без кинжала. Это называется защита. Ну, если паша немного мной увлекся, гадал по рукам, как цыганка, и говорил про разные линии намеками...

— Ах, намеками,—застонал Крутиков:—как это называется? Это не время, это какая-то моровая язва. Меня, штатского человека, смиреннейшего человека, берут в солдаты, в казарму, гоняют, потом я,

прапорщик, должен гонять, потом революция, меня гоняют, потом директория, я гоняю, потом турки, меня гоняют, потом сваливаются какие-то паши. Господи, только в сказках в детстве я читал про них. И на тебе, со складными стульями приехали сюда и по рукам гадают, будто так и надо. Подождем еще, скоро обезьяны из Африки приедут. Ты и обезьянам будешь улыбаться.

— Довольно, — сказала Даша: — ты должен гордиться, что за мною так ухаживают все, даже лезгины.

— Что? — подпрыгнул, изгибаясь, Крутиков, сбрасывая одеяло: — даже лезгины. Что это значит?

— Вчера вечером за мной должен был приехать Бодави и украсть меня, увезти к себе, в горы.

— Даша, что я слышу?

— Что тебе слышать, глупый Андрей? Что интереснее женщине, — мужчина в бурке или фотографический аппарат?

— Ну, хорошо, — сказал Крутиков и стал искать свой сапог.

— Что хорошо? Какие у тебя особые права на меня? Ты мне еще не муж. Сам знаешь.

— Как? — обернулся Крутиков: — подумай, что ты говоришь.

— Да нечего разевать рот. А теперь у меня выбор большой: Бодави, Паша, да, да, еще, может быть, кто-нибудь.

Крутиков закутался в одеяло с головой и не слушал. Через минуту Даша заснула. Крутиков размышлял. Единственный, к кому можно обратиться за помощью в этой труппе, где он, счетовод бакинского банка, погибает бесславно, это европеец-немец. Он поймет душу европейца, страдающего среди варваров. „Нужно итти к Цвернеру“, — решил Крутиков, задыхаясь от злости под одеялом.

* * *

Утром он разыскал Цвернера. Немец сидел в своей комнате, пил кофе, и граммофон играл ему „Пупсика“.

— Вы кстати, — закричал он: — колоссальные новости. Встречали вы здесь лезгина, по имени Бодави?

— А-а, да, — сказал подавленный Крутиков, слюна у него во рту сразу высохла: — у вас хороший граммофон.

— Новости колоссальные. Бодави был нашим курьером, и вот оказалось, что ни одного донесения он не принес за все время, хотя некоторые... — он уставился в стеклянные глаза Крутикова.

— Баланс иногда, — сказал, выдавливая слова, Крутиков...

— Что вы говорите?

— Баланс иногда не сходится, — ответили запекшиеся губы Крутикова.

— Какой баланс? — поразился Цвернер. — Он не был финансовым агентом, он был паршивым военным курьером. Слышите? И он неизвестно куда девал донесения, хотя в некоторых...

— Да, в некоторых, — с ужасом dokonчил Крутиков, — были деньги.

— Нет, вы положительно канцелярский человек, — засмеялся Цвернер: — не деньги, там были вещи дороже, секретные донесения.

— И что же? — спросил, багровея, Крутиков.

— Мы отдали приказ арестовать его.

Крутиков покачулся и заглянул в пасть визжавшему грамофону.

— Но он убил Ложкомоева, своего начальника, и бежал в горы. Колоссальная новость.

— Убил, — прошептал Крутиков, точно слово было ему непонятно. Пот струился по его лицу.

— Да. Кинжалом ударил, как барана, и бежал через окно. Вы совсем нездоровы. Мы с вами выпьем сейчас. В конце концов, это кажется моего начальника, и вам не следует так волноваться. Вы ведь не турок, а? У вас одна жена, всего, ха-ха.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего, — коротко отозвался Цвернер: — я беру бутылку, наливаю вам и себе, и мы пьем.

Крутиков залпом вылил в себя стакан.

— Как, без тостов? — сказал Цвернер. — Я пью за красивых женщин.

— Я пью за частную жизнь, — сказал Крутиков: — за частную жизнь, в которой вас никто не беспокоит.

Цвернер налил ему еще.

— Мне хотелось бы выпить за день вашей свадьбы, — сказал он, подмигнув.

— Что вы подразумеваете под этим?

— Я подразумеваю счастливейший день вашей жизни. Я очень люблю вашу жену.

— Что вы сказали сейчас? Нет, что вы сейчас сказали?

— О, чисто дружескую вещь, дорогой мой. Чисто немецкий тост, ничего больше. Итак, пьем день вашей свадьбы. Какое это число, а?

Он наклонился через стол, и его серые глаза потемнели. Крутиков обливался потом и молчал. Он не мог назвать дня своей свадьбы, потому что этого дня не было. Он нигде не регистрировался, он нигде не был, он вообще никак не узаконил этого вопроса. Даша сказала, что она бежит с ним потому, что ей это нравится и больше ничего. Дальше было только остальное. Что делать? Крутиков сидел на дне мрачной ловушки и чувствовал, что выхода нет.

— Почему же вы остановились, дорогой мой, может быть, и вы обманываете всех нас, как Бодави, и Даша вам вовсе не жена? — спросил Цвернер и ударил в ладоши.

Вбежал вестовой. Он шепнул вестовому на ухо несколько слов, и турок исчез, как привидение.

— Я думаю, вы хотите смеяться надо мной, это нечестно, — сказал совершенно расслабленный Крутиков.

— Я, — воскликнул немец: — прежде всего я — порядочный человек. Итак, пьем за...

— За девятое сентября, — сказал с отчаянием Крутиков, называя день, когда Даша бежала с ним.

— Девятое сентября, — задумчиво повторил Цвернер.

— Голубчик, — вдруг сразу сделавшись легким, сказал Крутиков: — да согласитесь, что Даша — это лучшая женщина. Если бы вы знали, какие у нее руки и ноги.

— Я знаю, — сказал спокойно Цвернер.

— Откуда вы это знаете? — опьянев после третьего стакана, пробормотал Крутиков.

— Так говорят все молодожены. Не будем спорить. Вы выражаетесь мещански, но все равно. Так что же эта женщина?

— Она в опасности, — закричал Крутиков.

— В какой? У вас в доме подгнила крыша или за вами следят тайные убийцы?

— Нет, — отмахнулся Крутиков: — но, одним словом, вы европеец, вы поймете. За ней бегают все мужчины.

— А-а, — сказал весело Цвернер: — но ведь паша болен дизентерией. Он не опасен надолго. Кроме того, он велел передать вам, что он возвращает вам оружие.

— Пусть он оставит его себе, — спокойно сказал Крутиков, и тут же ему стало жалко пашу; как же он заболел так неожиданно? Почему же он не посмотрел на свою руку, ведь он читает по руке взад и вперед.

Здесь вошел вестовой и склонился к Цвернеровскому уху. Тогда немец наполнил стаканы и с особым вниманием воскликнул:

— Ну, так выпьем еще за здоровье вашей жены!

„Он тоже влип, — вздрогнув, подумал Крутиков, — он влип больше других. Теперь я погиб“.

Стакан задрожал в его руке.

* * *

Даша стояла у окна и пела: „Меня отнимут у тебя, нет, ты не мой, я не твоя“.

Она запнулась, потому что вошел Крутиков. Покачиваясь, он сел на ковер, и лицо его синело, как раздавленные сливы. Она подошла и ударила его по плечу.

— Где это ты напился и скажи мне, пожалуйста, почему приходил сюда турок и спрашивал день нашей свадьбы по приказанию Цвернера?

Синее лицо Крутикова стало зеленым.

— По приказанию Цвернера. А-а, мы погибли!

— Ты все время говоришь „мы погибли“. Я так привыкла к этому, что я начинаю чихать, когда ты это говоришь.

Он сложил умоляюще руки:

— Подожди, мне давно предсказывали, что я погибну от математики. Когда я служил в банке, я думал, что это будет просчет, и меня выгонят. Но сейчас я понял, цифра, одна маленькая цифра меняет все дело. Ну, что ж, я интересуюсь напоследок, скажи мне, когда была наша свадьба, и я успокоюсь навеки.

— Я назвала девятое сентября.

— Что? — Он, потеряв равновесие, лег поперек ковра. — Что, не может быть.

— Да что ты за дурак? — закричала она и затопала ногами. — Давай говорить серьезно, ты мне надоел. Зачем ты распускаешься, как кисель?

— Даша, я не искатель приключений, я не люблю их, зачем это все? Я — обыватель, самый маленький обыватель. Я не спорю, я не говорю, пусть будет по-старому, но я говорю — пусть будет по-хорошему. Ведь ты же помнишь, помнишь раз во время резни мне кинули на колени чью-то отрубленную голову. Ну, что мне делать с этой головой, зачем она мне? Я не люблю этого. Я взял ее за волосы и положил у забора, пусть берет тот, кому нужно. А теперь! Я не знаю, что я буду делать теперь.

— А, ты не знаешь, твою жену хотят украсть, хотят соблазнить, хотят опить чаем, а ты не знаешь, что делать.

— Я могу только тихо умереть.

— Старые разговоры, но что я могу сказать человеку, который на просьбу о защите говорит, что он тихо умрет, ну, и умирай, чорт с тобой. Сильный мужчина не может защитить такой слабой женщины, — вдруг сказала она и выбежала из дому.

Он упал на ковер, зажав голову руками, и начал думать. День прошел. Уже совсем стемнело, когда он услышал шаги во дворе. Он подошел к окну. Во дворе стояли его жена и Цвернер, из-под арки торчали лошадиные морды.

— Они бегут, — сказал он: — хорошо, пусть бегут, мы тоже придумаем что-нибудь, — и он медленно пошел во двор. Цвернер приложил палец к губам.

— Вы поняли все, — прошептал он, целуя Дашину руку, и она обняла его так крепко, что зубы их стукнули друг о друга. Цвернер подвел лошадь к Крутикову и тихо сказал: — Вас проводят.

Даша и Крутиков молча сели на лошадей. Вестовой Цвернера вел за повод лошадь Крутикова. Они вышли за город такой уединенной улочкой, что ни единый человек не видел их. Вестовой доставил лошадей рядом, поклонился и исчез.

— Что это значит? — спросил Крутиков, боясь шевельнуться на лошади. Он потерял стремяна и тщетно искал их ногами.

— Это значит, — сказала Даша: — тупой осел, бельмо моей жизни, тряпка, дорогой мой, славный, хороший, золото мое, смотри, видишь там под горой огонек? В этом ауле мы должны быть к утру. Осторожнее и вперед.

— Да, — сказал он, и лошади пошли. Вдруг он вспомнил, что он забыл свой бинокль дома, и ему стало обидно. Обида росла и заполнила всего Крутикова, когда лошади через час дошли до перекрестка.

— Теперь скажу я, — возгласил он, шатаясь, как одержимый, на седле, — милая моя, я прошу слова. Я боролся за женщину, и ничего не вышло. Я хотел отравить человека, он сам сломал себе ногу, я боялся другого соперника, — несчастный, его убили. Я доверял третьему, он изменил. Я хотел заколоть четвертого, он заболел дизентерией. Я не доверял пятому, он оказался молодцом. Что, если в этом тихом селении я встречу еще шестого, седьмого, восьмого, девятого, — я не знаю. Сил моих больше нет, я не рожден героем, и у меня наследственная астма. Не лучше ли я поверну налево, а ты направо. Я, — сказал он, заплакав, — больше не выдержу. — Слезы закапали на шею его лошади, и она подняла голову, удивляясь, что это за необычный дождь.

Тут женщина под'ехала вплотную, так что ее жеребец придавил ему ногу. Даша вытянула руку и схватила повод.

Примечание. Серые стада баранов и овец шли по проспекту Шота-Руставели в Тифлисе. В интервалах черные бороды козлов тряслись до земли. Рыжие овчарки лаем сгоняли смельчаков, забегавших на трамвайный путь.

— Что это такое? — спросил я Крутикова, чихая от нестерпимой пыли.

— Ну, знаете, это овцы с пастухами пасутся и двигаются. Ну, дошли до самого города и нужно переходить на другую сторону покороче как-нибудь. Вот они и переходят.

Уже совершенно стемнело, когда последняя овца прошла мимо Оперного театра.

— У нас есть еще время, а потом я пойду в банк на вечерние занятия, — сказал Крутиков, — нужно, знаете, стараться, а то сократят.

Перед нами за оградой стоял казенный тяжелый ложно-византийский собор. Черные холмы камня переходили в густой блеск купола. Вверху светилось окно. Мы прошли в удрученном молчании до гранитного крыльца. Резная, окованная медными обручами, дверь отошла с подобающим всякому культу легким скрипом. Я не мог удержаться от быстрого смеха.

Посредине огромного пустого собора, как в ресторане, стояли столики. За столиками сидели комсомольцы и играли в шашки и шахматы. Молчание висело над их головами, как в поле. В нишах иконостаса я узнал ленинский череп Сократа и лассалевский нос Го голя. Изречения из политграмоты покрывали свод, фотографии и об'явления разместились по стенам. В куполе висел старик с длинной бородой, в ней запутались голуби. Он изображал бывшего бога.

— Я частенько прихожу сюда поиграть в шашки, в нарды. Я вообще не плохо живу. Тихо и хорошо, — прощентал мне Крутиков. —

Советую и вам заглянуть как-нибудь. Тут есть такие игроки, а старика в куполе не удалось убрать, не долезть туда.

— Почему вы говорите шопотом?—спросил я громко, и сейчас же на меня обрушилась лавина.

— Почему вы говорите шопотом?—закричал старик из купола.

— Почему вы говорите шопотом?—загудели Сократ и Гоголь, опережая друг друга.

— Эге, — согласился я тихо, — дело в акустике.

— Когда удалили все ковры и иконы, резонанс самый непристойный, — зашептал Крутиков и повел меня в алтарь.—Под театр никак не выйдет, а под кино приспособить можно.

В алтаре стояли три стола, над каждым висела надпись: стол товарища Ястреба, стол товарища Пирондошвили, стол товарища Кранца. Мы осмотрели все и вернулись на вечерний проспект. У цветочного магазина с огромной вывеской „Сейчас приду“ нас ожидала женщина, белевшая кисейным одеянием.

— Моя жена, товарищ Даша, — раскланялся Крутиков.

— Мне говорили, что вы очень энергичная женщина, — сказал я, — веселая и энергичная.

— Веселая — верно, а энергии — никакой. Правда, был пустяшный случай, когда я взяла мужнина коня за ремень и повернула в другую сторону.

— Не за ремень, а за сбрую, — поправил Крутиков.

— Вероятно, за повод? — спросил я.

— Ну, я не знаю, как это называется, — сказала она, смеясь. — Я иду на собрание физкультурников. Проводите меня, если у вас есть время.

Большая семья

Р а с с к а з

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

Тов. Ашмарину.

I

Вот уже другая весна, милая Веруша. Прошел целый год, как я написала тебе отчаянное письмо.

Я не писала до сих пор, потому что пережила много тяжелого. А в таком состоянии не хотелось подавать голоса.

Сейчас я пишу тебе потому, что неделю тому назад у меня произошла знаменательная встреча.

Ты помнишь того студента, о котором я тебе писала? Помнишь то моральное потрясение, которое я пережила тогда?..

И вот неделю назад мы встретились...

Он прошлой весной окончил университет, был на практике и потому я с ним не встречалась столько времени.

У меня в жизни большая новость: трехмесячный ребенок, мальчик. Я—молодая мать. Тебе странно это?.. Теперь я последний месяц работаю в клинике и скоро буду самостоятельной женщиной. А то, что я пережила за этот год, сделало меня как бы совсем другим человеком.

Началось это с одного страшного для меня момента. Это было, когда я впервые поняла, что готовлюсь быть матерью.

Прежде всего я представила себе, какой будет позор, когда я, девушка, покажусь в таком положении домой... Сколько будет злобных взглядов, шушуканий со стороны соседок, и без того полных темного, злого недоброжелательства ко мне за то, что я выбилась на дорогу, менее всего подходящую для девушки подгородней слободы, и учусь в Москве, вместо того, чтобы возить молоко на базар.

Но, когда я ехала летом к матери и из душного вагона пересела ранним утром в телегу, я как-то забыла обо всем.

Это было теплое, душисто-освеженное июньское утро после ночной грозы. Кругом ярко и свежо зеленела омытая дождем, еще нежная зелень. Небо было мягко-туманно. Не видно где пели жаворонки.

Когда телега задевала кусты орешника на опушке, с них крупным дождем осыпались капли, мочили лицо и руки, и сильно пахло березой.

У меня было такое чувство, как будто я в себе самой ощущала такую же чистоту и бесконечность, какая была в этом воздухе утра, в необъятных полях передо мной.

С этим чувством я смотрела на показавшуюся вдали крышу нашего домика со старой рябиной около него.

II

Я совершенно забыла обо всем. И, в'ехав в слободу, как будто с радостью возвращения к детству, оглядывалась по сторонам.

На травянистой улице, около старых заплатаанных и подпертых кольями заборов, потонувших в крапиве и чистотеле, увидела знакомые с детства протоптанные гладкие тропинки к колодцу и обрадовалась им.

А показавшееся в этот момент из-за туманного полога солнце осветило ласковым утренним светом рывшихся на навозе кур, заборы и заискрилось в каплях росы на кудрявой низкой травке улицы.

В этот момент мне встретилась шедшая с ведрами к колодцу знакомая разбитная молодка, жена кузнеца. И я все с тем же чувством радости возвращения хотела ей помахать рукой.

Но вдруг увидела, что она, отведя торопливо глаза, усмехнулась скрытой, нехорошей усмешкой.

Ты знаешь эту усмешку? Что она выражает? Иногда даже совершенно неизвестно. Но в ней как будто собран весь яд тупой, злобной мещанской ненависти и иронии над тем, что выходит за пределы его среды, возвышается чем-нибудь над ней.

И когда ловишь на себе такую усмешку, то невольно, без всяких причин даже — чувствуешь, как в тебе все с'еживается и гаснет.

И тут вдруг с мучительным толчком в сердце вспомнила, с чем я приехала...

И когда входила во двор своего трехконного домика с земляной завалинкой, на которой виднелись, как всегда, нарытые в пыли курами ямки, оглянулась по двору, на траве которого валялось старое ведро без дна и виднелись разлитые от порога мыльные помои, я почувствовала безысходную тоску. Те же помои и те же тряпки на гороже, что и десять, пятнадцать лет назад.

Стоявшая у печки спиной ко мне мать в старенькой юбченке с засученными по локоть жилистыми старушечьими руками и с ухватом не сразу увидела меня.

Обернувшись, она всплеснула руками от радости и уронила ухват.

А я, минутою назад стремившаяся с такой радостью и нетерпением ее увидеть, стояла перед ней и чувствовала себя так, как будто подхожу к ней с поцелуем, а за спиной у меня спрятан для нее нож.

От самого ненаблюдательного человека, с которым постоянно живешь, нельзя скрыть того, что переживаешь. И мать уже через неделю стала украдкой пытливо и тревожно приглядываться ко мне.

И когда я, забывшись, бездумно стояла у окна или сидела, глядя в одну точку, она, проходя мимо, останавливалась и смотрела на меня с материнской тревогой. Когда же я оглядывалась, она, сделав вид, что ищет что-то, торопливо уходила. Но я слышала ее глубокий острый вздох.

А потом, уже недели через две, готовясь куда-то идти, она в беленьком платочке от солнца присела около меня и начались осторожные наивно-хитрые разговоры о том, что мне уже 25 лет и не лучше ли бросить это ученье и выйти за хорошего человека, который обеспечит.

— Мало ли теперь сбиваются с толку и треплются, не хуже всяких... Видала я таких. Они готовы на все наплевать, а каково матерям глазами светить?.. Все ночи об тебе думаю...

И вдруг ее старческие губы задрожали, сморщились, и она стала по-старушечьи сморкаться в свой фартук.

Я, сжав губы, молчала. А она, остро, испытующе взглянув на меня, продолжала:

— Негодяев много. Опозорят на всю жизнь... а люди не простят.

Я сейчас же вспомнила почему-то усмешку жены кузнеца. Как она тогда будет усмехаться?..

И однажды я подумала: „А что если я скажу ей, моей матери? Не выглянет ли из-за ее материнского лица другое лицо, — страха и ненависти ко мне за тот позор, который я вылью ей на голову? Не отречется ли она от меня? И какими словами она встретит ту новую жизнь, которую я ношу в себе?“

И я решила.

III

Когда она один раз все с тою же грустной тревогой и настороженностью под села ко мне, я сказала, прямо глядя ей в глаза:

— Мать, я беременна...

Она в первый момент как-то нелепо-жалко улыбнулась, как улыбается человек, когда над ним заносят топор, и он думает, что, может быть, это еще шутка. Потом лицо ее побелело, и она тихо сказала:

— Обрадовала, матушка... гостинца привезла... Спасибо... Дотрепалась таки...

Не сказав больше ничего, она встала и пошла из комнаты, при выходе ударившись плечом о притолоку.

— Девай его куда хочешь, но меня не позорь,— услышала я ее голос уже из-за перегородки.

Мне вдруг вспомнилось, как она лет пятнадцать тому назад сказала те же самые слова. Брат, которому было тогда лет 12, приютит заблудшую собаку. Мать была очень недовольна этим из-за лиш-

него расхода. Однажды он, запыхавшись, прибежал и с торжеством сообщил:

— У Цыганки родились дети!

Мать вышла из себя и закричала на него, чтобы он девал их куда хочет, чтобы их духу тут не было.

После целого дня слез и ссор, он взял мешок и пошел к Цыганке. Она забилась в угол конуры, покрыв щенят своим телом, и смотрела на подходившего брата такими глазами, которых я никогда не забуду: в них была и беспредельная покорность и последняя мольба.

Потом брат, завязав щенят в мешок, со слезами на глазах топил их в яме за двором, а собака, визжа, ползала около него, лизала ему руки, и глаза ее тоже были полны слез, как у человека.

Я почувствовала, что теперь, после таких слов матери, у меня нет ни дома, ни семьи. Родная мать отреклась.

Не будучи в силах переносить это, я уехала в Москву.

IV

И помню другое утро, — когда я возвращалась из родного дома. Был июль. Та жаркая пора, когда уже в 9 часов утра солнце начинает печь.

Москва показалась издали в синеватом тумане с дымом фабричных труб, с полыхающим золотом на главах церквей, с трепетно блестящими издали окнами домов. И чувствовалась уже издали жара города. Но в окно вагона все-таки еще подувал прохладный ветерок с полей. А когда я приехала и вышла из вокзала, меня охватило душным жаром пыльных улиц, бензиновым дымом автомобилей, и сердце почему-то сжалось от тоски.

Всюду ремонт, пышащие жаром асфальтные котлы, в которых мешают, насажаясь, длинными железными палками люди с закопченными лицами.

В общежитии, куда я вернулась, оставались две девушки, которым некуда было ехать, и один товарищ. Их не было дома и я, сев на свою корзинку, сидела несколько времени, глядя в одну точку.

Там тоже был ремонт. Пыхло краской, известкой, ходили штукатуры в фартуках, запачканных известкой, и на полу в коридоре все прилито было мелом, от которого натаскались белые следы и на пол нашей дальней комнаты, где мы могли приютиться.

Никогда не забуду я этого утра, когда я, решив избавиться от своего позора, пошла искать лечебницу. Как это могло случиться, что я, чуждая, как мне казалось, всяких предрассудков, стала чувствовать свое положение действительно, как позор, как несчастье? А потом и пугала мысль о том, как это произойдет, что будет дальше, когда я, сама бездомная, среди обломков ремонта и известки произведу на свет существо, обреченное на такое же бездомное существование. И в этом состоянии я решила сделать то, что делается теперь многими...

Я встала, долго стояла, сжав голову руками, потом пошла...

Улицы поливали водой, от этого становилось свежо, как-то бодро и на минуту прохладно. По тротуарам бежали поглощенные своими делами люди. И эта свежесть от политой воды отражалась на их лицах свежестью и бодростью.

А я шла, чуждая всей жизни, с мучительным ощущением какой-то незаконности своего существования. Мне казалось, что все видят, зачем я иду. И я с мучительным ощущением презренности и позорности своего существования шла и приглядывалась к эмалевым дощечкам у дверей. Точно я была больна нехорошей болезнью и чувствовала себя отверженной и заклеянной.

Наконец, я нашла лечебницу. Несколько раз я проходила мимо ее ворот с чугунными сквозными решетками, как бы желая еще и еще обдумать, но на самом деле для того, чтобы хоть на минуту оттянуть страшный момент.

И опять мне казалось, что все догадываются, зачем я здесь хожу, оглядываются на меня. И я делала вид, что не имею никакого отношения к этим воротам с чугунной решеткой.

Потом мне вдруг вспомнились слова матери:

— „Девай его, куда хочешь“ — и вспомнились щенята в мешке, которые, еще не намокнув, все всплывали кверху, и брат топил их палкой. И вспомнила Цыганку.

Я вдруг безотчетно повернула и почти бегом побежала домой.

И тут испытала ощущение, которого не забуду всю жизнь: я вдруг почувствовала внутри себя движение чего-то постороннего. живого и в то же время узнала в этом с неиз'яснимой радостью свое.

Я забилась в угол, точно прикрывая собой то, что уже жило во мне, и остановившимися глазами, в которых, вероятно, был только страх перед людьми, требующими убийства того, чему я дала жизнь, — смотрела перед собой в одну точку.

Пришедшие подружки — Таня и Глаша — посмотрели на меня и, сев около меня, стали расспрашивать, что со мной. Почему я вернулась сюда?

Я, уткнувшись им в колени, рассказала все.

— Так чего же ты плачешь? Ведь это замечательно! — вскрикнула более живая Таня и вдруг вскочила и убежала наверх. Она тащила оттуда кого-то и говорила торопливо и с каким-то торжеством:

— Константин, у Сони ребенок!

Константин шел, ничего не понимая, и, остановившись передо мной, спросил:

— Где ребенок? Какой ребенок?

— Он еще там, но будет, — сказала Таня, запыхавшись и глядя на меня.

Девушки сидели около меня и смотрели такими настороженными и возбужденными глазами, как будто во мне происходило какое-то

таинство, которое наполнило их жизнь новым большим значением, и они забыли о том, что кругом известка, ремонт, и они живут без семьи, где-то одни в большом городе среди летней жары и пыли.

А у меня мгновенно исчезло то мучительное ощущение своей отверженности и выброшенности из жизни, какое было, когда я вернулась из дома и с ужасом последнего отчаяния ходила по шумным улицам и разыскивала лечебницу. Как будто я нашла новую действительно родную семью, которая радуется тому, от чего отеклась даже моя мать.

На время родов я легла в родильный дом. Меня смущала мысль о том, что подумают обо мне, когда я приду туда и там узнают, что я девушка. Как непереносимо будет ловить на себе скрытые двусмысленные и презрительные взгляды сиделок.

Но там никто не удивился, никто не спросил, от кого у меня ребенок, а приняли совершенно спокойно и просто, как что-то совершенно для них естественное. Здесь за мной признавалось равное со всеми матерями право. В то время как дома в этом видели не право, а позор. Мои однокурсницы приходили меня навещать, подолгу сидели около меня, относясь ко мне с бережной нежностью и с живой заинтересованностью таинственным процессом жизни.

За все время я здесь не видела ни одного насмешливого или злорадного взгляда со стороны подруг и просто товарищей по университету.

Наоборот, они как бы были рады представившемуся случаю проявить себя стоящими выше обывательской морали и точно с вызовом перед кем-то принимали мое положение, как совершенно для них „нормальное, способное может быть удивить только узколобого мещанина“. И на этой почве в их отношениях ко мне проявлялась даже какая-то своеобразная деликатность: в раздевальне меня не толкали, как других, а сторонились и давали мне дорогу, не показывая при этом вида, что они делают это для меня.

Если с другими девушками они были не особенно разборчивы в выражениях, то при моем появлении у них как-то само собой прекращались всякие непристойные шутки, как если бы входила их мать.

Мне кажется, что если бы у меня был муж, то в отношении ко мне товарищей не было бы той бессознательной бережности, какую я замечала теперь. Точно благодаря его отсутствию у них было ощущение какого-то коллективного обязательства передо мной.

И еще раз я почувствовала, что моя семья здесь, а не дома. У меня ни одной минуты не было ощущения того, что я брошена, что мое существование чем-то незаконно. Я чувствовала, что, наоборот, я, как никогда, прочно стою обеими ногами на земле именно потому, что я часть большой семьи, что я имею отношение к ней, а не к какому-то отдельному человеку или к отдельной маленькой клеточке—семье.

Отдельные люди, мать, даже и та отеклась от меня, а потом облили бы меня презрением или в лучшем случае проявили бы снисходительную жалость, как к человеку, с которым случилась позорная беда.

А моя новая „большая семья“ меня не только не бросила, но помогла: мне дали усиленную стипендию. Она не только не осудила меня, но окружила уважением.

И кто знает, быть может, наше поколение, вынесшее на своих плечах болезнь ломки и роста, все приведет в порядок к моменту появления на свет нового поколения. И, может быть, ему не придется ломать себе шеи там, где ломали ее мы.

А сейчас это „новое поколение—результат ломки и роста“, лежит передо мной и смотрит на меня своими ясными глазами, в которых отражаются небеса,—и, задрав калачом ноги, сует себе в рот кулаки обеих рук... Мое сокровище!..

V

Ты ждешь от меня рассказа о самой встрече. Но я нарочно сказала тебе все, что я пережила, чтобы ты лучше поняла меня и то, почему эта встреча была такою, какою она была...

Неделю тому назад, взяв своего маленького из яслей, куда я сдаю его, когда иду на работу, я сидела с ним в Александровском саду и готовилась к следующему дню, читала, делала отметки на полях.

Было то начальное время весны, когда городской шум улиц впервые после тишины зимы поражает слух какой-то новизной. По мягким, влажным дорожкам бульвара мелькали тени галок, гудели на солнце проснувшиеся после зимней спячки мухи, визжали и хохотали от весенней радости дети, гулявшие в вязаных колпачках и в высоких по колено чулках, с крашеными деревянными лопаточками, которыми они рылись в песке.

И у меня было настроение радостной полноты, я чувствовала себя как бы живой участницей в этом весеннем празднике природы и жизни, когда смотрела на свою малютку, как он в беспричинной радости трепыхался своими ручонками навстречу свету и солнцу.

Перевертывая страницу, я безотчетно подняла голову, и сердце у меня облилось горячей волной: я встретила глазами с *ним*...

Я издали узнала его походку, его серьезность и спокойствие, которые меня привлекли к нему тогда, с самого начала. Узнала его манеру идти с опущенной головой, как он ходил по коридорам университета, и привычку взглядывать прищуренными глазами на встречаемых. Узнала его высокие сапоги, синюю рубашку под тужуркой.

Когда его глаза встретились с моими глазами, щеки у него залились грубым румянцем, который обыкновенно бывает на загорелых лицах здоровых молодых людей. Глаза приняли тревожное, неуверен-

ное выражение, какое бывает у человека, застигнутого врасплох и не знающего, как себя держать—поклониться или пройти мимо, сделав вид, что не заметил или не узнал.

Это продолжалось одно мгновение. В следующий момент он снял фуражку, а я, сама не знаю почему, с улыбкой кивнула ему головой.

Его хватило только на то, чтобы поклониться. Подойти он все-таки не решился.

Но, очевидно, на него подействовало то, что я не остановила его, не набросилась с упреками, как на бесчестно скрывшегося должника. Пройдя несколько шагов, он оглянулся, и так как я тоже оглянулась на него в этот момент, он задержался и, подойдя ко мне, все с тем же румянцем смущения подал мне руку.

При этом я невольно заметила его скрытый и быстрый взгляд, какой он бросил на мой костюм, на мои башмаки, как бы безотчетно определяя, нуждаюсь я или не нуждаюсь. Точно этим хотел измерить степень риска от встречи со мной.

Я невольно подобрала ногу под диванчик, так как у меня была большая заплата на башмаке.

— Сколько времени не виделись...—неловко сказал он и прибавил:—Ты часто здесь бываешь?

— Каждый день, когда такая погода,—ответила я, глядя на него снизу против солнца и щура глаза.

В его интонации была не развязность, а нерешительная проба дружеских отношений ничем, кроме этого, не связанных между собой людей.

— Ну, так до завтра, если будет хорошая погода,—сказал он, насильственно улыбнувшись,—а то я сейчас очень спешу.

При этом я заметила, как его взгляд скользнул по моему малышу. Но он не сказал о нем ни слова, как будто делал вид, что не замечает его.

Я не думаю, чтобы он действительно спешил. Он, очевидно, не был уверен, что у него найдутся слова для более долгой беседы. И поэтому он как бы был рад, что все обошлось благополучно, он не скрылся от меня, а подошел и даже поговорил и поспешил уйти под этим впечатлением.

Когда он со мной говорил, я слушала его с оживленной улыбкой, с какой слушают своего хорошего знакомого, которого не видели много лет и рады узнать, что у него все хорошо.

О себе же я не сказала ни слова. Не жаловалась на жизнь, не говорила, что мне было трудно и тяжело чувствовать себя брошенной. Ни одной минуты я не дала ему понять, что он имеет прямое отношение к этой родившейся новой жизни. И не стала его удерживать, когда он уходил.

Придя домой, я чувствовала в себе какой-то незнакомый мне раньше под'ем всех сил. Мне почему-то особенно было приятно то, что я ни одним словом не намекнула, что между нами есть связь, и что он является как бы дезертиром.

И с особенным удовольствием вспомнила, что в первый момент встречи покраснел и смутился он один. А я просто удивилась и вопреки всякой логике почти обрадовалась.

Мне невыразимо приятно было показать ему, что его тревога и очевидная боязнь, как бы я не сделала какого-нибудь скандала,— совершенно напрасны.

Он почувствовал это и, видимо, совершенно успокоился.

VI

На следующий день он пришел опять. Проходя вдоль аллеи мимо диванчиков, он издали увидел меня и, улыбнувшись, подошел.

У него уже не было вчерашней неуверенности и настороженности. У него было полное успокоение на счет того, что я не пред'явлю к нему никаких прав и не устрою неприятных сцен.

Мы говорили просто дружески и совершенно спокойно.

Но в его обращении со мною еще проскальзывала некоторая официальность, как у человека, который был в чем-то виноват и еще не уверился в прощении настолько, чтобы взять совершенно спокойный тон близкого человека. А, может быть, он боялся его взять, чтобы в нем не прозвучало оттенка близости, могущей повести к сложности и запутанности отношений, за которые придется потом платить.

Распрашивая меня о моей работе, как студент одного факультета спрашивает студента другого факультета, он поднял на меня глаза и встретился с моей улыбкой. И, как бы преодолевая что-то, на его лице появилась такая же улыбка.

— Ты—славная...—сказал он с оттенком легкого удивления, как будто он все еще никак не мог понять меня, моего действительного отношения к нему. И видел только, что у меня нет к нему никакого дурного чувства.

Но между нами лежал один вопрос, который оставался совершенно незатронутым. Это вопрос о ребенке. О нем ни он, ни я не сказали еще ни слова.

Видно было, что его занимал больше всего этот вопрос. Я замечала, что его глаза часто против воли останавливаются на нашей малютке. Потом он смотрел на меня украдкой таким взглядом, как будто что-то не укладывалось в его понимании.

У него был явный интерес ко мне, к моей жизни и к тому, что же я такое в конце концов? Имею я к нему отношение, как его жена, как мать его ребенка или не имею?.. Кто я для него? Кто или никто?..

Всякий раз, когда я взглядывала на него в то время, как он останавливал взгляд на ребенке, он сейчас же делал вид, что смотрит мимо него, как будто ему было стыдно, если я поймаю его взгляд.

И я делала вид, что не замечаю его взгляда, и говорила о том, что думаю поехать на работу куда-нибудь ближе к югу, где больше солнца.

Говорят, что у молодых отцов бывает вначале некоторая неловкость и как бы целомудренная стыдливость при виде собственного ребенка, когда они еще не привыкли к мысли, что это их ребенок.

Но у него, конечно, было не одно это. Этот ребенок был его „виною“ передо мной, и потому, может быть, у него не хватало духа заговорить о нем, даже тогда, когда выяснилось отсутствие неприятной для каждого мужчины ответственности.

Он присидел со мной целый час и ушел. Прощаясь, он положил мне руку на плечо и, посмотрев несколько времени молча мне в глаза, сказал:

— Молодец ты!..

VII

Вчера, наконец, произошел разговор о том, что лежало между нами до сих пор непреходимой чертой,— о ребенке.

Один раз я взяла мальчонку на руки, и он, сжимая и разжимая свои пухленькие ручонки, опоясанные складочками около кистей, протянул одну из них к лицу Александра и неожиданно схватил его за нос.

— Нельзя так... дяде больно,— сказала я, отведя его руку.

И увидела, как Александр при слове „дядя“ быстро взглянул на меня и несколько времени смотрел на меня сбоку, сощуриив глаза.

Я сделала вид, что не замечаю его взгляда.

— Неужели это мой?..— спросил он, усмехнувшись.

— Ну, конечно,— ответила я просто.

— Как-то чудно... ведь это гражданин, — сказал Александр, с преувеличенно-ироническим недоумением произнося это слово.

Он, очевидно, думал, что я воспользуюсь таким трогательным обстоятельством и заговорю с ним, как с отцом нашего ребенка, как с мужем, вернувшимся ко мне. Но я положила маленького и, погрозив ему пальцем, заговорила о другом, о своих планах, о будущем малютки, совершенно не соединяя себя с ним, с Александром.

Он, несколько времени сидел, опустив голову, и нервно покачивал носком сапога, как будто вдруг почувствовал себя чем-то задетым.

— А ведь я все-таки ему не дядя,— сказал Александр, прикусив губы и не поднимая головы:— как-никак, я тоже имею к нему кое-какое отношение..

— Очень небольшое,— возразила я,— во всяком случае не такое, о котором ему будет приятно узнать, когда он вырастет.

Он покраснел и, ничего не возразив, сухо спросил:

— Когда же ты думаешь уехать на свою новую... (он замаялся) на новую работу?

— Недели через две, когда... зацветет черемуха, — ответила я, улыбнувшись.

В его лице что-то дрогнуло, как будто он не знал, что я хочу этим сказать.

— Ты, может быть, пришлешь мне свой адрес? — спросил он. И в ожидании ответа, не поднимая головы и опять прикусив губы, он чертил сапогом полукруг по песку.

Я ответила не сразу.

А он, истолковав, очевидно, мое минутное молчание, как отказ, сейчас же добавил торопливо:

— Мне просто не хотелось бы терять тебя из виду...

— Ну, зачем... — сказала я.

Он опять долго смотрел на меня, но ничего не сказал.

Мы распрощались, так как ему нужно было с первым же поездом уезжать к месту работы.

Я попрощалась с ним с искренней сердечностью, но почему-то даже не спросила, увижу ли я его еще раз.

А он, задержав мою руку в своей, испытующе близко смотрел мне то в один глаз, то в другой, как будто хотел найти во мне разгадку той спокойной, дружеской улыбки, с которой я смотрела на него.

Наконец, он крепко, как мужчине, сжал мне руку и, ничего не сказав, медленно пошел, не оглядываясь.

А я вернулась домой.

Я жила целый вечер впечатлением этой встречи и все думала, хорошо ли я поступила?.. Я не знаю... Но я совершенно не чувствую беспокойной раздвоенности и тоскливой пустоты одиночества после его отъезда, а ощущаю необъяснимую крепость жизни в себе, внутреннюю свободу и полноту.

23 мая. Н.-Новгород

Снежная гармоника

ПЕТР ОРЕШИН

Эх, ребята, наша доля не плоха,
Растяну я на гармонике меха,
Заиграю в эту снежную метель,
В эту снежную степную канитель.

Снеги белые, метельный перезвон,
Снеги белые летят со всех сторон,
И не видно ни полей, ни синих рек,
И запутался в метелях человек.

Вот и я иду, а может быть не я,
Отзвонила цветом молодость моя,
Отгуляла, отсмеялась навсегда,
И иду я, сам не ведаю куда.

Снег ли, жизнь ли... воет снежная гроза,
Лепит в уши мне, и в спину, и в глаза,
Подгибает мне колени, сыплет в грудь,
И толкает, и иду я как-нибудь!

Под метельный звон, и тряс, и шум, и вой
Я смеюсь заледенелой головой,
Чтобы в эту нашу стынь, в ночную мреть
Колокольчиком последним прозвенеть.

Эх, ты крой, моя гармоника, звени,
Белым снегом нашу младость помяни.
Желтым месяцем взнеси и взвесели
Ледяную душу матери-земли!

На измену, на повор, на злую бредь
Колокольчиком малиновым ответь,
Чтобы смог я в ледяной, в буранный час
Песню новую сложить в последний раз!



Два стихотворения

МИХ. ГЕРАСИМОВ

I

Все чаще я завод всеильный
Готов, упавши ниц, просить —
Души пылающий светильник
Машинным ветром не гасить.

Все непонятнее и реже
Мне вдохновеньем дышит он.
Мучительный я слышу скрежет,
Костей чугунных перезвон.

Могила скорая развяжет
Узлы железные тоски.
Как черный дождь, слетает сажка,
Пылит глаза и лепестки.

Единый раз, на миг, послушай,
Не мучай юную красу.
Ведь я тебе с мольбою душу,
Как розу тайную, несусу.

Пред огненными образами
Горящих горнов и машин
Омою свежими слезами
Всю копоть душную и дым.

Ты был мне матерью и храмом,
И, вздохи тихие храня,
Не убивай железным гамом
Весеннеглазого меня.

II

З и м н е е

Не упрекай меня изменой,
Не обнажай моей души,
Былое счастье — снежной пеной,
Как листья, нежно запуши.

Так быстро наше сердце стынет,
И осыпаются мечты.
Еще вчера в лицо теплыню
Дышали страстные цветы,

Еще вчера цветеньем жгучим
Ты кудри сыпала на грудь.
И вот нависла темной тучей
В глаза холодные плеснуть.

И вот над облетевшим садом
В терзаемые лепестки,
В меня вонзились горьким градом
Слова разлуки и тоски.

Срывая листья, ветер свищет,
Сметает в снежную суму.
Я буду — одинокий нищий—
Стучаться к сердцу твоему.

И ты оденешь снежной пеной
Лохмотья жалкие полей.
Не упрекай меня изменой,
Не обнажай души моей.

Отступник

Роман

Вл. Лидин

(Продолжение) ¹⁾

XXVI

В сущности, для Свербеева, для всех его замыслов, с которыми начал он большую свою и искусную игру, гибель Тани Агуровой могла послужить только поводом для удачи. Он не думал, конечно, что все это может так с ней случиться, но раз так случилось и не в силах его было это предотвратить,—нужно суметь использовать теперь эту гибель для дальнейших ходов его осторожной игры. И прежде всего было нужно за все эти дни, сокрушенья, раскаянья и тоски Безсонова—завладеть целиком им. Так оно и случилось: в своей неприкаянности, в ощущении непоправимой беды только к нему приходил Безсонов; здесь в его комнате встретился он с Таней впервые, и лишь со Свербеевым можно было ненасытно и долго о ней говорить. За эти дни Свербеев завладел им совсем. Конечно, ничего тот не знал, да и не мог знать о том, что именно он, Свербеев, так настойчиво и осторожно сближал Таню с Челищевым. Он устраивал эти встречи, незаметно воспаляя ее мысль о нем, — и вот всё, что он строил, завершилось серьезнее и страшнее, чем мог бы он думать. Теперь, после смерти Тани, попытался он проявить темный для него самого негатив его замыслов.

Зачем ему нужно было это ее сближение с Челищевым? Вот это было сложно — и все же в сложности своей отчетливо до конца. Ему нужно было сближение Тани с Челищевым, чтобы разбудить в Безсонове ревность и ненависть... Почти графическим чертежом лежал перед Свербеевым его план: сблизив Таню с Челищевым, он хотел, чтобы Безсонов оказался защитником Тани, чтобы запахло романти-

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 4, 5 и 6 с. г.

ческой яростью и скандалом разоблачения. Тогда он, Свербеев, мог вмешаться, как старший и близкий товарищ Безсонова, попытаться все это уладить деньгами, притти к Челищеву не вымогая, а как бы именно для того, чтоб помочь.

Ныне новой линией усложнился чертеж его плана: смертью Гани. Отпадало разоблачение, не было той, на защиту которой можно было бы встать, и теперь было нужно сделать Челищева прямым виновником ее гибели. И нужно было еще—именно этому запутавшемуся в своих мечтах и поступках парнишке внушить теперь мысль, что если Челищев—виновник всей этой гибели, то и в отношении его все позволено; самой малою мерой и ничтожною карой—будет для него все то, что бы против него они ни задумали. Нужно было теперь разбудить лютую ярость отщепеня в Безсонове, и осторожной рукой Свербеев стер старые линии в своем плане и начертал новые. Эти новые линии должны были как-то решить неясный еще для него самого вопрос: как же все-таки добыть у Челищева деньги? Не грабежом, конечно, и не скандалом, а этим вот вкрадчивым, холодящим, более для Челищева ужасным путем, чем если бы все эти деньги просто у него захотели бы отнять. А для того, чтобы осуществить этот новый план, прежде всего был нужен ему Безсонов со своей отнятой мечтой, обидой и еще не успокоенным чувством.

Это было одно, основное; масштаб его нового плана. Перспективную плана, дальнейшим его усложнением, а может быть, и отличным неожиданным облегчением—было другое: очень твердо запомнил Свербеев рассказ Кирилла Безсонова о встрече его с Лебедкиным, запомнил он крепко и то, что Лебедкин имеет касательство к мануфактуре. И новые, волнующие и обещающие видения запольхали в нем. В кооперативе, снабжавшем студентов, недоставало мануфактуры давно; если добыть для кооператива партию мануфактуры, можно будет сделать и так, что не всю партию целиком получит кооператив, там будут довольны и тем, что досталось,—и можно совсем легко и безгрешно излишек пустить по другому руслу. А для этого—был под рукою Курепов, который все знал, у которого везде были связи и с которым давно все сговорено, учтено, предусмотрено. Главное, добыть денег, деньги нужны для большой и широкой жизни, и тогда можно будет покончить и с институтом, и с этой вонючею конурой, за дверями которой хрипят и давятся примуса,—а для того, чтобы найти к этим деньгам, по существу, простую дорогу, необходимо обдумать все ходы, как в шахматной игре.

И мысль воспользоваться связью Безсонова с Лебедкиным получила теперь совсем новые и отчетливые очертания. Но сначала нужно было, чтобы в этом своем отчаянии добрал Безсонов до той черты, откуда виден бы был весь поворот его жизни и невозможность вернуться к прежнему. А когда уяснится для него окончательно невозможность вернуться назад, тогда ринется он в ту сторону и по тому пути, который давно начертал для него он, Свербеев.

Подходил Новый год, и к Новому году для Безсонова все яснее становилась академическая его неуспешность. Если так пойдет дальше, если он не вернет себя на дорогу, — к весне его исключат. Что тогда ему делать с собой? Посрамленным неудачником вернуться назад, в родной город? — Ягодкин поможет устроиться на завод. Для этого были мечты и надежды, чтобы вернуться на выучку на завод?! И по ночам, еще задолго до катастрофы с Таней, он задыхался от этой тоски, от ощущения, что оторвался он окончательно, и с каждым днем — все больше...

Все это правильно и до конца Свербеев учел в своих замыслах. Он дал ему погоревать и пометаться. В самом деле, жаль было Таню, но мало ли слабых людей смело в эти годы ветром! Слабых сносило, сильные оставались. И, провожая слабых, Свербеев ощущал еще упорнее, еще лютее свою жадность к жизни.

Как же случилось, что следит он все время именно за Челищевым и откуда он знает о его сбережениях?.. Вот как означилась и развернулась эта первая линия. Вместе с Куреповым был он раз в Государственном банке; сидя на деревянном диванчике, он дожидался, пока устроит Курепов свои дела, скучал, курил; у решетчатых окошечек касс деловито толпились люди с портфелями, хрустели косячки счетов, легкий банный гул стоял под сводами, и кучи денег, миллионы рублей отсчитывали за решетчатой сеткой артельщики, связывали в пачки, оклеивали бандеролями. Неслыханные богатства бушевали там, за решетками, — а по эту сторону толпился служилый люд, потертые кассиры, артельщики, сдающие, принимающие равнодушно груды этих чужих, не принадлежащих им денег. И, сидя здесь, на диванчике, Свербеев туманно задумался в этом тревожном гуле невиданных обогащений.

Возле двух окошечек, над которыми висели таблички — „Покупка и продажа валюты“ — стояли иностранцы в фетровых шляпах и шубах с длинными кенгуровыми воротниками, они неумело меняли деньги, а рядом уверенно жались люди, покупавшие эту валюту, — несколько котиковых приземистых дам, рыжий курчавый маклер, сухой старик с сановными бакенбардами, — и вдруг среди них Свербеев увидел Челищева.. С портфелем он стоял в их ряду и дожидался очереди. Свербеев быстро поднялся, зашел позади него и, облокотившись о дубовую стойку, стал с интересом смотреть. Очередь, наконец, дошла до Челищева, он положил перед собою портфель, открыл его и достал пачку белых бумажек. Кассирша в зеленой вязаной кофточке ловко распушила их, расправила сложенные поперечно и отделявшие, очевидно, сотни рублей, смочила большой палец на маленькой губочке и быстро стала листать углы. Она отсчитала, положила на счетах, дала пересчитать другой, сидевшей с ней рядом, — и когда счета сошлись, достала пачку длинных зеленоватых и странных денег очень тряпичного вида. Она отсчитала несколько штук и подала их Челищеву. И Свербеев услышал: «Тысяча долларов».

Все первые дни после смерти Тани—Безсонов провел в горячке ужаса, жалости, тоски и любви. Как это бывает всегда, еще более возвышенными и единственными и неповторимыми чертами наградила ее он теперь, и их последняя встреча и прощание в темном парадном обратились для него в бесконечный источник новых мучительств для себя и новых неузнанных чувств. Так редко, в какие-то случайные встречи—видел он Таню, жизнь его шла без нее, меньше всего участвовала в ней она, но теперь казалось, что все опустело, безнадежно смято, разбросано—и как дальше жить? И вот тогда уверенно, понимающе, очень спокойно пришел на помощь Свербеев. Он дал выветриться в нем первому ужасу. Первый ужас прошел; живая жизнь, заботы дня, встречи—с обычной быстротой зашивали случайные трещины. В жизни—всегда так, так—и с ним. А когда прошло это первое чувство,—тогда стал исподволь воспалять в нем Свербеев темную и глухую, может быть, и неясную до конца, ненависть к Челищеву. Челищев был виноват в гибели Тани. Челищев собирается по весне уехать за границу, чтобы весело и беспечно жить, не думая о раскаянии, не вспоминая... Челищев скопил на поездку большие деньги. Разные нити, но все об одном, ту же завязывал их в узел Свербеев,—и когда, наконец, был узел этот завязан, для Безсонова стало ясно одно: если Челищев все же уедет беспечно торжествовать, будет в этом какое-то его, Безсонова, неотомщение за Таню, потому что, может быть, именно там, прощаясь с ним в темном парадном, завещала она ему это право отщипания. А дальше договаривал уже за него Свербеев: они одни знают о преступлении Челищева и могут разоблачить,—за молчание надо платить! Это—не торговля памятью о Тани, а возмездие для Челищева,—и хотя никак себе все-таки не мог объяснить Безсонов, почему же это возмездие, если добудут они у Челищева деньги,—очень охотно и яростно, как и предполагал Свербеев о нем, отдался он этой мысли...

Но как раз в эту неделю Челищев закончил цикл своих институтских лекций и уехал на месяц читать в Ленинград,—и Свербеев облегченно решил, что за этот срок они подробно разработают план, как нужно им действовать. Пока же, в один из преддрождественских вечеров, повез он Безсонова в павильон, где все еще жил, до подыскания квартиры, Курепов. На том же широком диване, на котором в памятную и уже далекую ночь так обдуманно и деловито завладела им Вера Никольская, сел он в углу, в другой угол закинулся Свербеев, ероша шерстяные жидкие волосы, а Курепов дымил своей трубочкой и, засунув руки в карманы бархатных нарядных штанов, охваченных снизу желтыми крагами, ходил перед ними, мимо холстяных стен с криво развешанными портретами пучеглазых предков, мимо золоченой мебели, особенно выпиравшей теперь жалкой своей позолотой. И Свербеев, так же закинувшись в угол и ероша чахлую шерсть волос, рассказал все, что пока он задумал насчет студенческого кооператива, Лебедкина и мануфактуры.

XXVII

Все это далее развернулось для Кирилла Безсонова необычайно стремительно, в общем скорее против его воли, потому что было у него к Лебедкину еще давнее чувство, мешавшее ему так постыдно использовать эту связь, — но как-то для него самого незаметно привык и сам он к мысли, что очень выгодно и безобидно можно воспользоваться своим знакомством с Лебедкиным. За эти дни Курепов успел уже выяснить, какую роль Лебедкин играл в распределении мануфактуры, а Свербеев — забросить в студенческом кооперативе мысль о возможности получить партию нужного этого товара. Он вызвался сам все добыть, хлопотать, найти ходы — и ему это дело охотно доверили, снабдив его бумажкой с лиловой печатью. Дальше все пошло очень налаженно.

В воскресенье днем Курепов позвал на обед к некоему Науму Робертовичу, большому специалисту по мануфактурным делам. Наум Робертович должен был объяснить, на какие сорта мануфактуры на рынке сейчас самый большой спрос, дать, если понадобятся, деньги для задатка, обласкать и помочь во всем. Наум Робертович жил в недавно купленной превосходной квартирке на Солянке, жена его с детьми была сейчас за границей, а на холостой квартирке бывают лучшие девочки и даже актрисы московских театров. Все это очень подробно объяснил по дороге на Солянку Свербеев. С мутью в душе, но с решимостью ехал Безсонов с ним к этому загадочному Науму Робертовичу. Если бы сейчас на пути встретился Лебедкин, он бы ухватился за него, чтобы выйти навсегда из этой игры; но Лебедкина не было и не было никого в этой жизни, кто бы обратил его к прежнему, а новое — увлекательно, невиданно и влекуще разгоралось в туманах. С той пустотой, какую ощутил он в себе после гибели Тани Агуровой, — это был единственный путь.

Трамвай по-праздничному просторно и быстро уносил их мимо бульвара с плевненскими пушками и серой часовой героев, мимо новых шатровых перекрытий кремлевской стены — вниз, на Солянку. Свербеев сидел напротив, сунув нос в воротник, и временами смотрел на него тускловатым невидящим, ушедшим в свои замыслы, взглядом. Вскоре они вышли из трамвая и пошли по Солянке. Рождество находило снегами, седыми насупленными днями, тускневшими вскоре после полудня. В маленьком домике, во дворе, от'единенно от мира жил Наум Робертович. Горничная в проворных кудряшках, в английской белизне крахмала и короне наколки, — такую видел Безсонов только в кинематографе, — очень оживленно впустила их. Видно было, что множество разных людей бывают у Наума Робертовича. В комнате отчаянно и весело наигрывал граммофон фокстрот. Вопли инструментов прерывались мяуканьем, звоном литавр и писклявыми голосами детских дудок, и от этого какое-то радостное и веселое возбуждение сразу овладело Безсоновым... Стоя в дверях, руки в кар-

маны, в замечательном шерстяном жилете в малиновых полосах, надевавшемся прямо через голову, — Наум Робертович густо и снисходительно говорил им:

— Пожалуйте, пожалуйста, молодые люди...

Так был человек этот доволен жизнью, что выпирало довольство из его волосатых ноздрей, из мелко-курчавых и седеющих волос, очень похожих на овечью шерсть и расчесанных на превосходный пробор, из краснеющей низкой шеи, словно только что вытертой жестким полотенцем, из бычьего, несколько лбом вперед, наклона большой головы,—так, вероятно, с таким же бычьим наклоном, шел он с огромным успехом по жизни... И Безсонов сразу почувствовал себя превосходно в гостях у этого человека. Человек не скрывал богатства, своей удачи и ловкости, с которой он обертывал жизнь вокруг волосатого пальца.

— Ну-с, молодые люди, будем слушать фокстрот, пока придут дамы... а для аппетита Нюрочка даст нам по рюмке английской горькой!..

И Нюрочка, самая та в кудряшках, что открыла им дверь, очень развязно и совсем непохоже на то, что была она здесь в услужении, налила всем по рюмке и обнесла на подносике, очень открытым и смеющимся взглядом вникая в глаза каждому, пока тот запрокидывал голову. В это время из кухни, совсем веселый и красный, пропахнувший кухонным жаром, прибежал Курепов, приготовлявший по какому-то замечательному способу гуся.

— А, Кирюшка!—завопил он на ходу неестественно громко: — а я, братцы, уже того...

Он схватил из буфета бутылочку с уксусом, помахал ручкой и убежал снова на кухню. И сразу почему-то стало необыкновенно легко и весело. Точно приоткрыли занавеску над другой, совершенно необыкновенной, очаровательно легкой и беспечною жизнью, о которой никогда он, Безсонов, не знал,—люди жили здесь в полную меру своих удовольствий и радости жизни, а причиной всему, основой всему—были деньги, и зев граммофона, наявившая сумасшедший фокстрот, от которого, казалось, разваливались стены,—зев граммофона тоже вопил, что можно жить чудесно, восхитительно, неповторимо... Неужели же для того, чтобы создать хотя бы подобие такой жизни, нужно только о чем-то умолчать, чего-то не сказать Лебедкину, даже не солгать, а именно умолчать?.. Но разве постыдно желать для себя, чтобы жизнь радостно и беспечно наполнилась, звонко налилась этим восхитительным ощущением удачи и лукавства?.. И Наум Робертович ~~показался~~ показался ему необыкновенным, замечательным человеком, который твердо знает, как' делать жизнь, как разнообразить ее в скучных и повторяющихся с убийственной монотонностью днях. Завтра же, как только скажут ему, пойдет он, Безсонов, к Лебедкину и солжет, если будет нужно, и сделает все для того, чтобы вытолкнуть свою жизнь из тупика, в который зашла она для него в эти

месяцы... Он очень возбужденно и радостно настроился, предвкушая дальнейшее. Наум Робертович, казалось, не обративший на него вначале никакого внимания, сел вдруг с ним рядом и, покачивая головой в такт неистовым взлетам фокстрота, дружественно положил на его колено мохнатую руку.

— Так товарищ Лебедкин ваш друг, говорят?—спросил он сразу и все продолжал качать головой, следуя за фокстротом.

И Безсонов был счастлив, что смело может ответить ему утвердительно. Да, Лебедкин его друг, первый человек, который помог ему в жизни, и, если придет он с просьбой к Лебедкину, тот сделает все для него! Так—чутьочку возбужденно мог он ответить, ставя тем самым какой-то незримый знак равенства между этим человеком, у которого были деньги, и между ним, студентом Безсоновым, у которого были связи. И Наум Робертович удовлетворенно кивнул головой и погладил его по коленке.

— Очень хорошо,—сказал он,—очень хорошо, дорогой товарищ...

Больше он ничего не спросил, но Безсонов почувствовал, что из неизвестного простого студента стал он для него человеком, внушающим к себе интерес и внимание. Вскоре опять веселая Нюлочка пробежала к дверям, в дверях шумно и весело заговорили женские голоса, сразу запахло морозом и духами, Наум Робертович пошел навстречу гостям, а Свербеев, мгновенно подсевши рядом, сказал значительно:

— Артистки балета!

Артисток балета было три, две из них были стрижены по-мальчишески, одна—худенькая и черненькая, как прилежный мальчик, другая—светлая, с удивительными прозрачно-зеленоватыми глазами; третья—постарше, сухая, как поджарая лошадь, сейчас же по приходе закурившая папиросу. Впрочем, и две другие тоже закурили по папироске. Женщины были румяны с мороза, оглядели студентов критически и сели, положив ногу на ногу в непостижимых, серебряно отливающих шелком чулках. Первые минуты разговор не вязался, а затем опять—примиряюще и знакомя—завопил граммофон, но уже не фокстрот, а какой-то новый удивительный чарльстон, от которого женщины сразу заулыбались. Вскоре снова примчался Курепов, схватил со стола перечницу, помахал ручкой дамам,—и Наум Робертович пригласил к столу.

Следом за женщинами вошел Безсонов в столовую и остановился в дверях, ослепленный видением: блестел фарфор оттертых до сверканья тарелок, изумрудно и красно теплился хрусталь стаканчиков, бокалов и рюмок под светом низкой огромной люстры, царственно распростершейся желтым шелковым колпаком; вяло-розово теплели на блюдах нарезанные ломти рыбы, под стеклянным колпаком дремала, как драгоценность, огромная ноздреватая глыба сыра, и мелко-накрошенный, хрустальными самородками, лежал лед под чашей с ага-тово-черной икрой. А между тарелок—строго и сокрушительно стояли

бутылки, золотеющие и алеющие на свету, дополняя эту игру цветов, красок и блеска.

— Прошу садиться, дорогие товарищи,—сказал Наум Робертович торжествующим баском.

На минуту все завозились, устраиваясь, и вышло так, что очутился Безсонов между Свербеевым и черненькой, чем-то смутно похожей на Таню, артисткой балета. Но среди бутылок вина оказались деловым авангардом, пехотою так сказать, низенькие и прозрачные, слегка запотевшие графинчики с водкой.

— Ухаживайте за дамой, товарищ,—сказал Безсонову через стол хозяин и как-то так сдвинул мохнатые гусеницы бровей, что разом схватился Безсонов за потный графинчик и налил соседке, Свербееву и себе. Веселый обед, суливший многое еще впереди, начался.

Смутно, вскоре захмелев от выпитой водки, помнил Безсонов последовательность невероятного этого обеда у Наума Робертовича. Сразу все заговорили необычайно громко, поминутно брякали ножи или вилки, выпадая из рук, опустошались блюда, в десятый раз принимались вновь за икру, податливо заглатывалась нежнейшая лососина, графинчики пустели, но на смену павшим подвигались резервы, а затем появился совсем завеселевший Курепов, и из кухни торжественно на воздетых руках, некоронованным королем, выдвинулся пятнадцатифунтовый гусь, начиненный по особому куреповскому способу яблоками. Все это сейчас же обильно было залито вином в высоких тонкогорлых стаканчиках, женщины пили, не отставая от мужчин,—и какой-то стеклянной спиралью взвились под самый потолок запахи гуся и вин, и женских духов, и граммофонных воплей фокстрота, а в дверях, улыбаясь невинной и кудрявой улыбкой, появлялась Нюлочка, оглядывая это пиршество. Затем очень смутно помнил Безсонов, как все задвигали стульями и перешли в соседнюю комнату, пошел и он за всеми вослед, но в соседней комнате, где только недавно вопил граммофон, был теперь полумрак, горела одна желтая рогулька в руке бронзовой женщины, в виноградных металлических гроздьях. Он сел в креслице у окна, страшно вдруг загрустив, и увидел, что в углу на диванчике шепчется Свербеев именно с той черненькой и чем-то неуловимо похожей на Таню, его соседкой; на другом диванчике справа, как раз под лунным светом рожка, тучно сидел хозяин рядом с поджарой актрисой, и в том, как неподвижно сидели они друг подле друга, было какое-то холодное бесстыдство. Очень тоскуя, поднялся он и вышел обратно в столовую, но в столовой, рядом с третьей актрисой, сидел Курепов, шептал ей что-то на ухо, отчего смотрела женщина вперед огромными, светло-зелеными и меркнувшими глазами...

Он был один здесь, в послеобеденном этом разгуле, среди смятых салфеток, опрокинутых рюмок, рыжеющих шкурок мандаринов, все кругом были заняты друг другом,—и, так же тоскуя, вышел он в коридор и в открытых дверях кухни увидел Нюлочку в ее зубчатой белой

короне, невинно-кудрявую, показавшуюся здесь, в этом сборище, единственно возвышенным существом. Тогда, не помня себя, прошел Безсонов к ней в кухню. Он ничего не хотел от нее. Он ужаснулся своей одинокости и пришел к ней сюда, потому что нужен ему человек в его одиночестве. Стоя перед женщиной, содрагаясь вдруг от воспоминаний и слез, он стал говорить ей бессвязно о своей жизни, о Тане, о новом ужасном пути, на который сворачивает... Нюрочка слушала его и вдруг с потрясающей какой-то покорностью взяла его за руку и повела за собой в соседнюю темную комнату. В темной комнатке стояла ее постель и висели какие-то черные рамочки.

— Вы ложитесь сюда, на постельку,—сказала она,—а я сейчас же вернусь.

Она помогла ему лечь щекой на прохладную наволочку подушки, а сама легко проскользнула и вышла на миг, чтобы сейчас же вернуться. Мокрый от слез и счастливый, он лежал на ее постели и ждал, и постель вдруг тихо снялась и поплыла с ним вместе, как-то противно ныряя и уносясь в глубину; вцепившись руками в ее края, боясь слететь, он лежал и дожидался возвращения Нюрочки. И Нюрочка скоро пришла и села с ним рядом. Замирая блаженно, в одури и тоске, Кирилл Безсонов вытянул руки, чтобы коснуться ее руки, и вдруг Нюрочка знакомым густым и низким баском сказала:

— Вставайте, товарищ,—поедем за город на такси... быстро сдерет с вас к чорту все это.

Безсонов открыл глаза и близко увидел замечательный вязаный жилет в малиновых полосах. Наум Робертович тяжело сидел рядом с ним на Нюрочкиной постели, потряс его за плечо и посадил с собой рядом.

— Ну-с,—сказал он, и брови его пушисто зашевелились знакомыми гусеницами:—умойте голову водой и поедем за город...

Он быстро поднял его за плечи с постели, подвел в кухне к крану раковины и пустил ледяную струю. Захлебываясь от воды, сразу ошалев от холода, Безсонов вырывался из его рук, но Наум Робертович крепко держал его за ворот, пока не отошел тот совсем. С наслаждением, все еще качаясь, но уже сознавая, Безсонов вытирал полотенцем лоб, и тогда очень близко, в самое лицо, приблизив рыжеватые глазки и нос с пучками волос, Наум Робертович спросил у него:

— Ну, а дело мы сделаем с вами, дорогой товарищ? На дело вы способны, надеюсь?—и Безсонов ответил облегченно и радостно:

— Сделаем, конечно!

В передней уже одевались; Нюрочка, с тою же все негаснущей улыбкой, помогала дамам надевать ботики. Стыдясь ее, Безсонов надел в стороне пальто. Наум Робертович взял его под руку и повел за собой. Прощально и улыбаясь, смотрела вслед сверху, с площадки, Нюрочка. Они вышли во двор, у ворот сдержанно kloкотала черная каретка такси. Весело и тесно втиснулись вшестером в каретку, а Безсонов сел рядом с шофером. Морозный ветер отрезвляюще

запел, загудел в лицо. По-утиному крякая, проворно уносились каретка вечерними московскими улицами. Скучно бродили по ним нахохлившиеся люди, задерживаясь у освещенных под'ездов кинематографов. Цветные плакаты обещали развлечь, закружить, увести к сказочной снящейся жизни. В пивных, в дыму, тесно сидели ошалелые бекешки и полушубки. Все более протрезвляясь, смотрел Безсонов на эту знакомую жизнь, и мысль о том, что завтра с утра предстоит ему возвратиться сюда же, начать для себя эти будни, ужаснула его. Нет, именно так нестись, в каком-то нескончаемом карнавальном кружении, в этой черной шалой каретке—за город, в веселую ночь, как обещал Наум Робертович, к огням, к блеску, к песням, и—что бы ни было нужно для этого—сделает он с огромным чувством облегчения и осуществляющихся великолепных надежд.

XXVIII

Чибирик, чибирик, чибиришечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Ап. Григорьев

Возле села Всехсвятского приехали они к какому-то пустынному и вымершему деревянному дому. Уныло и хмуро темнел он своим бревенчатым фасадом, а кругом тонко и по-дорожному пел ветер в проводах телеграфа. В вымороженных черных сенях сладковато несло отхожим местом. На цыпочках, всею компанией, держась друг за друга, поднялись наверх по неимоверно скрипучей лестнице. Все это было очень таинственно и волнующе. Курепов постучал несильно два раза в обитую дверь, и минуту спустя выглянула страшная бородатая голова, с такими сверкающими белками, что видны были они даже в темноте. Человек впустил их по-одиночке в пустую угрюмую комнату, казавшуюся нежилой. Он прибавил огня в керосиновой лампочке и оказался цыганом в ситцевой красной рубашке и плисовых штанах, свисавших поверх сапог. В шубах и шапках молча провел он гостей за собой в соседнюю комнату, и разом за откинутой пыльной портьерой пахнуло теплом, зеленовато-слепительным светом горела керосино-калильная лампа под потолком, по стенам стояли низкие тахты, а из других дверей навстречу гостям пестро поплыли цыганки в шелковых платьях и шальях, с густыми бровями, и следом—кавалеры с масляно-замусоленными коками и сизыми лицами, заросшими крутым конским волосом.

— Дорогие товарищи, мы к вам!—сказал Наум Робертович, в шапке и ботиках, в перекинутом через шею изумрудно-зеленом кашне, и волосатыми пальцами обеих рук послал цыганкам воздушные поцелуи.

Разом по-птичьему и гортанно заговорили женские голоса, пыльно запахло пудрой,—и для Безсонова весь этот вечер далее пестро залился

шелковыми шальями женщин и густым мохнатым перебором гитары, под которую пела сперва Варя, потом Стеша, потом Настя, потом цыган Кучеров, потом все вместе, водку принесли в четвертях, и скоро таким весельем и буйством запольхало потаенное это убежище, таким зажглось спиртом, так зашумело, что казалось, вот распадутся ненадежные бревенчатые стены, и всею безумной лавиной выльется отсюда человеческая эта лавина и дальше пойдет бушевать, воспаляя, тревожа и будоража вдвояю тишину загородной ночи. Совсем ошалев и так багровея затылком, что можно было, казалось, зажечь о него спичку, пошел в пляс гусаком Наум Робертович, а навстречу ему поплыла цыганка с длинным белым лицом, похожим на ломоть дыни, домовито урчала гитара, лопааясь струнными пузырями,—и, хмелея совсем, ощутил Безсонов безмерный восторг от того, что он здесь в этом нескончаемом празднестве, которое может продолжиться еще и еще, стоит только немного приложить труда и усилий... Внезапно как будто ответив на все его мысли, рядом с ним на диван сел Свербеев. Его глаза были мутны от выпитой водки, длинный нос лоснился он дыхнул перегаром и сказал торжествующе:

— Видел, брат?.. Вот это жизнь, а не твой муховец. Понял теперь, как жизнь жить надо?.. А всё в наших руках, Кирюшка, если не сдашь... не засбоишь на финише. Выйдем в коридор, я тебе такое покажу, что душу разинешь...

Он увлек его за собой в соседнюю полутемную и холодную комнату, в которой их встретил цыган при приходе. Он подвел его к тусклой керосиновой лампе и выхватил рывком из кармана брюк странный несвежий пакет. Правой рукой он похлопал по этой подушечке, и вдруг разом ослепляюще и чудесно развернулись перед Безсоновым белые бумажки с черными пятнышками цифр в верхнем правом углу.

— Видел?— жарко дыхнув ему в самое ухо, сказал Свербеев еще.— Видел? Задаточек Наума Робертовича. Если завтра не засбоишь, пойдешь со мной вместе к Лебедину просить для студентов мануфактуру, — большой наварец у нас останется...

И снова проворной рукой сунул он пачку в карман. Ослепленный, сбитый со всех своих мыслей, которые еще возникали в нем относительно Лебекина, глядя в то место, где только что развернулись пред ним все эти бумажки, почти машинально Безсонов ответил:

— Не засбою... Лебедин всё даст, если я попрошу!..

— Ну, вот и отлично. А пока веселись, брат... цыганочки есть замечательные, а хочешь я тебе свою черненькую уступлю? Погоди, возьми пока это... может придется ее проводить,— и, покопавшись в кармане, Свербеев дал ему две белых бумажки.

Минуту спустя они вернулись обратно в дым, в тесноту и гул. Весело и пьяно догуливали цыгане в ночь. Хорошо пели песни, шумели шелками, звякали серебром своих монистов, и пахло здесь диким звериным духом, отчего еще веселее и дымнее кружилась голова. Так

прогуляли здесь часов до двух ночи и решили всю гурьбой, с гитарой и песнями, поехать на розвальнях кататься по парку. Откуда-то пришли сивые с мороза, краснолицые ямщики, им дали по стакану водки, наливал Наум Робертович, а цыганки, став в круг и хлопая в ладоши, величали его:

Выпьем за Наума, Наума дорогого,
А пока не выпьем, не нальем другого!..

— и Наум Робертович тоже вместе с ямщиками выпил стакан водки. Потом все зашумели, заторопились, потащили шубы. Безсонов оделся и вышел на лестницу. В черных сеньях запахло морозным воздухом. На ступеньках, держась за перила, стояла черненькая актриса, он не узнал ее в шубке и капоре; ей было худо, видимо. Он подхватил ее за плечи и помог спуститься. Возле дома шершавые от инея стояли лошади ямщиков, звякая обручальными кольцами поддужных колокольцев. Ямщики топтались, крепко похрустывая снегом. Была морозная, звездная, певучая, чистейшая после смрада ночь.

* * *

В два часа, на другой день, вялые от вчерашнего буйства и полные еще мутных предутренних снов, вместе со Свербеевым пришли они к тому огромному зданию, где работал Лебедкин. С Лебедкиным Безсонов не виделся со дня первой их встречи. Какие-то последние голоса раскаянья томили еще, но он уже знал теперь, что ни за что не свернет с дороги, которую решил для себя вчера. В большом вестибюле золотыми аквариумами поднимались и опускались два лифта. Человек в галунах повернул серебряное колесо, и лифт певуче понес их кверху, на пятый этаж. В длинном белом коридоре с матовыми стеклами дверей было по-больничному чинно. В приемной Лебедкина ярко рыжел натертый паркет со сложным рисунком, сидело два человека с портфелями, и машинистка у окна, дымясь золотистой короной волос, торопливо настукивала на машинке. На белой стене висели диаграммы в красных, желтых и белых квадратах и столбиках; жизнь казалась здесь отстоявшейся, точно размеренной, и от этого, вероятно, все говорили вполголоса. Вскоре из кабинета вышел секретарь с деловой папкой с бумагами, он записал студентов на листке, и прием у Лебедкина начался.

Смутно и неуверенно входил к нему в кабинет Безсонов. Они условились давно меж собой — он и Свербеев — что именно будет каждый из них говорить, но что бы ни говорил он Лебедкину — всё это теперь будет ложь, и в первый раз он солжет человеку, который обратил его к жизни... В своем большом кабинете, где еще тише хотелось говорить, так подавлял строгий порядок вещей в нем, как-то одиноко и непривычно затерялся Лебедкин. Такой же костистый, с повязанной шеей от очередного фурункула, сидел он бочком в своем креслице; телефон-вертушка и еще два телефона аспидно

чернели на столе. Очень радушно встретил Лебедкин студентов. Поглядывая дружественным серым глазом на Безсонова, он выслушал все, проглядел заявление и синим карандашом сделал пометку в верхнем углу.

— С этим пройдете в третий этаж, и дальше вас уж направят,— он сказал это дружески и откинулся в креслице.— Ну, а как же дела?— спросил он еще у Безсонова зорко.— С идеями кончил?

Может быть, именно сейчас, если б попристальней на него поглядел Лебедкин, если б попрежнему положил на плечо ему руку, чтобы все узнать и спросить, он сказал бы о всем, сжигая себя до конца, потому что здесь с Лебедкиным была еще его правда, а дальше уже—такая невыносимая ложь, такая распутица, из которой не выбраться никогда... Но в тот же миг зазвонил телефон, и Лебедкин, сразу утратив свою теплоту, взял трубку и стал говорить: и чем дальше деловым скучным голосом говорил он о каких-то раздутых сметах, тем глуше застилалось это чувство Кирилла Безсонова. Лебедкин, наконец, кончил говорить и снова к ним повернулся, но лицо его прежнего выражения уже не сохранило. Затем стали прощаться,— и минуту спустя они уже спускались по лестнице. Вверх и вниз пробегали люди с бумагами, и, спускаясь, подумал Безсонов, что спускается, в сущности, по страшным ступеням своей жизни. Впрочем, мимолетно прошло это чувство в нем.

Дальше все хлопоты принял Свербеев на себя, несколько дней загадочно он исчезал, добывая мануфактуру, ездил к Науму Робертовичу и кружился в кратерах трестов; как это до конца обернулось—Безсонов не знал, но в один из вечеров, в том же павильоне, где все это было задумано, встретились они снова втроем.

— Ну-с,—сказал Свербеев и подмигнул Курепову белесым своим глазом,—дело сделано. Хвалю, что дураком не оказал себя, Кирюшка! Давайте считать наварец.

Знакомым движением полез он в карман и хлопнул о стол изумительной пачкой, бело и сиренево разлетевшейся веерком бумажек. Не веря, не понимая, смотрел Безсонов на это богатство, а Курепов, мгновенно сложив бумажки и постукав пачкой ребром как колодой карт, стал считать. Он считал и считал—и кончил, наконец.

— Сколько?—одним дыханьем спросил Свербеев.

— Тысяча двести,—Курепов ответил и, подсев вдруг вплотную к Безсонову, крепко взял его за колено рукой.—Ну-с, что же вы теперь с такой суммой будете делать? Четыреста целковых на брата, как пенку сняли. Пенка и есть. Четыреста целковых тебе, Кирилл Безсонов!—закричал он снова.—Двадцать месяцев полной стипендии в один присест... и никому никакого отчета. Ловко Свербеев сработал?

XXIX

Там, в павильоне, на диване, сидя рядом с Безсоновым и дружески касаясь колена рукой, Курепов дал совет, как можно удвоить,

утроить или даже удешевить, если будет удача, его чудесный наварец.

— Ты играть пробовал?—спросил он вплотную.

— Как играть?—Безсонов не понял и удивился.

— Ну, конечно, не на рояле играть... а игру настоящую знаешь? Ну, шмен-де-фер там, или баккара... словом, железку знаешь?

Но за него ответил Свербеев:

— Ну, это, брат, еще надвое. Лучше и не заводи... войдет князем, а выйдет мразью.

— Дурак ты, Свербеев,—сказал Курепов презрительно,—если я его учить хочу, разве я его без присмотра оставлю! Со мной или ни с чем обернется, или с наваром останется.

Почему-то весело было Безсонову слушать куреповские эти пустяки. Большие деньги лежали теперь у него в кармане. Никогда столько денег не знал он прежде, и такой хотелось теперь шалой, невиданной жизни, что мысль об институте, о занятиях, о зачетах, если бы и возникла снова она, показалась бы вовсе ненужной...

Он ушел из общежития рано и много ходил по городу, не ощущая усталости. Подолгу он стоял у окон магазинов, в которые мог уже полноправно зайти, выбрать все, что захочет, победоносно ощущая себя в ряду добытчиков жизни. И в половине десятого вечера, как решил и задумал, он был уже у Курепова. В павильоне выпили по три рюмки зубровки для бодрости и, действительно, бодро вышли отсюда в туманную ночь. Доехав на трамвае до Селезневской, они пересели на букву Б. Морозы сдавали, зима становилась сиротской; в оттаявшие окна трамвая виден был отяжелевший под сыростью снега город. Скоро сиреневым и феерическим светом засияли шары над входом в казино. Широко, радушно приглашало оно к себе искателей счастья. Провинциальные растратчики, приехавшие в столицу встряхнуться, останавливались замороженные этим сиреневым светом и с пересошим зачарованным горлом входили в под'езд.

Чуть туманясь от всего этого зрелища, легко взволнованный, Безсонов подошел к одному из столов. Час был ранний, игроков было еще немного, и Курепов ястребом выискивал место повыгодней. Надо было найти такое место, чтобы держащий банк слева партнер не дорожил, а покупающий карты был бы погорячее—таков был расчет игры. Наконец, Курепов выискал место между румяненьким старичком, очень бережливым и аккуратно игравшим, с одной стороны, и между опасливым потертым армянином все время считавшим под столом на коленях деньги—с другой. Здесь он устроился. Безсонов стал позади его стула, глядя на желтые от табаку и обещавшие счастье пальцы Курепова. Осторожно и вкрадчиво начал свою игру Курепов. Не торопясь, присматриваясь, понтировал он не раньше, чем по третьей карте, наигрывая мелочишку пока и готовясь перейти к более широким, решительным действиям. Пока не принимал он в дело Безсонова, а когда подошел к нему банк, принял в пай десять

его рублей и приготовился к атаке. Двадцать рублей в банке покрыли первые два игрока по правую руку, и Курепов вытянул из деревянного ящичка карты. Приблизив к близорукому левому глазу щиток, армянин сказал сдавленным голосом:

— Карточка нужна!..

Курепов открыл свои и дал армянину рыжего короля. Двадцать рублей противников поползли к банку. Опять стал вытягивать карты Курепов, опять пошел армянин и еще один невзрачный человечек в обшарпанном пиджаке, и оба они проиграли тотчас. Три только раза дал карты Курепов и продал банк. Сто шестьдесят рублей за малым вычетом наварил он за три этих удара. Восемьдесят рублей достались Безсонову за одну только белую его бумажку. И вдруг восторженная уверенность в победе, именно в том, что здесь найдет он первую основу дальнейшей жизни, жарко и восхитительно возникла в нем. Игра, игра, легкий полет над пропастью! Тысячи людей, вероятно, создавали себе здесь состояния. Нет, конечно, не так, не за спиною Курепова надо его создавать, а сесть полноправно за этот овальный стол, самому все пережить, самому определить ход своей новой удачи...

Но Курепов ему не позволил сесть в этот вечер.

XXX

После Нового года, после лютых январских морозов, зима надломилась дружно. Осевшие инеем дни медленно переходили в вечера, синие коридорами сумерок. Предфевральское солнце грело уже, с грохотом сшибая в сточных трубах сосульки. Тяжелыми подушками сбрасывали снег с крыш. За три недели дважды был Безсонов с Куреповым в казино, опять не давал ему тот присесть с собою за стол, и вновь, наиграв, увозил его он отсюда. Со всеми выигрышами, с прежними деньгами у Безсонова собралось семьсот тридцать рублей. На двести оделся он заново. Казалось, вплотную приблизились дни его торжества. Но вместе с удачей—все гуще и лютее он начинал тосковать. О чем тосковал он на этом заново перед ним возникшем пути? Там, в институте, шла, продолжалась своя жизнь. Шли занятия, студенты сдавали зачеты, готовились к летней практике. Он оторвался от этой жизни, оторвался от недавних товарищей. Здесь был он чужд, и мысль о предстоящем исключении, к которой привык он вначале, теперь ужасала его. Как будет он жить? Как посмотрит теперь в глаза он Лебедкину, Ягодкину—людям, так дружески поверившим в его труд, в его желание учиться и завоевывать жизнь? Может быть, если б за это время не только там, в доме, где собирались поэты, а шире, всегласно признали б его талант,—он мог бы сказать, что бросил для этой дороги ту, прежнюю... Но реже писал он теперь и стихи. Скучно сочетались слова в этом его опустошении.

У Тани не хватило мужества жить, когда как-то зашлась ее жизнь. Слабая душа, не один такой тихий росток смёл суровый ветер городской пустыни. Но если его жизнь тоже зайдет в тупик окончательно, то не проще ли именно так—одним ударом все разрешить для себя?.. Он думал об этом часто, и это казалось теперь тем превосходным, единственным разрешением, с которым не страшны дальнейшие все падения, если они предстоят. Главное, нужны деньги, чтобы не остаться в том унижительном беспомощном состоянии, когда единственно нужда затмевает надежды. С этой мыслью он жил теперь. И с этой мыслью решил для себя он однажды, в тот полынный и памятный вечер, который страшным ударом толкнул его в спину на пути дальнейших и роковых решений,—в этот вечер решил он сам для себя, без советчиков, окончательно испытать судьбу.

Как раз в эту пору уехал Курепов на подмосковную с'емку, и Безсонов мог не бояться, что встретит его в этот свой решительный вечер. Он решил, что так же искусно и осторожно, как тот его учил, начнет он игру. Эти пятьдесят рублей, которые отложил он в карман от всех своих денег, определяют его судьбу; с ними он раздует игру, или проиграет их—и уйдет, чтобы больше сюда не вернуться. Знакомое чувство волнения и предвкушения, какое испытывал он постоянно, входя в этот зал казино, томительною истомой протягивалось в концах пальцев. Сегодня придет он сюда один, без советчиков, и сядет за стол полноправно со своими деньгами, а не станет топтаться за спинкой чужого стула. Возбужденный всем этим, с зыбкой пустотой в душе, с трудом дождался он вечера и в половине одиннадцатого был уже в казино. Золотыми огнями, блеском зеркал и обещающим шорохом денег встретило оно его в этот час! С десяток людей разных племен и наречий сидело за крайним столом. Молодой человек с благородным лицом упитанного Цезаря, в страшно модном воротничке, с полосатеньким бантиком галстука, зорко поглядел на него и попугайным голосом, полным посулов и уважения, крикнул:

— Есть свободное место, месье!.. Второй банк от руки.

И Безсонов, не в силах отказаться, с трепетом сел в дубовое креслице. Десяток людей, игравших за этим столом, проворным и запечатляемым кругом прошли перед ним. Рядом, направо, сидел тот же косой армянин, с которым вел еще Курепов игру и который приходил сюда каждый вечер; дальше—очень молодой и конфузющийся человек, в аккуратном бежевом пиджачке, ворочавший большими деньгами, которые ставил всегда невпопад, покупая все банки, немедля же лопавшиеся в его несчастливых руках; вероятнее всего, был он послан в Москву откуда-нибудь из провинции в командировку, но запутался в казенных деньгах, и теперь на редкость бездарно старался освободиться вполне от их тяжести. Поминутно, с выражением розового ужаса на детском лице, он обращался к соседу, сосредоточенному и мрачному человеку, со средневековым звуком скрипевшему искусственной металлической левой рукой. Человек

выигрывал мрачно, без единого отблеска на червленом лице, словно задавшись безжалостной целью сокрушить, стереть с лица земли это розовое существо.

Подальше, яблочно желтея девическим лицом, сидел китаец, один из тех, что торгуют сумочками и поясами на Лубянском проезде возле памятника Первопечатнику; китаец то и дело скалил желтые зубы, словно страшно доволен был, что тоже участвует в этом празднике, и проигрывал не менее безнадежно, чем розовый провинциальный растратчик. Еще дальше, огибая яичную округлость стола, сидело много потертых несвежих людей, из которых выделялись особо совершенно экзотический сарт в небесно-голубом халате, с красивым и смолянобровым лицом, очень набожно прикасавшийся к картам, и деревянный дядюшка-лесовик, словно наспех вырубленный и обтесанный топором, с медвежьей шкурою бороды и совершенно дремучий. Как попал он сюда, может быть, для устрашения всей городской этой нечисти, но у лесовика лежали деньги в голенище сапога, он доставал оттуда тряпицу, разматывал ее и мохнатой ручищей забрасывал их в это капище. Таков был круг людей, сидевших вместе с Безсоновым и как бы насторожившихся, как поведет себя этот новый пришелец. Прекрасные, однако, обещания сулил упитанный Цезарь, с первого взгляда обративший на Безсонова свою благосклонность. Деревянный лоточек, устойчивой ладьей проплывавший по этому зеленому морю страстей, дополз до Безсонова.

— Ваш банк, месье!—попугайным, но не неприятным голосом прокричал крупье.

Дрогнув, Безсонов достал десять рублей и положил на лоточек. С угрожающим коварством косой армянин приблизил карты к самому носу и выбросил их тотчас на стол, словно они ему опалили бровь. Черная ехидная девятка пик и меланхолическая дама безнадежно легли на сукно. Банк был сорван по первой руке. И армянин с обидною торопливостью запрятал червонец в самую глубину своей пачечки денег. Опять медлительно и скучно пополз лоток с картами по кругу стола, из одних рук в другие.

Банк заварил китаец. Со слабой своею улыбкой, словно вставил он между губ кусочек лимона, дал он вторую и третью карту. Из десяти рублей у него стало восемьдесят. Как бы окунаясь всею медвежьей своею тяжестью, ухнул в эту прорубь лесовик. С тою же неживою улыбкой выкинул китаец восьмерку. Сразу запотев, полез лесовик в голенище за тряпицей с деньгами. Сто шестьдесят рублей разобрали пять игроков. Выжидая, замер стол, глядя на этот поединок. Карты поползли из лотка, и с тою же ловкостью мгновенье спустя выбросил китаец восьмерку. Ясно было, что теперь продаст он этот удачливый банк, который со следующей картой, несомненно, лопнет. Крупье приготовился увенчать его торжество, но с каким-то буддийским упорством, как бы не понимая, что идет к своей гибели, китаец продолжил банк. Хотел ли сделать он состояние, напав на

золотую эту жилу, или, действительно, не понимал ничего в игре, но он дал роковую эту пятую карту, которую с хищною жадностью ожидали вокруг. Мигом разобрали эти обреченные деньги, готовые посмеяться над неудачником.

— Делайте ваши ставки, господа!—закричал крупье и устремил на Безсонова выжидательный взгляд.

Почти не помня себя, замороженный этим взглядом, Безсонов выкинул разом все сорок рублей, приготовленные для игры. Первым по старшинству взял карты розовый молодой человек, покрывший горячо половину. Это было игрокам неприятно, молодому человеку не везло, но ставки уже были сделаны. С замершим сердцем следил Безсонов за движением рук растратчика. Вот сдвинул он эти две карты, раздвинул, порозовел—и уголком показал китайцу судьбу: с валетом червей шла восьмерка. Все так же улыбаясь безвольно, китаец опрокинул мизинцем лежавшие перед ним его карты. Жирно чернея, девятка и такая же черная десятка угрюмой угрозой дыхнули на весь этот стол.

— В банке девятка... понт проиграл!—закричал крупье и ловким движением сгреб лопаткой к себе вороха бумажек, лежавшие на столе. Сорок рублей Безсонова смешались в их безымянной куче.

— Желаете дать еще карту, месье?—приглашающе и желая уравновесить эту картину разгрома, крупье обратился к китайцу, но китаец, только что будто очнувшись от блаженных видений, покачал головой и принял в обхват своих желтых рук богатую грудку денег. С минуту еще не понимал ничего, что случилось, Безсонов. Вдруг понял он с безнадежной очевидностью, что пятидесяти рублей, которые он отложил на игру, уже нет. Их слизнула лопатка крупье в один незаметный миг. Пот жарко выступил на его лбу. Теперь нужно было встать и уйти, как решил он заранее. С самого начала сегодня судьба отвернулась, и так Курепов учил, что если с начала отвернулась судьба, незачем ее больше испытывать. Но как уйти, выбросив на ветер пятьдесят рублей, не пытаясь их отыграть? А, может быть, следующий круг уже несет ему невиданную удачу. Нет, немного еще он останется здесь, только посмотрит, приглядится к возможностям... И он не ушел, а остался.

Не вспыхивая случайностями, скучно после этой фанфары китайца поплыл лоток по столу. Не признаваясь себе в этом движении, Безсонов достал еще из кармана новенького своего костюма пятьдесят рублей. Три раза понтировал он неудачно и едва сберег для банка десять рублей. Он положил эти десять рублей и сдал карты. Проворно и жадно пошел на них армянин и попросил карту. Безсонов открыл свои: шестерка и туз ревниво его берегли, и он дал армянину жира. Три унылых валета развернулись строем в его руках.

— Баккара!—прокаркал крупье, и армянин недоуменно заплатил в банк две самых старых пятирублевки, с которыми менее всего жалко было ему расстаться. В погоне за ними пошел он снова, и Безсонов

дал ему в прикуп—пустую десятку. С пламенной ненавистью посмотрел армянин на него косым глазом. До смерти было жалко ему этих тридцати своих загубленных рублей. Быстро погадал он по цифре рублевки и пошел на выручку кровных денег. Замирая, вытащил Безсонов карты; армянин не пожелал прикупить. Упорная семерка, во всяком случае уже не проигрывавшая, глянула кверху. Армянин прошипел, побагровел до корней волос и принялся расстегивать жилетку.

— В банке восемьдесят рублей, — благословляя, через головы крикнул крупье.—Продаете, месье, или даете дальше?

Беспомощно глянул Безсонов округ. Все выжидательно притаились. Ни одного сочувствия, ни одного одобрения. В короткие секунды прикинул он: если придет еще карта, он снимет сто шестьдесят... а это именно поворот судьбы, именно над ним, может быть, сейчас засияла звезда, которой он предпочтет скупую опасливости! И мгновенно, словно боясь раздумать, он выкинул карты. На весь банк целиком, заливаясь девичьим пламенем, воскрылив в этом движении, пошел провинциал в бежевом пиджачке. Сейчас с обычным сокрушением он проиграет и станет отсчитывать восемьдесят рублей. Так оно и было, он сморщился, отер потным пальцем лоб и только было хотел попросить прикупочку, как вдруг, разом округлив глаза, совсем по-детски и восторженно крикнул:

— Девятка!..

Он выбросил карты на стол и, заливаясь улыбкой, делился со всеми своей неслыханной радостью:

— Девятка... а я ее за десятку принял. Хорошо—не купил...

Он ерзал и восторгался, хотя никто вокруг не поддерживал этого его восторга. Счастливый, улыбаясь, он придвинул к себе первый свой выигрыш. Огромная, неудержимая досада зашумела в Безсонове. Зачем он погнался за неверными этими восьмьюдесятью рублями и потерял все?! Восемьдесят рублей мог он снять, отложить на игру, как учил Курепов. Теперь снова был он ни с чем, и уже не пятьдесят, а сто рублей ушли незаметно. Нет, в следующий круг он будет умнее, даст только три карты — и ни одной более...И он стал ждать, уже сгорая и ненавидя игроков за медлительность.

Но банк застрял у человека с железной рукой. Скрипя этим зловещим средневековым предплечьем, сумрачно принялся он сокрушать притихнувший стол. Словно отпирая тяжелые замки, с таким же звуком поднимал над столом он свою железную руку. И первым напоролся на это орудие простодушный мужичек-лесовик. Дважды пошел он на весь этот банк и дважды сокрушено лез в голенище, добывая заветную свою тряпицу. Пострадали и потертые людишки, совавшие по мелочам и всполошенно потянувшиеся отыгрывать эту мелочь. Пришла очередь пожариться сарту. С восточной медлительностью пошел он тягаться с этим порождением Войны. Он медленно глянул карими миндалинами глаз из-под соболиных бровей на карты, а уже тяжелым танком шел на него своею девяткой железнорукий враг. Сарт засу-

нул руку за пазуху, невинно голубея цветами и шелком халата, и достал европейский бумажник. Теперь, разметав мелочь по остальным, прямо на него, Безсонова, надвигался этот сокрушительный танк. Человек пламенно и бездонно глянул на него, и вдруг в этом взгляде, прикрывавшемся равнодушием и отвагой, прочел Безсонов, что смертно боится человек за эту последнюю карту, которую решил он дать. Минуту назад сгоряча он ошибся в расчетах, и если б была сейчас его воля, он смёл бы весь банк к себе, чтобы не испытывать больше судьбу. Он встретился с ним глазами и ждал. Четыреста двадцать рублей были в банке, и теперь последнее слово, которого так боялся человек, было за ним, Безсоновым. Безсонов быстро прикинул: у него было пятьсот рублей, когда пришел он сюда, сто он проиграл, осталось четыреста. А что если сразу пойти на половину, не скоро придется ему такая верная шестая или даже седьмая карта... Двести рублей—одним движением, в один взмах ресниц,—и сейчас же розовый провинциальный растратчик с проворной готовностью спросил:

— На-пополам?

Безсонов кивнул головой и протянул к лотку руки.

— Обеспечьте деньгами,—сказал низким басом, словно пробили где часы, железнорукий человек.

Безсонов судорожно расстегнул пиджак и дрожащими пальцами отсчитал двести заветных рублей. Человек дал карту. Два короля, балаганно ухмыляясь, в шутовских коронах, глянули на Безсонова широкобородатыми лицами Фальстафов. Он не справился с голосом и сказал хрипло:

— Карту.

— Карты не будет,—торжествуя и мрачно ответил противник.— Восьмерка.

И железная рука проскрипела, словно задвигая засов за его удачей.

— Банк продается! — завопил сейчас же крупье. — Кто сколько дает, месье?..

— Тридцать... сорок... шестьдесят! — предлагали сидевшие за столом.

— Покупаю, — сказал вдруг Безсонов совершенно чужим и себе самому непонятым голосом.

Тем же, но уже замедленным и холодеющим движением, достал он последние двести рублей. Крупье мгновенно устремил к нему деревянный лоточек. Тишина выпрямилась и простерлась над столом. Лица запламенели; люди жадно и торопливо пересчитывали бумажки.

— Дайте карточку о-ребур, — словно из глубины веков сказал тот же железный, ненавидимый и ужасающий голос. Опять заскрипела рука. Безсонов дал карты.

— Девять!—спадающей гильотиной сорвался через секунды голос.

Безсонов поглядел на человека, не увидел его, лопатка крупье сейчас же перекинула к тому белую птицей двести рублей, и провор-

ная чужая рука отняла равнодушно лоточек. Безсонов посидел еще, опустив голову, чтобы не подумал никто, что это его последние деньги, и минуту спустя поднялся. Он вышел в вестибюль и остановился у лестницы. Снизу, из зеркала, глядел на него человек в новом ненужном костюме, нестерпимо и жалостно на него похожий. Брат или друг. Они шагнули друг другу навстречу и улыбнулись вдруг такую улыбкой горечи, что сердце его захолонуло от сокрушения и жалости к себе и к этому человеку. И сейчас же розовый провинциал нагнал его на ступеньках, засунув руки в карманчики бежевого пиджачка и обогнав немного, заглянул в лицо и сказал с детским ужасом:

— Все проиграл... совершенно ужасно. Мы с вами коллеги, как вижу... извиняюсь.

XXXI

По-новому, с новым чувством, точно прозрев, проснулся он после мучительной ночи... Может быть, через месяц придет Ягодкин еще двадцать рублей, а сейчас можно продать свой новый костюм, опять начать бегать в столовку, снова повести знакомую прежнюю жизнь,— но вот тут-то непоправимое: то, от чего за месяцы эти так он отстал, ему не догнать. Весной исключат его за малоуспешность. Много желающих найдется на его место. Вот когда тупичек, запаянный круг. Он ничего не сумел: ни учиться, ни стать настоящим поэтом, ни даже сберечь так случайно доставшиеся огромные деньги. В мечтах он прошел свою юность. О замечательных странах ему говорили Макар Макарыч и даже Катька-гулящая, а вместо стран и мечты о труде — дымная зала казино, в которой бездельники, растратчики и неудачники пробовали найти свое счастье. В туман, в небытие, точно снилась, ушла Таня, чудесной надеждой засеявшая его душу, и вместо Тани бесстыдно и уверенно явилась Вера Никольская... Так прав же Свербеев тысячу раз в своем великолепном практическом цинизме, что сейчас не время мечтателям!.. А если нельзя мечтать и если не может он делать жизнь, как умеют это другие, не лучше ли уйти — просто, необычайно просто, как сделала это Таня Агурова. И мысль о самоубийстве показалась ему необыкновенно желанной и разрешительной.

В эти дни своих горчайших раздумий, когда он решал для себя свою жизнь, по-особому, по-новому писались стихи... Почти не выходил никуда он все эти дни; так же по-студенчески со всеми бегал в столовку, слушал уже во многом непонятные лекции, стараясь вернуть себя на дорогу; но тут же он понимал, что жить этим больше не может. Уединяясь, пользуясь уходом товарищей, помногу писал он стихи. Ему казалось, что ныне звучат они голосами всех пережитых им чувств. Ярыми днями, полными жидкого февральского воска, близились кануны весны. Мятый серый снег месился под санями, и в переулках слышны уже были крики петухов. Скоро забушует февраль талыми сырыми метелицами, которые поутру капелью и сырью растопит

рыжее солнце, хорошо обвивая землю золотой куделью. В эту пору всегда безмерно, дико хочется жить, слушать петушинные весенние крики и мечтать о странах, в которых никогда, вероятно, не придется быть.

С тетрадкой своих стихов, полный новых надежд, в одно из праздничных утр Безсонов отправился к Донцеву.

— Лодий Петрович, — сказал Безсонов и дрогнул даже от страстного этого чувства, — помогите мне стать поэтом! Сейчас так зашла моя жизнь, что, может быть, только это единственно может ее повернуть и направить.

С надеждой и жадой смотрел он теперь на человека, который мог повернуть стрелку его пути. Если бы все это так разрешилось, он бы знал, к чему теперь прикрепить себя в жизни и как снова найти в ней мечту и свое оправдание.

— Что ж, это можно, — с раздумчивой неопределенностью ответил Донцев, — мало ли я помог...

И Безсонов вспомнил всех этих деревенских парнишек, в потном восторге читавших стихи, оторвавшихся от работы, ночевавших на скамейках бульваров, быстро линяя в сельском своем задоре и заполняя хмель и грустить над судьбою поэта в дымные и полные солодовой изжоги пивные.

— Нет, я по-настоящему хочу стать поэтом, или совсем стать, или никак не стать.. Сочиняют стихи, наверное, несколько тысяч, а печатаются меньше ста человек, и вот с теми, с тысячами, я не хочу быть, Лодий Петрович.

— Ну, что ж, конечно, — ответил тот очень скучно, — был бы талант, а остальное приложится...

В душевном мраке спустился Безсонов по лестнице его дома. Так вот пристань — сделаться этим тысяча первым питомцем, бродить из одной в другую редакции со свертками возвращенных стихов, непризнанным гением ночевать на бульварах, а жизнь все так же великолепно нестись будет мимо, сметая в ненужный мусор непризнанных неудачников. Нет, в таком случае кончит он и с Донцевым, как решил для себя — кончить со Свербеевым, уединится от всех, соберет себя заново в уединении и по-новому начнет складывать кирпичи своей жизни...

В бурьяне этих колючих надежд и новых в себе голосов вернулся он в общежитие. Он искал тишины, уединенья, обращенья в себя, внутрь, в то захоженное за эти месяцы вместилище своей души, где могли еще по-молодому, по-яркому зацвести былые надежды. Но именно в это время, в эти часы его уединения, в эту тишину, которую старался восстановить он в себе, — с неистовой силой, с искаженным лицом, уже утратив былую вкрадчивость и пронзая острием угреватого носа, как пикой, ворвался Свербеев. Вид его был необычно смятен, и в одну лишь минуту он смял и его, опрокинув и чудовищно и безжалостно растоптав его новые замыслы.

XXXII

— Ты чего тут нюни распустил?—завопил он, кропя его слюной сквозь передние редкие зубы.—Сам заварил дело, а потом по-монастырски, в келейку, моя хата с краю... Нет, брат, здесь такое развертывается, что если мы себя не оправдаем, то тут нам и крыша... заупокойную службу у своих угодничков заказывай. Идем отсюда, здесь разговор не на месте... я тебе все расскажу, как выйдем.

Никогда не был в таком волнении Свербеев, и хотя говорил он резко и как бы играл своей этой резкостью, видно было, что находится он в полном смятении. Пять минут спустя вышли они из общежития, пошли поспешно по улице и вскоре пришли в ту пустынную в дневной этот час пивную, где впервые многое рассказал Свербеев о Тане. Они сели поодаль у окна, служащий принес две толстых пузатых кружки с пивом, и, не вытерши еще пены с губ после первого жадного глотка, Свербеев придвинул узкое, как лезвие, свое лицо и стал говорить:

— Я в твоё душевное дело не мешаюсь, Кирилл... может быть, ты и в упраздненный монастырь поступишь, или Пушкиным станешь, Руслана и Людмилу напишешь, это дело твоё семейное. Но в одном дельце мы с тобой не в семье работали, а общественно, так сказать... ты ничего не знаешь?

— Нет, ничего,—с изумлением и страхом смотрел на него Безсонов.

— Ну, так вот, слушай: вчера ночью взяли Наума Робертовича. Взяли и повезли,—не к цыганам, конечно. И теперь пойдет он топить всех и каждого, чтобы крокодилью свою шкуру спасти... понял? А раз начнет всех топить, то и нас с тобой в том числе, и дело не только в том, что позор и что из института нас выгонят, а ведь показательный процессик насчет оторвавшихся студентов непременно устроят, это уж будь покоен. Два года за такое дело нам обеспечены, ну и твоему этому—Лебедкину назидание за доверие к проходимцам. Это ты понимаешь, Кирилл?..

Легко и зыбко опустело внутри, словно ветерок вентилятора заработал в ледяной пустоте, и с ужасом спросил Безсонов у этого страшного вестника, ворвавшегося в его жизнь, чтобы заново и уже окончательно ее опустошить:

— Что же теперь делать, Свербеев?..

— А вот что теперь делать... об этом и нужно поговорить. Для этого и позвал я тебя сюда, в пивную. Вот что я придумал, Кирилл, твердо и железно придумал... и ты слушай меня и не перебивай, пожалуйста,—сказал Свербеев через минуту, отпил горчайший глоток пива и задумался, скосив глаза на кончик своего узкого носа. Папироска между тем тлела и дымилась в крючке его пальцев.— Нам нужно сейчас же, до той поры, пока еще не потопил нас Наум Робертович, покрыть мануфактурную недостачу. То-есть заявить

в кооператив, что вышла ошибка в фактуре и следует дополнить вторую партию... понял? Надо приобрести немедленно эту вторую партию и доставить в кооператив. Тогда пусть нас топят Наум Робертович: мы, сколько получили по распределению, столько и доставили.

— Но откуда же взять эту вторую партию? — ужасаясь, спросил Безсонов. — Второй раз к Лебедкину итти?..

— Лебедкин здесь не при чем. Вторую партию нужно купить на рынке... и нужно сделать это возможно скорее, пока еще Наум Робертович на допросе не весь обнаружится. Нужно купить мануфактуру на рынке, и нужно для этого не меньше полутора тысяч... У тебя есть деньги?

— Нет... — сказал Безсонов, мучительно стыдясь открыться перед ним, — денег у меня нет..

— Пристроил уже? — и Свербеев презрительно дунул носом, — эх, ты, гусар... Впрочем, и у меня денег нет... вышли! И у Курепова нет, это я тоже знаю. Что же получается, Кирилл? Под суд, на чистую водицу, на скамеечку в показательном процессе? Нет, врешь! Я так не сдамся. Я пока всю обойму не очищу, буду сражаться. И вот тут подошел я к самому главному.

За окном пивной, на котором по-кардинальски - красно ярился рак, деловито проходили люди; был февральский, желтый, тающий день. С крыш стучала капель. Золотые полотнища света проникали и в сумрачную эту пивную, которая своим унынием и скудостью все же не могла угасить предвесеннего и просторного ликования дня. И, глядя в оцепенении и тоске на проходивших, беспечных, не виноватых в этом страшном деле людей, Безсонов услышал главное:

— Подошел я к самому главному, — сказал снова Свербеев, — и не можешь ты не понимать, к чему я веду. Ведь недаром всю эту зиму путались мы с Челищевым... Вот, Кирилл, единственное спасение и разрешение!..

Не понимая, поглядел на него, долго, страдальчески сдвинув брови, Безсонов.

— Ты бровей не сдвигай!.. Я тебе не о высоких делах говорить собираюсь, а, может быть, об очень темных, но сейчас такое у нас положение, что выбирать нечего... У Челищева деньги есть, это мы с тобой знаем, и немалые деньги. Челищев Таню обесчестил и, может быть, первый виновник ее гибели... тогда после Тани решили с тобой мы так обернуть это дело, чтобы оглаской ему пригрозить. Теперь я это все наново обдумал и вижу, что время для огласки прошло... для огласки нужны доказательства, а какие у нас с тобой доказательства? Кто докажет, что был у Тани романчик с Челищевым? А если и был, кому до этого дело... тогда по горячему следу можно было еще припугнуть его этим делом, тогда он, может быть, и пошел бы на все, а сейчас он остыл, да на прохладце нас еще за клевету привлечет и прав останется. Нет, брат, здесь теперь нужно действовать грубее, — может быть, и так, как вовсе я не хочу, но одно только

помни, — без челищевских денег нам с тобою не вылезти, вместе будем в показательном на одной скамейке сидеть, да года на два засыплют, это уж будь уверен.

— Как же быть теперь, Свербеев?—спросил Безсонов тоскующе и поглядел на него запавшими сразу, большими глазами.

— Вот это-то и самое главное: как быть? Принудить надо Челищева, чтобы дал денег, а не захочет...

И вдруг пересохшими губами Безсонов спросил шепотком:

— А тогда как?

— Отнять, — глядя мимо него, не сразу ответил Свербеев.

— Отнять?.. То-есть как же отнять?—в нарастающем ужасе вцепился руками в липкий мраморный столик Безсонов.

Беспечно отвернувшись к окну, Свербеев преувеличенно жадно затягивался папирской.

— Как отнять?—спросил он спокойно минуту спустя и поглядел на него белесыми, уже злыми глазами.—Как отнять, дорогой товарищ Безсонов, розовый поэт с золотым разливом волос... очень ты Верке Никольской девственным своим ландшафтом понравился... как отнять? А как отнимают обыкновенно? Приходят к человеку и говорят: отдай добром, а не отдашь,—отнимем!

— Это что же, значит, грабеж?—почти беззвучно спросил Безсонов.

— А тебе не все равно, за что тебя будут судить: за мошенничество с мануфактурой или за грабеж?.. Могут по совокупности, конечно. А может выйти и так, что испугается Челищев скандала и захочет покончить миром. Разлюбезное дело, милости просим! Сами не желаем лезть в неприятность. Все-таки Таню так легко он со счетов не скинет...

— Послушай, Свербеев, имя Тани не может участвовать в этом деле,—сказал Безсонов, уже дрожа,—имя Тани ты оставь... не ее именем наши с тобой ужасные дела исправлять.

Свербеев потушил зашипевшую папиросу в пивной лужице на столе.

— Дела наши не ужасные, положим, а самые обыкновенные, только неважные, конечно... а именем Тани не для себя хотим мы воспользоваться, а чтобы напомнить Челищеву, что не все делишки проходят даром. Если хочешь знать, обязанность твоя даже в этом! Впрочем, не знаю, может быть, и врал ты тогда насчет своих чувств к Тане...

Как стеклянно, неудержно капала капель в золотой этот час! Как пахло близкой весной на московских, сияющих солнцем и тающим снегом улицах, а он был здесь, в пивной тюрьме, где пахло прогоркло человеческим бредом и одурью, и близко сидел человек, смотревший на него неумолимым взглядом и неумолимо звавший с собой на страшное и последнее дело.

— Послушай, Свербеев, — сказал он погода, стараясь овладеть собою совсем,—а если я тебе скажу, как человек человеку, по

самому хорошему, что ничего не могу я больше делать, что устал я совсем и запутался... окончательно запутался, брат. Отпусти меня, я, может быть, себя еще выправлю, направлю на дорогу, а ведь так я совсем лечу, до конца, без всякого удержу... Я стихи хочу писать, — может быть, если со стихами не выйдет, в провинцию уеду, на завод поступлю... у меня есть люди, они мне помогут. Но только сейчас отпусти!..

Он говорил с огромной искренностью, умоляюще смотрел на Свербеева, в котором было теперь, может быть, окончательное разрешение его судьбы. Но Свербеев, глядя холодно и брезгливо, с непонятною злобой и ужаснувшей его открывшейся безнадежностью, ответил:

— Ты, вижу я, гладкий, между рук проскользнуть хочешь и в поэзию удариться... а мануфактурные денежки где? Ты сначала денежки выложи, а потом в поэзию ударяйся. Тогда, может быть, я тебя и выпущу... а ты угрем из опасности выскользнуть хочешь? Ну, так вот, я тебе свою линию на этот счет изложу, а понимай как знаешь. Я считаю, что нет подлости большей или меньшей, одна есть только подлость. Ты ведь на то, чтобы другу Лебедкину солгать — пошел? Нет, ты ответь, пошел? Почему же ты перед Челищевым вдруг задумался? А, может быть, именно благодаря Челищеву, ты своей подлости насчет Лебедкина не обнаружишь! Замажешь щель — и преотлично при этом. Это я про духовную сторону дела, так сказать. А про фактическую — ну, тут и говорить я не стану. Без челищевских денег выхода нет, а через неделю-другую Наум Робертович топить нас начнет, как щенят. Ты, может быть, желаешь не противиться этому, а я не желаю!..

— Но как же так... если бы даже насчет Челищева мы и решили? — спросил Безсонов и вдруг с такой ужасающей отчетливостью увидел, что будет с ним, когда обнаружится дело с мануфактурой. Про него, Кирилла Безсонова, узнает Лебедкин, что он его предал и подло обманул и солгал. Принять весь этот позор до конца — в то время как сыто и торжествующе будет продолжать свою великолепную жизнь Челищев, готовясь сейчас же после весенней экзаменной сессии укатить за границу. Где-то на Ваганьковском кладбище, неотомщенная, к весне уже проросшая первой травой забвения, останется детская могилка Тани Агуровой, а он, Безсонов, отказывается в эту минуту от малого возмездия Челищеву... — Прав, прав Свербеев, который говорит, что гладеньким хочет он выскользнуть, не запачкавши ручек, когда позади такие огромные подлости — его подлость перед Лебедкиным и подлость Челищева перед Таней... Преступление? — а разве не преступление все, что он делал с собой эту зиму, разве не преступление так оторваться, так себя потерять, так захмелеть от лживых, городских, приснившихся обольщений?! Загораясь, словно хмелея от всей этой мути, подступившей к вискам, обратил он к Свербееву глаза, туманящиеся от восторженного ощущения всей его неслыханной низости.

— А если бы даже так, Свербеев... — Он допил пузатую кружку до конца и слегка задохнулся, — если бы даже так, в самом деле... Почему мы должны принять на себя все осуждение, а Челищев безнаказанно укатит в Париж?

— О чем же я говорю? — почти в голос ответил Свербеев. — Не убивать же Челищева зову я тебя, а только как можно умнее воспользоваться нашим правом. А знаешь, как умнее всего, Кирилл?.. — И Свербеев жадно приблизился ближе, насколько мог. — Нужно раздобыть план квартиры Челищева, — сказал он совсем незнакомым, присвистывающим шепотком. — А после я тебе раз'ясню... после все само собой раз'яснится. По плану все определим, как и с какого конца начать действовать. А план раздобудешь ты... отправишься на квартиру к Челищеву и будешь просить, чтоб несданный зачет позволил тебе он сдать в весеннюю сессию. Понял, Кирилл?.. Не преступление, а спасение самих себя, это ты помни. А преступление, это когда люди гибнут, а не тогда, когда они ищут способов спастись.

XXXIII

Страшный уход из жизни Тани Агуровой глубоко потряс Челищева в той внутренней его успокоенности, какую старался он в себе углубить после последней их встречи. Как это случилось? Как мог он, настоящий, глубокий, большой человек, так поверхностно пройти мимо, так пропустить растущую трагедию этого существа? Пусть это был только душевный излом, одна истерия, но ведь горькая доля его вины есть во всем этом. Очень долго, ряд дней ощущал он приниженность, раскаяние, ужас. Но как каждый здоровый, уверенный в себе, удачливый человек — быстро, впрочем, выработал он в себе противоядие: в конце концов, повинен не он во всех запутанных сплетениях женской судьбы; стремился не он к этой девушке, а сама она искала его — и, наконец, она сама спокойно приняла тогда, на скамейке бульвара, свое решение. А раз это так, мог ли он предвидеть дальнейшее, невозможную и искренне потрясшую его бессмысленностью и распадом катастрофу?..

Так, выработав в себе разумные и неотразимые противоядия, уверив себя до конца, что не он виновен в этой трагедии, Челищев с удвоенной силой отдался жизни. Прежде всего, после всех потрясений, с чувством восторга и благодарности ощутил он незыблемую прочность, твердыню своего дома. Все было на месте в нем, налажено, прочно, обстоятельно и удобно. И над всем этим привычно и прекрасно царила женщина, настоящая спутница жизни. В зрелой и великолепной красе, прекрасно сознающая роль, какую играет муж в обществе, с достоинством и гордостью нося его имя, уверенно вела она совместный корабль их жизни. И сейчас под эту защиту прильнул он с горячностью после всех отречений. Точно заново после разрыва, радостно и полно ощущали они друг друга теперь. Приятно

и не скучно было оставаться дома по вечерам, работать до одиннадцати вечера в своем кабинете и выходить к чаю, тепло и благодарно наблюдать, как прекрасными и ленивыми движениями жена разливает чай, как чуточку грузно, опять-таки приятной и волнующей грузностью, оседает она над столом, как улыбается ровной и неторопливой улыбкой,— и далее, в спальне, в белом чепце, как зрелая славянская Фрина, читает в постели книгу, грызет яблоко, а над всем розоватый, уютный, благословляющий свет настольной фарфоровой лампы. В эти вечера, словно заново найдя друг друга на земле, подолгу строили они планы, говоря о Европе, чуть туманясь зовущими и волнующими обещаниями жизни и пепельным обликом далекого Парижа.

Еще с осени стал откладывать Челищев деньги на эту поездку. В банке или у случайных знакомых покупал он, как только случались свободные деньги, знакомые длинные зеленоватые бумажки. Эти деньги хранил он сначала в столе, а затем отдал жене, и она сохраняла их в каком-то своем потаенном хранилище. К моменту поездки хотел он округлить эту сумму до двух тысяч долларов. И самое главное, что все эти деньги — были трудовые, добытые большим трудом изобретателя, профессора, лектора... Ни одной случайной копейки, за все расплачивался он полноценно своим опытом, практикой, знанием. Страшная гибель Тани отрезвила его, вернула целиком к работе, и он работал теперь с удвоенным усердием и страстью. Труд, труд, только труд, — трудом пробился он в жизни, трудом созидал ее. И больше всего ненавидел Челищев случайных людей, бездельников, лентяев-студентов; к ним он был беспощаден. В один из дней снова к нему явился Безсонов. Давно уже безотчетно не взлюбил Челищев этого золотоволосого, лентящегося, как с самого начала он уверил себя, паренька.

Его раздражал этот колеблющийся, неуверенный, сам не знающий, что ему нужно — студент. Трижды тот приходил к нему в его отсутствие, и он узнавал его по описанию прислуги.

— Вы, кажется, обязались сдать зачет в январскую сессию? — спросил он его очень холодно. — Сколько мне помнится, зачета вы не сдавали.

— Я не успел, — ответил Безсонов, сразу теряя нить и ощущая лишь прежнее душное смущение перед этим человеком.

— В таком случае, что вам угодно теперь? — спросил Челищев уже раздражительно.

— Я прошу позволить мне сдать зачет в весеннюю сессию...

— А, может быть, осенью? Скажите, пожалуйста, товарищ Безсонов, какие причины мешают вам заниматься, как прочим студентам?

Безсонов молчал, почти по-мальчишески опустив глаза перед этим опустошающим его человеком. Временами он видел легкий размыв сидящих его волос, выбритый упорный подбородок и почему-то

особенно ненавистный, превосходно повязанный галстук в сероватых цветах. А Челищев говорил между тем, раздражаясь все больше:

— Вы приходите ко мне десятки раз на дом, хотя вам хорошо известно, что принимаю я в институте... наконец, вы совсем не хотите работать и сами не знаете, что вам угодно. Простите, товарищ, но мне некогда вести бессмысленные разговоры. Желаете сдать зачет весною,—пожалуйста, я не препятствую. Но избавьте меня в дальнейшем от этих ненужных бесед. И, главное, поймите, что нужно работать, нужно работать!

С унижительным чувством ушел отсюда Безсонов. Он вышел из дома, подавленный всем этим разговором с Челищевым, и вдруг даже содрогнулся от той великолепной и все позволяющей ярости, которую этот человек пробудил в нем вновь. Он перешел на другую сторону улицы, поглядел на освещенные, желто-затянутые окна и сжал кулаки. Погодите же, профессор Челищев, если так — то все позволено, прав Свербеев; если так — то он, Безсонов, найдет в себе силы, о которых никогда он прежде не знал... С туманящимися от возбужденья глазами, с ненавистью и ярой жаждой отмщенья, он шел и шел.

XXXIV

В квартире Челищева было пять комнат; некогда жил широко он в них, — теперь две крайних, ближе к кухне, занимали старушка, тетка жены, и ученица консерватории, дочь одной из приятельниц: так уплотнились Челищевы сами, чтобы не пустить посторонних. За три-четыре раза, что приходил он сюда, Безсонов точно составил план квартиры. Во всем этом маленьком доме-особняке было всего две квартиры: наверху жил Челищев, а внизу, уплотненный сапожником Феськиным, бывший владелец дома Урусов. При доме с внутренней стороны был маленький садик и двор с кирпичным каретным сараем, который взяло под достройку и переделало под жилье приехавшее с юга семейство.

На двери квартиры Челищева висела табличка: один звонок был Челищевым, два — Костянской, старушке и три — Безвековой, консерваторке. Сейчас же из передней налево была дверь в знакомый кабинет Челищева; подалее — столовая, которую видел мельком Безсонов, проходя коридором из кухни, ибо как бы случайно пришел он однажды с черного хода. За столовой шла спальня, тоже выходящая дверью в коридор, и далее по коридору были две комнаты — старушки и консерваторки — и кухня, возле которой жила та вышколенная и неприятная прислуга, враждебно и настороженно пускавшая его в квартиру. За эти недели совместно с Свербеевым узнал он еще много подробностей челищевской жизни. Например, по субботам с вечера на целые сутки, до воскресенья ночью, отпускалась прислуга, и в этот вечер обыкновенно Челищевы не уходили. Консерваторка играла в кинематографе на Плющихе, отправлялась туда к шести

вечера, к первому сеансу, и возвращалась не раньше часу. Старуха же тетка была глуха, богомольна, забиралась к себе с раннего вечера, и в жизни дома роли не играла.

Многое из этих подробностей узнал Свербеев у сапожника Феськина, с которым считал нужным свести дружбу. Этот сапожник Феськин был холостой, мелко-курчавый совершенно по-негритянски парень, любитель загулять, большой обожатель женского пола, у которого, кстати сказать, он люто не пользовался вниманием. Он заводил себе прекрасные сапоги, отличную гармонию - трехрядку, бывал очень фансонист и щедр на угощения, но было что-то отталкивающее в мелкой его овечьей курчавости, во всей его жилистой нескладной фигуре, в необычайном самолюбии отвергаемого человека, отчего девицы опасались и не любили его. Отвергаемый, начинал он скандалить, напиившись, срамил женщин и выносил хмельное свое беспокойство на улицу. В доме его боялись и не любили, а бывший владелец Урусов с момента, когда вселили ему в квартиру Феськина, считал свою жизнь конченной.

Феськину в первый раз принес Свербеев для починки штилеты; принес затем он ему поставить набойки к охотничьим сапогам, над охотничьими сапогами разговорились об охоте и о том, кто с какой прицелкой стреляет из ружья. Тут, говоря об оружии, Феськин похвастал, что может слету разбить сырое яйцо, а научился стрелковому этому делу он у зеленых, с которыми два года пропадал на Украине в лесах. Тогда рассказал ему Свербеев о том, как их дивизия выбивала из лесу зеленых, и такое свели они в этот раз преинтересное знакомство, что решили разговор продолжить на воле... Так уговорились они о новой встрече — в столовке у грузина на Бронной. Удивительно весело и приятельски провели они этот вечер их встречи!.. Феськин пришел в новом романовском полушубке, ядрено и остро пахнувшем овчиной, распахнул его на груди пушистым голубоватым мехом, сел напротив Свербеева и, как бывалый гость, подмигнул хозяину, приглашая к столу. Хозяин, сиренево-бритый грузин, в мерлушковой шапке и с перепоясанной ремешком девической талией, достойно подошел к их столу.

— Желаю я угостить друга-приятеля, — сказал Феськин, полный избытка удовольствия, что нашел, наконец, собеседника по душе. — Знакомься, Серго, этот мне в роде земляк человек... я с им бился, может быть, — я в зеленых ходил, а он в красных, есть нам порассказать что друг другу. Так вот, братишка, сочини ты нам для начала перцовочки что ли и соляночку на сковородке...

— Шашлык есть хороший, молодому барашку, — посоветовал кавказец, домовито предлагая лучшее любезным гостям.

— Ну, что ж, можно и шашлыку... только гляди, чтобы луку нарежали нам колечками, ну, да ты, братишка, сам лучше понимаешь про это дело!

И Феськин от всех этих подготовлений совсем пришел в душевное высокое состояние.

— Ах, товарищ, товарищ, — сказал он и покрутил головой, — выходит нам теперь с вами жизнь довоенная... вижу я по вашим штиблеткам, что не стали бы таких вы носить, если бы не положение, — и я, может, не стал бы подметки ставить да дратву сучить, ежели б не жалкое мое состояние. А за что боролись, спрошу вас, неужели за всю эту рухлядь проливали кровь?.. богатые опять наверху сидят, а низкий класс, как был, так и остался.

— Богатые всегда наверху сидят, — ответил Свербеев не менее горько, — вот и вы тоже, Феськин, в нижнем этаже, а над вами профессор Челищев. И лучше живет, чем вы, смею надеяться!

— Челищев? — И Феськин высоко поднял многозначительную бровь. — Челищев так живет, как никто не откажется, первый человек. Он тебе на штиблеты не станет пятую латку класть, а выкинет на помойку. Орел-человек! Попробовали было насчет квартирки его притеснить, широко живет, мол, лучше всех, — так он до Кремля дошел, всюду у него своя рука имеется.

— Ничего, весною за границу уедет... недаром деньги копит, тысячи четыре уже навалил, и всё не успокоится, — сказал Свербеев как бы мельком, но Феськин выжидающе и внимательно поглядел на него.

— А вы откуда же все это про Челищева знаете? — спросил он не с слишком большим доверием.

— Не знал бы — не говорил... сам видел, как в банке он деньги менял, — ответил Свербеев небрежно и сейчас же свернул с этого разговора на другое, стал рассказывать, как выкуривали зеленых под Чистополем, но мысль, посеянная им вначале, глубоко запала, видимо, под узкую черепную крышку Феськина.

Они выпили перцовки, закусили ее селедочкой, хорошо разогрелись, и тогда с азиатским шиком повар в грязнейшем белом облачении и колпаке, с неистовым видом растлителя, прямо на двух лучинах принес им шашлык. Он сдвинул куски шашлыка на тарелки, обложил их цыганскими кольцами лука, и близко, лицом к лицу, повели дальше прейнтереснейший разговор Свербеев и Феськин.

— Боролись мы с вами в роде как на разных фронтах, — сказал Феськин, прожевывая на коренных куски совсем немолодого барана, — а выходит, что сидим с вами за одним столом и нечего было нам первоначально делить. Вы как есть голый человек, и я голый человек, а теперь прошло время, когда на бедняка надеялись да заступались, теперь середнячок погоду делает, а середнячок — знаем мы, что середняк; что кулак — одна шатия. Куда же нам теперь с вами податься? Нет у нас защитника никого, кроме самих себя, не так ли я говорю, любезный товарищ? На Маркса надейся, а сам не плошай.

Говоря так, натирал между тем себе глотку перцовкой Феськин, как теркой.

— Вот, кстати сказать, затеяли мы с вами разговор о Челищеве... позвольте, извиняюсь. Челищев тысячи копит, сами вы видели,

а мы между прочим на положении обиженного сословия. Резали, резали буржуев, а буржуи на захребетке нашем преотлично катаются, по довоенной норме, так сказать. А кто виноваты? Мы же и виноваты... мы, попустители, и виноваты! Взять бы, к примеру, этого Челыщева за заговор, тряхнуть его так, чтобы вся ученость с него слетела... Постой, научный работник, ты соль земли, за тобой из Кремля на машине приезжают, а я низкий класс, сапожник Феськин. У тебя тысячи, а я двадцать шесть часов в сутки работаю, пальцы на дратве стачал, это как называется? Твое тебе, а мое тоже тебе? Нет, постой, гражданин научный работник! Ты кровь проливал, на фронте дрался, контузию имеешь? А, в тылу отсиживался, книжками отгородился... ну-ка, походи, тачай сапоги, а мне твои тысячи подавай... Верно я говорю, дорогой товарищ студент? Тебе весело жить, а мне скучно... скучаю я, нет мне веселья в жизни, кончилось. Маленько повеселились. понадеялись, а теперь снова в подвал пожалуйте, к сапожкам ихней жене, гражданина научного работника, каблучки французские новые пригонять...

— А что же, — очень значительно посмотрев на свет коричневую рюмку, сказал Свербеев. — Профессора потрясти, ничего, кроме справедливости, не вытрясешь, это вы правы, Феськин. Денегки наши, народные, мы над ними ночи корпим, а их за границу увозят.

Что-то прошло между ними в этот решительный миг, как-то по-особому налились на узком лбу Феськина синие жилы, и глянул он на Свербеева так зорко, точно хотел прощупать его до самого дна. Усмехнувшись, заправил Свербеев кусок шашлыка луком и перцем и принялся жевать, услаждая предвкушеньем желудок.

— Одному лицу примерку не выдержать, — сказал вдруг очень загадочно Феськин. — Я вот скучаю, и вы скучаете тоже, и может у нас с вами выйти один интерес, так ли я понимаю?

— Совершенно точно, — ответил тотчас Свербеев не менее загадочным оборотом, — одну веревочку вить, канат для причала совьешь — не заметишь.

Очень Свербеев понравился Феськину, даже не позволил Феськин ему заплатить и обиделся, как это к его угощению так он относится. Затем уговорились они, что принесет Свербеев для починочки всякую обувь, какая найдется, и грузин бескорыстным и радушным жестом хозяина и хлебосола принял от Феськина деньги. Прекрасно согрела перцовка желудок, тяжелевший сытостью от шашлыка. И Бронная, веселая улица, на которой живет много славного народа, кавказцев кустарей со скромною вывеской — „Сандали Вартана лучши“, — лихо замигала Бронная навстречу зелеными пьяными лунами фонарей.

— Я прежде, чем к вам с моей починочкой притти, Феськин, навел о вас справки, — сказал Свербеев значительно, — и выяснил, что подходящий вы человек.

— Можете положиться! Феськин — Могила, так меня и на фронте звали, как по причине характера моего безжалостного, нет во мне жалости никакой и никогда не было, — так и по причине гробового молчания, ежели когда понадобится...

Не очень долго приглядывался Свербеев к сапожнику. По многим неоспоримым данным казался он для этого дела вполне подходящим, да и раздумывать некогда было: пришли уже сведения, что Наум Робертович на допросах начал топить... — Впоследствии через Феськина, оказавшегося самой живой и настойчивой душой этого дела, Свербеев узнал многие подробности жизни Челищева, часы, когда ложился он спать, и дни, когда Урусов, в квартире которого значился Феськин ответственным с'емщиком, — когда Урусов с женой уезжает в неделю раз на дачу к замужней дочери, в Чухлинку. Старики уезжали в гости обыкновенно в субботу с утра. Таким образом, этот день — суббота — окончательно определился.

Незаменимым пособником в этом деле явился Феськин. Замечательные помыслы зрели в узкой преступной его голове, и в дальнейшие встречи с Свербеевым безоговорочно поняли друг друга они. С чего же было нужно начать, и что кому и как надлежало делать? — этот окончательный сговор между собой оставил Свербеев на самый конец, одно только решил он для себя окончательно: пока еще не всех потопил Наум Робертович, — а сначала, конечно, раскрываются его деловые круглые связи, а не мелкие случайные сделки, — до этой поры, то-есть в течение двух ближайших недель, со всем этим делом должно быть покончено. За эту неделю Свербеев похудел и словно подсох на снедающем его пламени. Сыростью таянья пахнул ранний март, и на Москве-реке невесело и сыро начался ледоход. В эти тревожные последние дни забрел сюда, к храму Спасителя, Кирилл Безсонов. Страшное беспокойство и раскаянье, что запутан он целиком в этом непонятном и опасном деле, — сменили уже недавние его чувства к Челищеву. Не ему, Безсонову, его судить, и именно при мысли об этом человеке чувствовал он, как страшно опустела, обескровилась и оторвалась от материка его жизнь. Беспорядочной льдиной плыла она в этих вешних водах, как плыли сейчас по Москве-реке льдины, сталкиваясь у быков Каменного моста, серая и тая, безнадежно уносясь в сизеющие водные дали. Серое небо низко обвисало над расческой кремлевской стены, цепляясь о ее зубья отдельными белесыми прядями, за которыми бледно, как старческий глаз, и мимолетом синело еще холодное, не налившееся полуденной синевой, небо. Угрюмо и широко лежало Замоскворечье в этом предвесеннем тумане. Безсонов сошел по широким гранитным ступеням и подошел к чугунной решетке набережной. Большим кораблем плыла эта набережная, если долго смотреть на воду вниз. Полные ветры, еще недавно обещавшие предчувствие весны, сейчас холодно дули в лицо пронзительной сыростью. Глядя на льдины, Безсонов вспомнил дальнюю пору мальчишества, когда так же следил он за ледоходом однажды

а в этот час наверху, в простуженном доме, мачеха изменяла с коженником отцу... В каких неисхоженных просторах лежала тогда впереди мальчишеская жизнь, и как скоро он все забыл, всему изменил и прошел все пути, чтобы выйти на зловещую, не обещающую добра дорогу!..

С глазами, полными слез от ветра или от этой тоски, долго смотрел он вслед льдинам. Белыми лебедями и снежными островами с кустами и стволами деревьев они проплывали мимо, в нечеловеческие и счастливые дали.

XXXV

С марта началась в институте подготовка к весенним экзаменам. Десятки натруженных лбов, русых, светлых и черных голов склонялись над книгами, над чертежными столами, над тетрадами с записью лекций. Золотая пряжа лучей пронизывала теперь обычный сумрак длинных коридоров общежития, расстилаясь желтыми четырехугольниками окон на несвежем паркете. Начинала работу комиссия, отправлявшая на летнюю практику. На заводы, на постройку железных дорог, в железнодорожные мастерские посылали на лето студентов—быть кузнецами, слесарями, десятниками и кочегарами. Лицом к лицу—с трудом, с земляною работой, одолевать пространства не пассажирами, а водителями поездов,—и вся эта студенческая молодежь, двести—триста человек, готовясь к зачетам, к весенним экзаменам, все же по-звериному, по-молодому ждали летнего и как всегда сулившего обещанья—простора. Здесь, в этих залах, полных студенческой лютой зубрежки, шороха листуемых книг, курсов лекций, дочитываемых к весне,—особенно оторванным, особенно одиноким и обреченным ощущал Безсонов себя. Деканат уже обсуждал вопрос об его исключении за малоуспешность, и теперь, повидимому, все в отношении его возлагалось на весенние переходные экзамены, на которых должна окончательно решиться его судьба.

Но эту свою судьбу Безсонов знал уже до конца. Весной его исключат, потому что—если бы даже и захотел он нагнать—все равно, слишком много он пропустил, слишком оторвался. Но все же непонятная сила—может быть, сила прощанья влекла его в эту тесную чашу товарищей... Запахи книг и труда, о которых всегда он мечтал, с неудержимою силой вдыхал он в эти дни расставаний. Были здесь крепкоскулые, горячей энергии люди, недавно еще воевавшие на фронтах, недавно работавшие на заводах простыми рабочими, с огромной серьезностью и вдохновением принявшиеся за новый увлекательный труд познаванья. В ранних поперечных складках их лбов лежала воля преодоления жизни, столь знакомая недавно ему самому. Теперь был среди них он отступником. Теперь за него кто-то третий своей роковою волей решал его судьбу. Как же все-таки жить в этой пустыне, с этой утерянною мечтой? Невозвратимые дни, как невозвратима единственная, горькая встреча с Таней Агуровой. Но как ему жить—

за него решал теперь это уверенно и неумолимо Свербеев; нить его судьбы вел он. С растущим вдохновением он распался в нем два чувства: первое—необузданная, крепнущая по мере того, как ощущал он свой распад, ненависть к Челищеву; и другое—осознание тупичка, из которого есть один только выход—к широкой, беспечной жизни. Но для этого нужны деньги, для этого нужно располагать собою, как хочешь, а план Свербеева как раз предусматривал это, и вот именно тут с безнадешностью замыкался безвыходный круг.

Впрочем, дальше все пошло уже без его участия, никто не спрашивал его ни о чем, а за него решали и располагали им, как хотели. Свербеев, наконец, установил день, на который наметили они ограбление Челищева. До сих пор говорили об этом намеками, обходом, убеждая самих себя в несложности и крайней простоте этого предприятия, как будто Челищев ничего не предпримет, не станет противиться, а покорно и молча предастся им. Но за последние дни все это получило уже короткое наименование—„дело“, хотя каждый знал, что „дело“ означает, в сущности—„ограбление“. За февральскими метельными снегопадами, за сырым таянием марта, за ледящим пронзительным половодьем,—сразу, дружно, точно на конях, хлынула весна. Ломовые обозы вывозили за город маслянистые глыбы коричневатого снега. У Арбатских ворот, у Страстного продавали мальчишки пыльные иодные мимозы и первые подснежники, белевшие голубиною чистотой. Легчайше и лиловато теплел Страстной монастырь, сияя стайкой золотых куполов, а за городом, за Петровским парком, просторно и зеленовато—подолгу угасала заря растущих в весеннем свечении дней.

За два дня накануне, то-есть в четверг 11 марта,—а „дело“ было назначено на 13-е,—Безсонов, Свербеев и Курепов встретились в совершенно нейтральном месте, там, где никто их не мог бы увидеть,—именно в вокзальном буфете Белорусско-Балтийской дороги. Много народу сидело здесь в этот час, все были заняты своими делами—билетами, номерами носильщиков, провожающими, и никому, конечно, не было и не могло быть дела до трех совсем неизвестных мужчин, поместившихся за отдельным столом—тоже, вероятно, встречавших или провожавших кого-нибудь. Попивая пиво и поглядывая по сторонам, нет ли чьих-либо слишком внимательных и любопытных ушей, Свербеев изложил весь план предстоящего дела. По последним сведениям, которые передал Феськин ему поутру, супруги Урусовы уезжают в субботу на дачу; прислуга Челищевых, в общем глупая и надменная баба, хвастала, что в субботу пойдет танцевать фокстрот и разные модные танцы на вечеринку при клубе пишевигов, а всем известно, что служит ее любовник в пекарне. Самое же главное, что в этом клубе будет играть тапером самая та консерваторка, которая занимает комнату, смежную с кухней, а это значит, что дома ее тоже не будет до самой глубокой ночи. Кроме всех этих важных сведений, сообщил Феськин еще, что супруга Челищева третий день болеет, по-

тому что несколько раз бегали для нее в аптеку. Все эти сведения нужно было точно учесть и принять во внимание. План же Свербеева был таков: в субботу, во втором часу ночи, они подойдут втроем к дому Челищева. Окно сапожника Феськина выходит во двор и хорошо видно с улицы. Если у Феськина будет красный огонек лампадки, значит — все благополучно и положение не изменилось; если лампадка не будет гореть, значит, — надо пройти мимо дома до угла переулка и там, возле забора с афишами, дожидаться Феськина. В случае же, если все будет благополучно, поступят они так: Свербеев с Безсоновым пройдут с черного хода, откроют ключем, который передал Феськин, кухонную дверь, и перекусят кусачками цепочку. Внизу, у дверей, на случай тревоги останется Феськин, а Курепов будет вести наблюдение за парадным ходом и сейчас же даст Феськину знать, если что покажется подозрительным.

За время своих посещений Безсонов отлично узнал расположение комнат. От кухни крайняя комната — комната консерваторки, которой не будет дома; следующая — комната тетки, глухой старухи; далее спальня, где спит Челищева, а деньги хранятся у нее в секретере, в красном старинном шкафчике. Эти бесспорные сведения передал тоже Феськин, который очень тонко и хитро разведал все это обходными и не возбуждающими подозрений путями у той же чванливой, а в общем глупейшей бабы — прислуги Челищевых. Вот тут начиналось самое опасное и требующее холодной и железной выдержки. Как сделать так, чтобы не проснулась Челищева? Челищев спит в своем кабинете на диване, между его кабинетом и спальней — столовая с глухими портьерами на дверях, и он не услышит. Спит же он или нет, будет видно с улицы по свету в его окне. Весь вопрос в том, чтобы не проснулась Челищева, — тогда можно все сделать в два счета, открыть шкафчик ключем, который всегда лежит в ее сумочке возле постели, взять деньги — и так же неслышно, загадочно и неуловимо уйти, не оставив ни малейшего следа... Добежать по переулку до первого ночного извозчика, нанять его куда-нибудь к Каменному мосту, там пересесть на другого, и пусть в огромном этом многочисленном городе ищут следы!.. Для того же, чтобы не проснулась Челищева, раздобыл Свербеев из надежного источника склянку эфира, которым спящую легко оглушить.

Все по этому плану казалось обдуманном до конца. Обдуманно было Свербеевым также и то, как заранее отвести тень каких бы то ни было подозрений. Для этого он, Свербеев, например, явится в субботу к себе домой около часу ночи и, под предлогом, что забыл дома ключ, позвонит, извинится перед соседями, которые таким образом увидят, что вернулся он в первом часу, — сам же в половине второго выберется незаметно из дома и отправится для встречи со всеми на скамейке Пречистенского бульвара, против Сивцева Вражка. Курепов вообще, будто бы для поисков квартиры на лето, выедет в субботу с утра — дня на два в Подольск и вернется с ночным одиннадцатича-

совым поездом, предварительно показавшись в Подольске всем, кто мог бы впоследствии подтвердить факт его пребывания в этом городе. Безсонову же, с которым труднее всего обстояло дело, так как он жил в общежитии, надлежало в этот вечер звать с собою товарищей по комнате в кинематограф, а оттуда на чердак, где устраивали в эту ночь вечеринку кино-студийцы. Никто из товарищей перед экзаменами, вероятно, с ним не пойдет, а он уйдет, действительно, скажем, в кино „Колосс“. Оттуда, купив по дороге вина, он отправится на вечеринку, постарается быть очень на виду, а к часу ночи, когда все перепьются и растеряют друг друга, выберется незаметно оттуда и вернется к той же скамье на бульваре. Так в этот вечер, на случай, если бы это понадобилось, будет доказано, что были они все трое в разных местах, а один—даже в другом городе.

(Окончание следует).



ДМ. ПЕТРОВСКИЙ

* * *

Под шум волны ваш шум пишу:
Шумит так седина.
Я песней в песне жить хочу,
Пусть песнь и жизнь—одна.

Стекает с берега вода:
С земли сорвется—вот.
И я гляжу во мглу, туда,
Где время звезд живет.

По капле падают они,
И тонут корабли.
Не тонут вечные огни:
И лишь—они одни.

Неугасимым маяком
Медведица стоит
Для заблудивших моряков,
Что мчат, ища своих.

И тихий, тихий ночи ход,
Как тень большой кормы.
И первым парусом восход
Прошепчет ветру:—Рви!

Я слышу затаенный шум:
Едва визжит земля,
Скользя меж строчек, что пишу,
Полет ее хваля.

Меж пальцами уходит мир,
Меж пальцев мира—мы,
И вековечьем пирамид
Не удержать нам тьмы.

Она надвинется лицом
В ослепшее лицо:
Во взоров синее кольцо
Сомкнет концы концов.

И, засыпая по ночам,
Вдыхаем и грустим,
То расставание уча,
Что с сотворенья тьмы

Стоит, само полно, как вздох,
Как воздух, сжатый в горсть,
Как зачарованный ездок,—
Как неизбежный гость.



Международная экономическая конференция ¹⁾

БОР. ШТЕЙН

I

С 4 по 24 мая 1927 года наиболее популярной темой европейской печати являлась тема о происходившей в этот период в Женеве международной экономической конференции. В течение этого времени в Женеве — этой политической бирже Европы — были представлены 47 государств. Около 800 делегатов и экспертов и огромное количество представителей мировой печати изо дня в день обсуждали вопросы мирового хозяйства и изыскивали методы устранения тех язв, которые раз'едают народно-хозяйственный организм всего мира. Особой специфической темой при этих обсуждениях был вопрос об участии в общей работе СССР, так как до момента открытия конференции оно являлось проблематическим. На самой конференции советская проблема заняла совершенно исключительное место.

В дальнейшем мы хотели бы остановиться, во-первых, на вопросе о самой конференции с точки зрения тех методов, при помощи которых капиталистическое хозяйство пытается самоизлечиться, а во-вторых, на проблеме взаимоотношений СССР с мировым хозяйством, взаимоотношений сегодняшнего дня.

Как известно, созыв конференции был предложен на сентябрьской сессии Лиги Наций в 1925 г. главой французской делегации *Лушером*. Тогдашний план Лушера заключался в попытке под флагом международной конференции создать континентальный экономический блок, направленный в первую очередь против Англии. Эта попытка закрепления французской гегемонии на континенте Европы встретила решительное противодействие английской делегации, которая устами лорда *Роберта Сесилля* выразила весьма скептическое отношение к идее созыва конференции, сославшись при этом на отсутствие инструкций. Как обычно,

¹⁾ Автор статьи — генеральный секретарь делегации СССР на Женевской международной экономической конференции.

был найден каучуковый компромисс, заключающий в себе постановление о предварительном изучении вопроса, при чем это изучение было поручено экономическому отделу Лиги Наций, обязанному созвать независимых от правительства экспертов для выработки программы будущей конференции. Такая подготовительная комиссия созывалась дважды (в мае и сентябре 1926 г.). Представив огромное количество статистических материалов, подготовительная комиссия выработала лишь номенклатуру вопросов, подлежащих обсуждению на самой конференции, и подразделила все эти вопросы на три рубрики: торговля, промышленность и сельское хозяйство. Никаких директивных указаний, предрешающих направление обсуждения того или иного вопроса, подготовительная комиссия не дала.

Между тем за время, прошедшее от момента внесения Лусером предложения о созыве конференции и до момента ее созыва, значительно изменилось соотношение сил в Европе. Французский капитал, мечтавший в сентябре 1925 г. о закреплении своей гегемонии на континенте Европы, за прошедшие два года вынужден был постепенно сдавать свои позиции одну за другой. Проникновение в европейское народное хозяйство американского капитала, работающего в настоящий момент в сотрудничестве с английскими банками, с одной стороны, и бурный рост германского народного хозяйства—с другой, заставили французский капитал умерить свои притязания на европейскую гегемонию.

В течение этого периода оболочка предполагавшейся экономической конференции стала, таким образом, наполняться несколько иным содержанием. В значительной мере это новое содержание было сформулировано в знаменитом *манифесте банкиров*, провозгласившем «свободу торговли» и понимавшем эту свободу в форме уничтожения таможенных перегородок, препятствующих высоко развитым индустриальным странам наводнять своими товарами малые и полуаграрные государства. Борьба за такую свободу торговли сделалась с этого момента основным лозунгом международной экономической конференции. В ее порядке дня были поставлены вопросы о всемерном снижении таможенных барьеров, с одной стороны, и полной свободе промышленных картельных объединений—с другой.

Такова предварительная история конференции в части, касающейся ее самой.

Вопрос об участии СССР имеет также свою предварительную историю. Еще в декабре 1925 г. секретариат Лиги Наций пригласил советских экспертов участвовать в созываемой в мае 1926 г. подготовительной комиссии к будущей конференции. Относясь весьма скептически к возможности излечения язв мирового хозяйства методами подобных конференций, правительство СССР, тем не менее, не возражало против участия советских экспертов в проектируемой работе, однако оно указывало на то обстоятельство, что, в виду наличности советско-швейцарского конфликта, советские эксперты не смогут принимать участие в каких-либо работах, происходящих на территории Швейцарии. Когда выяснилась

бесплодность попытки французского посредничества между Швейцарией и СССР, имевшей место в феврале 1926 г., приглашенные к участию в работах подготовительной комиссии советские эксперты, т.т. Кржижановский и Хинчук, ответили секретариату Лиги Наций в указанном выше смысле. Таким образом советские эксперты не принимали участия в обеих сессиях подготовительной комиссии, имевших место в течение 1926 г.

14 апреля 1927 г. в Берлине был подписан протокол, ликвидировавший четырехлетний советско-швейцарский конфликт. К этому моменту важность участия СССР в подобного рода конференциях сделалась аксиомой для руководителей европейского хозяйства и международной политики. На этой же точке зрения стоял и *секретариат Лиги Наций*, представляющий в настоящее время *в известной мере самостоятельную политическую величину*. На швейцарское правительство было оказано серьезное давление, приведшее к таким уступкам с его стороны, которые позволили ликвидировать конфликт с СССР. Таким образом, вопрос об участии СССР на международной экономической конференции сделался актуальным.

Принятое лишь в конце апреля решение правительства СССР послать делегацию для участия на международной экономической конференции встретило самую разнообразную оценку европейской буржуазной печати. Оно вызвало *радость* тех, кто видел в этом решении «первый шаг» по пути сближения СССР с Лигой Наций», *надежды* других, мечтающих о том, что на международной конференции удастся принудить СССР пойти на уступки перед лицом фронта из 4—5 десятков капиталистических государств, наконец, *злобу* третьих, готовившихся ожидаемый ими отказ СССР от участия на конференции сделать исходным пунктом новой атаки на Советский Союз.

В первой же декларации советской делегации, сделанной ею представителям германской печати в Берлине, было указано, что факт ликвидации советско-швейцарского конфликта, равно как и участие СССР в экономической конференции, отнюдь не означают и не могут означать согласия СССР на вхождение в Лигу Наций, и что взгляд СССР в этом вопросе не изменился. С другой стороны, декларация подчеркивала, что СССР заинтересован в укреплении и развитии политических и экономических связей с западно-европейскими странами и что, следовательно, всякая работа, способная содействовать укреплению мира и увеличению этих связей, найдет сочувствие у представителей СССР. Наконец, декларация указывала, что различие систем хозяйства нашего и капиталистического отнюдь не препятствует связи между ними, показателем чего является непрерывный рост внешней торговли СССР.

Такова была предварительная история участия СССР на конференции.

Что дала конференция самому европейскому народному хозяйству?

Как мы указывали выше, конференция собралась под знаком борьбы с таможенными перегородками, препятствующими крупным индустриальным странам *расширять свои рынки сбыта за счет промышленности слабых стран*. Конференция готовилась об'явить войну таможенным

границам под знаменем «свободы торговли» в духе манифеста банкиров. В первые дни конференции об этом произносились громкие речи. Делегаты патетически декламировали фразы об «экономическом мире», «коммерческом прогрессе» и т. д. Ретивость женевских фритредеров доходила до того, что некоторые из них договаривались даже до... полной отмены таможенных перегородок. Между тем общие прения закончились речью французского делегата Лущера, именуемого «отцом» конференции (как мы указывали выше, он и был ее инициатором). Свою почти часовую речь, произнесенную с обычным французским темпераментом, Лущер закончил заявлением, что *вопрос о высоте таможенных ставок является суверенным делом каждого государства*. Прав был поэтому германский делегат, статс-секретарь *Тренделенбург*, заявивший позднее в комиссии по вопросам торговли, что, если вопросы таможенных ставок являются прерогативой каждого государства, он не понимает смысла созыва конференции. От начальных фраз, требующих полной свободы торговли и уничтожения таможенных баррикад, до заявлений о суверенном праве каждой страны определять высоту своих таможенных ставок,—таков был тот путь, который конференция прошла в течение первых трех дней, чтобы вернуться к статус-кво анте беллюм. Этого мало. «Разрабатывая» директивы пленума конференции, комиссия по вопросам торговли преподнесла в результате своих работ еще более нелепый результат ожесточенной борьбы и поисков гуттаперчевых компромиссов. Комиссия по вопросам торговли разделилась на две подкомиссии. Подкомиссия по торговле приняла принцип свободы торговли. В то же время подкомиссия по тарифам высказалась не за отмену покровительственных пошлин и тарифов, а за их стабильность, т.-е. их большее постоянство, неизменяемость, не обмолвившись ни словом об их понижении. Резолюция говорит о неповышении их в дальнейшем, т.-е. признает статус-кво. Однако в той же резолюции имеется «сенатское раз'яснение», которое легко может быть истолковано и в обратном смысле, т.-е. *как санкция для дальнейшего повышения тарифов*. Все эти резолюции были приняты пленумом конференции.

Легко притти к заключению о полной бесплодности конференции в вопросах нынешнего положения вещей.

Еще более бесцветная, бессодержательная резолюция была принята в результате работ с.-х. комиссии. Эта резолюция представляет буквально набор фраз и отражает пестроту разнообразных точек зрения, внутреннюю их противоречивость и отсутствие единой принципиальной установки.

Не лучше обстояло дело и в промышленной комиссии, где борьба сосредоточилась вокруг вопроса о картелировании, с одной стороны, и рационализации производства—с другой. Резолюция по вопросу о картелях представляет чисто академическое рассуждение о пользе картелирования. Смысл проведения этой резолюции заключался в *обработке общественного мнения и подготовке его к усвоению происходящего в настоящий момент процесса картелирования в международном мас-*

штабе. Социально-политический смысл принятой резолюции был вскрыт декларацией, оглашенной т. Сокольниковым от имени советской делегации. Эта декларация подводит итоги «борьбы за картели» и вскрывает внутреннюю сущность этой борьбы. Нам остается процитировать соответствующее место этой декларации. Декларация прежде всего отметила, что в резолюции конференции отсутствует определенная точка зрения. Противоречия, сквозящие в резолюции, являются отражением противоречий интересов крупных промышленников и аграриев, опасющихся диктатуры мощных капиталистических объединений на мировом рынке. Уклончивый характер резолюции обусловлен также необходимостью считаться с сопротивлением масс рабочих и потребителей, которым, вопреки несостоятельным заверениям о выгодах картелей, угрожает опасность возникновения в лице картелей новой формы предпринимательских объединений, которые в огромной мере увеличат командную мощь и прибили капитала. Процесс международного картелирования неминуемо обострит борьбу между монополистскими организациями и углубит противоречия между претендентами на мировое господство. Соглашение о мирной международной организации хозяйства, невозможное для предпринимательских объединений, может быть осуществлено лишь государствами, где хозяйство находится в руках трудящихся. Опасность образования картелей для масс может быть парализована только усилением политических и профсоюзных организаций пролетариата и быстрейшим осуществлением профсоюзного единства. В целях борьбы против политики высоких цен необходимо добиваться государственного регулирования цен на продукцию картелей. Исходя из существования двух систем народного хозяйства (капиталистической и социалистической), советские хозяйственные органы не отказываются от участия в международных соглашениях, внутри которых они будут отстаивать интересы рабочих и потребителей масс, а также интересы тех стран, которым угрожает порабощение монополистским капиталом.

В связи с резолюцией о картелях разыгралась любопытная борьба по вопросу о контроле над ними. Французская делегация, во главе с Лущером и при поддержке *амстердамцев* (реформистский интернационал профсоюзов), внесла проект об организации особого института при Лиге Наций, на обязанности которого лежала бы регистрация картелей и общее наблюдение за ними. Это предложение, с одной стороны, отражало беспокойство французского капитала в связи с возможностью образования картелей, направленных против него. Постоянный регистрационный институт мог бы хотя в известной мере служить наблюдательным пунктом и тем самым заранее сигнализировать опасность. С другой стороны, это предложение имело в виду известную «демократизацию» картелей под контролем «общественного мнения». Один из амстердамцев додумался до того, что картели должны быть поставлены под контроль печати, на что получил ответ от советской делегации, что подобная постановка невозможна, ибо... *печать контролируется картелями*. Французское предложение было провалено объединенным англо-

германским натиском, требовавшим полной «свободы рук» в вопросах картелирования.

Вышедшая равным образом из недр промышленной комиссии резолюция по вопросам рационализации внешне представляет набор общеизвестных истин о пользе рационализации. Между тем внутренний ее смысл значительно серьезнее академических рассуждений, ибо по существу она почти на 100% отражает пожелания промышленников. *Социальный смысл этой резолюции заключается в том, что рационализация должна быть проведена за счет трудящихся.* Для того, чтобы обеспечить себе поддержку реформистов, в резолюцию были введены слабые, еле заметные намеки на удовлетворение «справедливых» требований рабочего класса. Первый намек касался возможного участия профессиональных союзов в деле проведения рационализации, второй—говорил о сотрудничестве с персоналом, иначе говоря, с живыми людьми, которых рационализация прямо и непосредственно касается, и, наконец, третий провозглашал общую необходимость считаться при проведении рационализации с законными правами рабочих. В чем заключаются эти *права*, в чем выразится *участие* профсоюзов и как конкретно будет осуществляться это *сотрудничество*,—резолюция, само собой разумеется, ни одним словом не упомянула.

Вот почему *советская делегация, голосуя против этой резолюции*, вынуждена была огласить следующую декларацию:

Советская делегация высказывается против предложенной резолюции, исходя из тех соображений, что осуществление рационализации в странах, где хозяйственная система основана на принципе частной собственности, неминуемо обращается против рабочего класса. Свое подлинное значение более правильной и более экономной организации труда в интересах всего общества, а не только собственников промышленных и торговых предприятий, рационализация может получить только там, где, как это имеет место уже теперь в СССР, собственность на средства производства принадлежит самому обществу (нации). Предлагаемые комиссией мероприятия не могут обеспечить интересов рабочих при проведении рационализации. Для того, чтобы рационализация не пала всей тяжестью на плечи рабочих и не увеличила моральной и материальной эксплуатации рабочего класса, необходимо проведение мер, которые, отбросив нынешние попытки наступления на рабочие организации и их права, обеспечивали бы рабочим сохранение в полной неприкосновенности прав профессиональных союзов, прав стачечной борьбы, обеспечили бы действительное осуществление 8-часового рабочего дня, предусматривали бы дальнейшее сокращение рабочего дня и повышение заработной платы при проведении рационализации, требующей большей интенсивности труда, гарантировали бы рабочим, сокращенным при рационализации, длительную и высокую специальную поддержку и различного рода льготы и т. д. Эти меры, конечно, не могут парализовать всех болезненных последствий рационализации, проводимой предпринимателями в условиях дезорганизованного послевоенного мирового

хозяйства. Смягчение этих болезненных для рабочего класса последствий было бы возможно только на пути значительного повышения общего уровня заработной платы, сокращения непроизводительных военных расходов, аннулирования военных долгов и репараций, расширения экономических связей с СССР и т. д.

Ниже мы подведем итоги работам конференции в области вопросов самого капиталистического хозяйства. Предварительные итоги видны уже из сделанного выше обзора работ отдельных комиссий.

Теперь мы хотели бы остановиться специально на роли представителей II и Амстердамского Интернационалов на конференции, а затем перейти к вопросу о характере, смысле и результатах участия СССР в работах международной конференции.

II

На конференции наряду с цветом буржуазии собрался и цвет II и Амстердамского Интернационалов. *Альбер Тома, Гильфердинг, Жуо, Пью, Эггерт, Фрейндлих и др.* украшали своими именами собрание руководителей капиталистического хозяйства. Почти в каждой делегации был *свой* социал-демократ. Однако немедленно после открытия конференции или, вернее, начала работ в комиссиях обнаружилось, что буржуазия готова использовать услуги амстердамцев для общих выступлений (в особенности направленных против СССР), но отнюдь не намерена допустить их к участию в практической работе. На конференции повторилась обычная история взаимоотношений буржуазии и социал-демократии. Между тем в течение первых дней работ конференции социал-демократы усиленно *зарабатывали* себе благорасположение капиталов буржуазии. Когда Лушеру нужно было протащить свою идею постоянного экономического органа, который должен был быть создан в результате конференции, на сцену был выпущен Жуо, с пеной у рта доказывавший необходимость подобной организации с точки зрения мира, прогресса и т. п. Позже Лушер убедился, что англичане опасаются учреждения подобной организации, могущей хотя бы в слабой степени контролировать их экономические соглашения, и не дадут ему провести эту идею. Когда в собственной речи (произнесенной перед закрытием общих прений) он отказался от нее, Жуо повис в воздухе, лишенный этой могущественной опоры.

Амстердамцы попытались отыгаться на вопросе об СССР. После первого выступления советских делегатов (т.г. Сокольников и Осинского), Жуо собрал журналистов и заявил, что «большевики на конференции защищали *ту самую* программу, которую Жуо и его друзья выставляли начиная с 1919 г. и, точнее, с Версальской конференции». «*Та самая*» программа, по мнению Жуо, заключается в утверждении, что возможно в течение известного периода мирное сосуществование двух систем—капиталистической и социалистической. То, что советские делегаты утверждали относительно *сосуществования двух равноправных систем*, Жуо

превратил в оправдание реформистской теории о сожительстве *двух классов внутри буржуазного государства* и, следовательно, в оправдание политики и тактики международной социал-демократии в течение последних лет. Именно благодаря такой *ловкости рук* у него и получилось утверждение, что большевики «признают свою ошибку» (!) и принимают теорию, которую Жуо и другие выдвигали уже в 1919 г.

Выступая на конференции, реформисты пытались *исправлять* те предложения, которые делали представители капитала. Однако даже они вынуждены были голосовать против ряда резолюций. Так получилось с резолюцией о картелях, против которой реформисты голосовали вместе с советской делегацией. Взаимоотношение трех групп, представленных на конференции: 1) представителей капитала, 2) представителей II и Амстердамского Интернационалов и 3) представителей СССР, можно сформулировать в виде следующих трех положений:

Социал-демократы заявляли, что для спасения капиталистического строя от разлуки *нужны* определенные реформы в направлении улучшения положения рабочего класса.

Представители СССР утверждают, что эти реформы в рамках капиталистического строя объективно *невозможны*.

А капиталисты заявляют, что *они на эти реформы не пойдут*.

Наибольшую тревогу социал-демократии на конференции вызвал несомненно факт участия в ее работах СССР и при том не столько как государства, сколько как *рабочего государства*. *На конференции социал-демократия, как таковая, оказалась не представленной*. Социал-демократы входили в состав *буржуазной* делегации, могли, конечно, излагать свое собственное мнение, но представительства хотя бы части рабочего класса в их лице не было признано. *В это же время организованный в государство рабочий класс был представлен делегацией СССР*.

Именно это обстоятельство вызывало наибольшее смятение в рядах социал-демократии и диктовало ей целый ряд тактических приемов.

Перейдем к вопросу об участии СССР в работах конференции.

Этот вопрос следует рассматривать с двух точек зрения. Прежде всего, он касается участия СССР в обсуждении вопросов, касающихся капиталистического хозяйства, как такового. Забегая несколько вперед, следует отметить, что руководители конференции, ссылаясь на заявления советской делегации об особенностях социалистической системы народного хозяйства и неприемлемости, в силу этого, для СССР целого ряда резолюций конференции, пытались устранить какое бы то ни было участие СССР в обсуждении и голосовании всех тех резолюций, которые касались исключительно капиталистической системы народного хозяйства. Поскольку вы отрицаете возможность нашего влияния на вашу систему народного хозяйства, — говорили руководители конференции, — вы естественно должны признать полное невмешательство советской делегации в вопросы резолюций, касающихся капиталистического хозяйства. На это советская делегация отвечала, что, поскольку СССР является членом конференции, он имеет полное право высказывать свои сужде-

ния по всем вопросам, рассматриваемым конференцией, а следовательно, и по вопросам капиталистического хозяйства, как такового, не отрицая в то же время права любого члена конференции высказывать свою точку зрения по вопросу о социалистической системе народного хозяйства. Таким образом советская делегация зафиксировала свое право участвовать в обсуждении вопросов капиталистического хозяйства, как такового. И это право она использовала как в общих прениях, так равным образом и в работах отдельных комиссий. В общих прениях, как известно, приняли участие т.т. Осинский и Сокольников, при чем темы их докладов были разделены следующим образом. Тов. Осинский говорил об основных проблемах мирового хозяйства, а тов. Сокольников посвятил свой доклад положению народного хозяйства СССР и перспективам взаимоотношений между ним и мировым хозяйством. Тов. Осинский, выступая от имени советской делегации с докладом по вопросам мирового хозяйства, остановился в особенности на тех проблемах, которые участниками конференции были сознательно сняты с программы дня. Постановка этих вопросов привела бы к всеобщей потасовке участников конференции. Советская делегация считала необходимым эти вопросы выдвинуть и зафиксировать перед лицом широких масс всего мира, подчеркивая, что без разрешения их не может быть никакого прогресса в деле улучшения мирового хозяйства. Устами т. Осинского советская делегация выдвинула следующие конкретные предложения, касающиеся мирового хозяйства, как такового: 1) аннулирование всех военных долгов и всех платежей, связанных с войной, что мы считаем единственным способом ликвидации противоречий, являющихся непосредственным следствием войны 1914—18 г.г.; такое аннулирование долгов и платежей явилось бы крупным шагом вперед на пути к восстановлению мировой торговли; 2) повышение заработной платы промышленных рабочих; 3) восстановление 8-час. рабочего дня во всех отраслях промышленности и введение 6-час. рабочего дня в шахтах и на производствах, особо тяжелых или вредных для здоровья; 4) установление полной и действительной свободы профессиональной организации рабочего класса и неограниченной свободы стачек; 5) установление действительной помощи безработным, в особенности тем, кто лишился работы в результате так наз. процесса рационализации производства; увеличение с этой целью налогового обложения доходов имущих классов и ограничение всех расходов на непроизводительные цели (милитаризм, чиновничество, предметы роскоши и т. п.); 6) решительная борьба с повышением цен на промышленные изделия, в особенности с повышением цен, проводимым картелями; 7) уничтожение всех препятствий для эмиграции и иммиграции; 8) уничтожение системы протекторатов и мандатов, вывод войск из колоний, признание права всех народов на политическое и экономическое самоопределение; 9) прекращение военной интервенции в Китае, которому должна быть предоставлена полная политическая и экономическая свобода, чтобы оказалось возможным восстановить нормальные экономические взаимоотношения между Китаем и др. странами; 10) прекращение

экономического и политического бойкота СССР во всех видах и установление отношений с Советским Союзом на основе признания неизбежности сосуществования двух различных систем; предоставление Советскому Союзу кредитов для усиления его покупательной способности, взамен чего иностранный капитал получит в СССР концессии; установление технического сотрудничества с Советским Союзом и обмен опытом в области техники и промышленности; отказ от посягательств на институты, неразрывно и органически связанные с социалистической системой, в частности на институт монополии внешней торговли; 11) действительное и полное разоружение с совершенным упразднением постоянных армий и флотов; создание организаций рабочих и крестьян для контроля над ликвидацией всех производств и установок, предназначенных для военных целей.

Такова была программа советской делегации, предложенная ею для излечения всех тех язв, коими болеет современное мировое хозяйство.

Тов. Сокольников в своем докладе нарисовал подробную картину восстановления экономической жизни в условиях советского строя. Одновременно он отметил, что международная экономическая конференция может явиться только в том случае шагом вперед, *если выработает формы взаимоотношений между советской и мировой экономикой*. Он подробно остановился на этих формах, утверждая, что они могут быть построены только на принципе *признания сосуществования двух различных систем народного хозяйства—капиталистической и социалистической*. Связью между этими двумя системами является внешняя торговля, равно как и приложение иностранного капитала в различных формах к разработке естественных богатств СССР.

Эта мысль о внешней торговле, как о форме взаимоотношений между двумя системами, была более подробно развита т. Хинчуком в комиссии по торговле, где им была оглашена особая декларация, касающаяся монополии внешней торговли.

Существующая в СССР монополия внешней торговли,—гласила эта декларация,—является неотъемлемой частью хозяйственной системы Советского Союза. Вне монополии внешней торговли неосуществим единый план хозяйства и социализации. Однако монополия внешней торговли отнюдь не ограничивает размеров торговли СССР с капиталистическими странами и не суживает возможностей внешней торговли Советского Союза. Размеры советского ввоза и вывоза могли бы быть значительно больше, при наличии нормальных кредитных отношений между СССР и другими государствами. Лучшим доказательством того, что монополия внешней торговли не затрагивает интересов контрагентов СССР, является восстановление довоенных размеров торговли СССР с рядом стран, а в некоторых случаях даже превышение довоенного уровня в этом отношении. Мы готовы обсуждать все мероприятия, способные реально содействовать развитию мировых хозяйственных отношений, поскольку это возможно в существующих условиях. Без СССР нормальное развитие мирового хозяйства невозможно; с другой стороны,

экономическое сотрудничество капиталистических стран СССР мыслимо лишь на основе признания монополии внешней торговли. На этой основе мы готовы рассматривать все деловые предложения, которые могут содействовать развитию отношений СССР с капиталистическими странами и развитию мирового хозяйства в целом.

Выше мы отметили уже отношение советской делегации к резолюциям промышленной и сельско-хозяйственной комиссий. Этим и исчерпывается участие СССР в обсуждении проблем мирового хозяйства.

Другая часть работы советской делегации заключалась в выработке формулы взаимоотношений между СССР и капиталистическим миром. Эта работа началась с утверждения формулы сосуществования двух равноправных систем народного хозяйства. Существенным успехом СССР является то обстоятельство, что на этой конференции впервые шла речь о принципиальном признании со стороны капиталистического мира существования иной, — не капиталистической, а социалистической системы народного хозяйства. Речь шла не только о *признании факта существования социалистического народного хозяйства, но и о правовом закреплении этого факта*. В 1927 г. в Женеве на международной экономической конференции 46-ти буржуазно-капиталистических стран социализм, социалистическая система народного хозяйства, в частности монополия внешней торговли, склонялись на все лады, при чем никто не отрицал факта существования этой новой системы, и конференция в целом была занята подведением правового базиса под этот новый факт. *Из теоретической проблемы социализм превратился на капиталистической конференции в реальность*. Резолюцией, принятой всей конференцией, СССР добился *юридического признания социалистической системы народного хозяйства*.

В течение второй половины конференции советская делегация вела борьбу за эту формулу, констатирующую признание сосуществования двух систем. После длительных дебатов была найдена формула, устанавливающая этот факт, а равным образом признающая, что в виду особенностей социалистической системы к СССР имеют применение *лишь те резолюции, за которые голосовала советская делегация*. Эта необычная для конференции Лиги Наций формула явилась значительной победой советской делегации.

Мы можем теперь подвести итоги работы советской делегации на конференции и тем самым подвести итоги участия СССР в женевских работах:

- 1) *Конференция впервые за 10 лет существования СССР выявила картину фактического признания социалистической системы народного хозяйства. Социализм на конференции был не лозунгом, не теорией, а живым непреложным фактом.*
- 2) *Вынося резолюцию о мирном сосуществовании двух систем, конференция дала юридическое признание социалистическому народному хозяйству.*
- 3) *Признавая и приветствуя мирное сосуществование, конференция представителей делового мира 46 стран морально осудила поведение*

консервативного правительства Англии, препятствующего этому мирному сосуществованию и взрывающему самую его возможность.

Мы воздерживаемся от специального подведения итогов работы конференции в той части, которая касается капиталистического хозяйства. Из обзора работ отдельных комиссий с совершенной очевидностью следует, что в этом вопросе *конференция не сделала ни одного шага вперед, ибо резолюции, ею принятые, не изменяют ни в малейшей степени того положения мирового хозяйства, в котором оно находилось до момента конференции.*

В этом смысле работы конференции полностью подтвердили пессимистический взгляд, имевшийся у СССР с момента возникновения идеи о созыве конференции.

Последний рейс Николая Романова

Психологическая проблема

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

(Окончание) ¹⁾

ГЛАВА IV

«Предупреждать и не опаздывать—вот в чем вся суть управления»

1

Ответственное министерство было дано. Генерал Рузский должен был известить об этом Родзянко, который был вызван по прямому проводу в 3 с половиной часа утра. Состоялся длинейший и примечательнейший разговор, продолжавшийся целых три часа. Мы не занимаемся сейчас психологическим истолкованием поведения Родзянко, но мы не можем пройти той характеристики, которую он дал сам себе в течение этого разговора. Выпукло рисуется фигура необычайно зычного нахала, Хлестакова, фанфарона. Врет не стесняясь. Рузский начинает разговор просьбой осведомить об истинной причине его неприбытия в Псков. Напомним, что Исполком Совета Рабочих Депутатов просто-напросто не дал ему поезда. Что же отвечает Родзянко? Причины две: 1) эшелоны, посланные на усмирение Петрограда, сами взбунтовались и решили не пропускать даже литерных поездов. «Мною немедленно были приняты меры, чтоб путь для проезда его величества был свободен»; 2) «мой приезд может повлечь за собой нежелательные последствия; невозможность оставить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания». Великолепное нахальство!

Рузский передал Родзянко приглашение образовать ответственный кабинет. Родзянко рассердился и страшно вознегодовал. Когда он посылал первые свои телеграммы, ведь это самое он предлагал, он бы и образовал. А теперь поздно. Все ушло из его рук, да и из царских рук.

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 6 с. г.

Опоздал манифест; надо было издать его в первый же момент. «А меня не послушали! Я говорил!». А теперь ему, Родзянко, не управиться. Он должен был попытаться взять движение в свои руки и стать во главе его, чтобы избежать такой анархии при таком расслоении, которая грозила бы гибелью государству. Родзянко сознает, что это ему далеко не удалось. «Я сам вишу на волоске. Анархия достигла таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить Временное правительство. Время упущено, возврата нет». Вынужден был, во избежание кровопролития, всех министров — кроме военного и морского — заключить в Петропавловскую крепость. В течение двух с половиной лет он, Родзянко, предупреждал царя о надвигающейся грозе, и вот что вышло. Династический вопрос поставлен ребром. Ответственное ничего не устроит, нужно устранение царя; «грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся определенным требованием». Тут Родзянко великолепно врет. Когда Милюков на митинге в Екатерининском зале высказал это требование буржуазной Думы, поднялись такие шум и крики протеста, что Милюков должен был заявить, что это его личное убеждение. Рабочие и солдатские массы требовали полного и решительного устранения всей династии, республиканского строя. А буржуазные думцы стояли на необходимости сохранения монархии, спасительной для России. Они жертвовали Николаем и полагали, что регентство Михаила при царе-наследнике поведет только к укреплению конституционной монархии.

При таких заявлениях Родзянко Рузский должен был ступать с только что данным манифестом. Правда, он прочел его Родзянко, но всемогущий отнесся совершенно равнодушно и не выразил восторга; впрочем, он ничего не имел против посылки манифеста в Ставку и его оглашения. Но, когда Рузский выразил опасение, как бы насильственный переворот не перекинулся в армию, Родзянко величаво закончил разговор: «Не забудьте, что переворот может быть добровольный для всех, и тогда все кончится в несколько дней. Одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет. Я этого не допущу».

2

Разговор Рузского с Родзянко по прямому проводу был закончен в 7½ часов утра. Одновременно с ведением разговора телеграф передавал его в Ставку генералу Алексею. Ставке не понадобилось много времени, чтобы составить определенное мнение о том, что должен был делать царь по изменившимся обстоятельствам. Уже в 9 часов утра генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего Лукомский начал разговор по прямому проводу с начальником штаба Северного фронта генералом Даниловым. Лукомский сказал Данилову: «Здравствуй, Юрий Никифорович. Генерал Алексеев просит сейчас же доложить Главкосеву, что необходимо разбудить государя и сейчас же доложить ему о разговоре генерала Рузского с Родзянко. Переживаем слиш-

ком тяжелый момент, когда решается вопрос не одного государя, а всего царствующего дома и России. Генерал Алексеев убедительно просит безотлагательно это сделать, так как теперь важна всякая минута, и все этикетки должны быть отброшены.

«Ген. Алексеев просит, по выяснении вопроса, немедленно сообщить, дабы официально и со стороны высших военных властей сделать необходимое сообщение в армии, ибо неизвестность хуже всего и грозит тем, что начнется анархия в армии.

«Это официально, а теперь прошу тебя доложить от меня генералу Рузскому, что, по моему глубокому убеждению, выбора нет, и отречение должно состояться. Надо помнить, что вся царская семья находится в руках мятежных войск, ибо, по полученным сведениям, дворец в Царском Селе занят войсками, как об этом вчера уже сообщал вам генерал Клембовский. Если не согласится, то, вероятно, произойдут дальнейшие эксцессы, которые будут угрожать царским детям, а затем начнется междоусобная война, и Россия погибнет под ударами Германии, и погибнет вся династия. Мне больно это говорить, но другого выхода нет. Я буду ждать твоего ответа».

Генерал Данилов хладнокровнее и спокойнее отнесся к делу, он не верил в то, что царя можно будет подвинуть на новые уступки. Он отвечал Лукомскому: «Генерал Рузский будет через час с докладом у государя, и потому я не вижу надобности будить главнокомандующего, который только что, сию минуту, заснул и через полчаса встанет. Выигрыша во времени не будет никакого. Что касается неизвестности, то она не только тяжка, но и грозна. Однако и ты и генерал Алексеев отлично знаете характер государя и трудность получить от него определенное решение. Вчера же весь вечер до глубокой ночи прошел в убеждениях поступиться в пользу ответственного министерства. Согласие было дано только к двум часам ночи, но, к глубокому сожалению, оно, как это в сущности и предвидел главнокомандующий, явилось запоздалым. Очень осложнила дело посылка в'ойск ген.-ад'ютанта Иванова. Я убежден, к сожалению, почти в том, что, несмотря на убедительность речей Николая Владимировича и прямоту его, едва ли возможно будет получить определенное решение; время безнадежно будет тянуться. Вот та тяжкая картина и та драма, которая происходит здесь.

«Между тем исполнительный комитет Государственной Думы шлет ряд извещений, что остановить поток нет никакой возможности. Два часа тому назад главнокомандующий вынужден был отдать распоряжение о том, чтобы не препятствовать распространению заявлений, которые клонятся к сохранению спокойствия среди населения и к приливу продовольственных средств. Другого исхода не было.

«Много горячих доводов высказал генерал Рузский в разговоре с Родзянко в пользу оставления во главе государя с ответственным перед народом министерством, но, видимо, время упущено и едва ли возможно рассчитывать на такое сохранение.

«Вот пока все, что я могу сказать.

«Повторяю,—от доклада ген. Рузского я не жду определенных решений».

Последнее слово в разговоре осталось за Лукомским. «Дай бог, чтобы генералу Рузскому удалось убедить государя. В его руках теперь судьба России и царской семьи».

ГЛАВА V

«Дашь отречение»

1

Настало утро 2 марта. Жизнь в царском поезде началась раньше обыкновенного. Камердинер сказывал: «С 6 часов слышно было, как их величество поднялись и все перебирали записки и бумаги». Чины свиты, проснувшись, не знали, чем кончились разговоры царя с Рузским; ведь они отошли ко сну до выхода Рузского из вагона. Граф Мордвинов, узнав от своего слуги, что никаких распоряжений об от'езде нет, встревожился, быстро оделся и отправился пить утренний кофе в столовую. «В ней находились уже Кира Нарышкин, Валя Долгоруков и профессор Федоров. Они, как и я, ничего не знали ни об от'езде, ни о переговорах Рузского и высказывали предположение, что, вероятно, прямой провод был испорчен, и переговоры поэтому не могли состояться».

«Государь вышел позднее обыкновенного. Он был бледен и, как казалось по лицу, очень плохо спал, но был спокоен и приветлив, как всегда. Его величество недолго оставался с нами в столовой, и, сказав, что ожидает Рузского, удалился к себе».

2

На платформе показался генерал Рузский. На вокзале начал собираться народ, но особого скопления не было. Бежавшие из Петрограда гвардейские офицеры добежали до Пскова, пробираясь к своим частям на фронт. Эти беглецы рассказывали о петроградских ужасах, расспрашивали у свитских о государе и высказывали искреннее желание, чтобы государь приехал к войскам гвардии. «Там совсем другое».

В 10 час. 15 мин. Рузский вошел в царский вагон. Царь ждал доклада о магическом действии своего манифеста об ответственном министерстве и дне и часе прибытия Родзянко. Рузский спокойно, стиснув зубы (его слова!), но в душе страшно волнуясь, положил перед царем ленту своего разговора с Родзянко. Царь предложил ему прочесть разговор. Царь молча, внимательно слушал. Потом, когда он делал запись в дневнике, он отметил одну особенность разговора—его продолжительность. «Рузский прочел свой длинейший разговор по аппарату с Родзянко». Должно быть, не все подробности схватил царь; но главное он усвоил. От остального осталось общее впечатление необычайной длинноты. А глав-

ное усвоил. Позади была жалкая словесность о полуответственном, ответственном министерстве, но впереди нечто неслыханное, ужасное!

Царь встал с кресла и отошел к окну вагона. Рузский тоже встал. Наступила ужасная тишина. Прошло несколько мгновений, показавшихся вечностью и Рузскому, и царю. Царь смотрел в окно вагона, стараясь собрать свои чувства и мысли; наконец, овладел собой, вернулся к столу, указал генералу стул и стал говорить.

В его годосе нашлись спокойные ноты. Но мысли были порывисты, разбегались: наряду с важным, лезло в голову мелкое, маленькое. «Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это, но я опасуюсь, что народ этого не поймет... Но как же, как же: казаки обвинят меня, что я бросил фронт... Я рожден для несчастья, я приношу несчастье России... Но как же, как же, мне не простят старообрядцы, что я изменил своей клятве в день коронавания»... Царь спрашивал Рузского о подробностях отречения, вслух обдумывал возможное решение...

Argumentum baculinum был доведен до полного развития. Еще вчера царя убеждали во имя блага России, ради ее военного счастья, а сегодня говорят: помните, вся ваша семья находится в руках мятежных войск, дворец в Царском Селе занят войсками. (Безответственное преувеличение генерала Лукомского!)

В это время разговор царя с Рузским был прерван телеграммой генерала Алексеева, адресованной Рузскому. Алексеев ставил вопрос без всяких экивоков. «Войну можно продолжать лишь при исполнении предъявленных требований относительно отречения от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича.

«Обстановка, повидимому, не допускает иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний повысит только притязания, основанные на том, что существование армии и работа железных дорог находится фактически в руках петроградского Временного правительства. Необходимо спасти действующую армию от развала, продолжить до конца борьбу с внешним врагом, спасти независимость России и судьбу династии. Это нужно поставить на первом плане, хотя бы ценою дорогих уступок. Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу его величеству через Главкосева, известив меня.

«Повторяю, что потеря каждой минуты может стать роковой для существования России и что между высшими начальниками действующей армии нужно установить единство мыслей и целей и спасти армию от колебаний и возможных случаев измены долгу. Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом, а решение относительно внутренних дел должно избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который более безболезненно совершится при решении сверху».

Рузский, бледный, прочел вслух телеграмму. «Что же вы думаете, Николай Владимирович?»—спросил государь.—«Вопрос так важен и так ужасен, что я прошу разрешения вашего величества обдумать эту депешу раньше, чем отвечать. Депеша циркулярная. Посмотрим, что скажут

главнокомандующие остальных фронтов. Тогда выяснится вся обстановка»,—ответил Рузский. Государь встал, внимательно и грустно взглянул на Рузского и, сказав: «Да, и мне нужно подумать»,—отпустил его до завтрака.

3

Перед завтраком царь гулял по платформе. К высочайшему завтраку были приглашены псковский губернатор Кошкарлов, инспектор царских поездов Ежов. В 2 часа царь потребовал Рузского. Рузский тотчас же явился, с согласия царя, с двумя генералами—начальником его штаба, Ю. Н. Даниловым и генерал-квартирмейстером С. С. Савичем. Рузский взял их на подкрепление. «Я вижу,—сказал он им,—царь мне не верит, пускай он помимо меня выслушает и вас». Три генерала были немедленно приняты в салон-вагоне. Кроме них, не было никого, и все двери плотно закрыты. Царь сначала стоял, потом сел, предложил всем сесть. Сел Рузский, а генералы стояли на вытяжку. Царь и Рузский много курили.

Рузский доложил царю новые известия, полученные в разговоре по прямому проводу со Ставкой,—о прибытии собственного его величества конвоя (самая преданная и верная войсковая часть, телохранители!) в Думу с предложением своих услуг, о желании царицы переговорить с Родзянко (вот это должно было подействовать!), о прибытии в Государственную Думу с покорностью великого князя Кирилла Владимировича (это было сверхъестественно!), о подчинении главнокомандующего Московского военного округа Мрозовского Временному правительству, об арестах министров. В 2 часа 30 минут пришла телеграмма Алёксеяева с ответами командующих фронтами. Не хватало ответа от начальника штаба войск румынского фронта Сахарова, но и он пришел через 20 минут.

Все генералы оказались предателями и изменниками своему государю. Все рухнуло. Как бы ни раболепны, ни почтительны были их слова, но все они отказывались от своего царя. И на первом месте—родственник, Николаша (великий князь Николай Николаевич). Ну, правда, от этого всего можно было ждать, после того, как, по настояниям Григория Ефимовича, в виду узурпаторских склонностей, он был смещен с поста верховного главнокомандующего. Жена была права, постоянно возбуждая его против Николаши. А теперь Николаша—извольте ли видеть—телеграфирует:

«Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги необходимым коленапреклоненно молить ваше императорское величество спасти Россию и вашего наследника, зная чувство святой любви вашей к России и к нему.

«Осенив себя крестным знаменем, передайте ему ваше наследие. Другого выхода нет.

«Как никогда в жизни, с особо горячей молитвой, молю бога подкрешить и направить вас».

Генерал Брусиллов так всеми буквами и пишет: «В данную минуту единственный исход, могущий спасти положение и дать возможность дальше бороться с внешним врагом, без чего Россия пропадет,—отказаться от престола в пользу наследника цесаревича при регентстве великого князя Михаила Александровича. Другого исхода нет».

Телеграмма генерала Эверта еще страшнее: «Ваше величество, на армию, при настоящем ее составе, рассчитывать при подавлении внутренних беспорядков—нельзя... При создавшейся обстановке, не находя иного исхода, безгранично преданный вашему величеству верноподданный умоляет ваше величество, во имя спасения родины и династии, принять решение, согласованное с заявлением председателя Гос. Думы».

Впечатление утешительное получалось от чтения первых строк телеграммы генерала Сахарова. Генерал говорил решительным языком: «Генерал адъютант Алексеев передал мне преступный и возмутительный ответ председателя Государственной Думы вам на высокомилоостивое решение государя императора даровать стране ответственное министерство и пригласил главнокомандующих доложить его величеству через вас о решении данного вопроса в зависимости от создавшегося положения. Горячая любовь моя к его величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнусного предложения, переданного вам председателем Государственной Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся царя своего, задумал это злодейство, а разбойничья кучка людей, именуемая Государственной Думой, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей».

И что же, что же предлагает благородный генерал? Он оказался таким же предателем. «Переходя же к логике разума и утя создавшуюся безвыходность положения, я, непоколебимо верноподданный его величества, рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищу к пред'явлению дальнейших, еще гнуснейших притязаний».

И все телеграммы были одобрены генералом Алексеевым, застенчивым и молчаливым Михаилом Васильевичем. Тоже не даром и против него предупреждала жена. Тихоня, а у него козни на уме. «Умоляю безотлагательно принять решение, которое господь бог внушит вам. Промедление грозит гибелью России. Пока армию удастся спасти от проникновения болезни охватившей Петроград, Москву, Кронштадт и другие города, но ручаться за дальнейшее сохранение воинской дисциплины нельзя. Прикосновение же армии к делу внутренней политики будет знаменовать неизбежный конец войны, позор России и развал ее».

«Ваше императорское величество, горячо любите родину и ради ее целостности, независимости, ради достижения победы, соизволите принять решение, которое может дать мирный и благополучный исход из создавшегося, более, чем тяжкого, положения».

«Ожидаю повелений».

Предали генералы. И жены нет. Где же взять твердость бедному, маленькому, слабенькому муженьку!

4

Телеграммы были доложены, царь прочел их. «Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно мое отречение»,—совершенно правильно изложил царь в дневнике смысл телеграмм. Рузский обрисовал обстановку и присоединил свое мнение: выход один—отречение от престола в пользу наследника. «Но я не знаю, хочет ли этого вся Россия»,—пробовал увливать не хотевший этого царь. Рузский ответил:

«Ваше величество, заниматься сейчас анкетой обстановка не представляет возможности, но события несутся с такой быстротой и так ухудшают положение, что всякое промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Я вас прошу выслушать мнение моих помощников, они оба в высшей степени самостоятельные и притом прямые люди».

Предложение царю не понравилось, и он не сразу согласился выслушивать мнение генералов. Только после второго или третьего напоминания Рузского, царь повернулся к стоявшим на вытяжку генералам и разрешил им говорить. «Хорошо, но только я прошу откровенного изложения». Первым говорил Данилов, заявивший, что он тоже не видит другого выхода из создавшегося тяжкого положения, кроме принятия предложения Государственной Думы. Царь обратился к другому генералу—«А вы такого же мнения?». Передаем рассказ, записанный со слов Савича:

«Генерал этот страшно волновался. Приступ рыданий сдавливал его горло. Он ответил:

— Ваше императорское величество, вы меня не знаете, но вы слышали обо мне отзыв человека, которому вы верили.

Государь: «Кто это?».

Генерал: «Я говорю о генерале Дедюлине».

Государь: «О, да».

Генерал чувствовал, что он не в силах больше говорить, так как он сейчас разрыдается, поэтому он поспешил кончить:

— Я человек прямой и поэтому я вполне присоединяюсь к тому, что сказал генерал Данилов.

«Наступило общее молчание, длившееся одну-две минуты».

Государь сказал: «Я решил. Я отказываюсь от престола», и перекрестился. Перекрестились генералы.

Обратясь к Рузскому, государь сказал: «Благодарю вас за доблестную и верную службу», и поцеловал его».

5

Царь взял блок с телеграфными бланками и написал две телеграммы. Одну—Родзянко: «Нет той жертвы, которой я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки России. Посему

я готов отречься от престола в пользу моего сына с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего Михаила Александровича».

Другую—Алексееву: «Во имя блага, спокойствия и спасения горячей любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно».

Телеграммы эти царь передал Рузскому.

Было 3 часа дня 2 марта 1917 года.

6

Когда генералы оставались еще в вагоне, вошел Воейков. Он пытался расспросить генералов о том, что произошло, и получил неохотные и недружелюбные ответы, а Рузский напомнил, как его «Куваку» употребляли в Петрограде, как шумиху, против конной полиции. «Затем—вспоминает Савич—вошел министр граф Фредерикс. Воейков сейчас же вышел. Фредерикс был страшно расстроен. Он заявил, что государь ему передал свой разговор с присутствующими и спросил его мнения, но раньше, чем ответить на такой ужасный вопрос, он, Фредерикс, хочет выслушать присутствующих.

«Фредериксу повторили то, что было сказано государю. Старик был страшно подавлен и сказал: «Никогда не ожидал, что доживу до такого ужасного конца. Вот что бывает, когда переживешь самого себя».

В свитском вагоне, в купе С. П. Федорова, собрались сопровождавшие царя. Шли вялые разговоры, создавались разные предположения. Вдруг в дверях купе показался возвращавшийся от царя граф Фредерикс. Почти обычным голосом он произнес по-французски одну фразу: «*Savez vous, l'empereur a abdiqué*—Знаете ли вы, император отрекся». Мордвинов живо передает впечатление свитских.

«Слова эти заставили нас всех вскочить...»

«Я лично мог предположить все, что угодно, но отречение от престола столь внезапное, ничем пока не вызванное, не задуманное только, а уже исполненное, показалось такой кричащей несообразностью, что в словах преклонного старика Фредерикса в первое мгновение почудилось или старческое слабоумие или явная путаница.

— Как, когда, что такое, да почему? — слышались возбужденные вопросы. Граф Фредерикс, на всю бурю восклицаний, пожимая сам недоуменно плечами, ответил только: «Государь получил телеграммы от главнокомандующих... и сказал, что раз войска этого хотят, то не хочет никому мешать».

— Какие войска хотят? Что такое? Ну, а вы что же, граф, что вы-то ответили его величеству на это?

«Опять безнадежное пожимание плечами: что я мог изменить? Государь сказал, что он решил это уже раньше и долго *об этом думал*...»

— Не может этого быть, ведь у нас война. — Отречься так внезапно, здесь в вагоне и перед кем и отчего, да верно ли это, нет ли тут

какого-либо недоразумения, граф? — посыпались снова возбужденные возражения со всех сторон, смешанные и у меня с надеждой на путаницу и на возможность еще отсрочить только что принятое решение.

«Но, взглянув в лицо Фредерикса, я почувствовал, что путаницы нет, что он говорит серьезно, отдавая себе отчет во всем, так как и он сам был глубоко взволнован и руки его дрожали.

— Государь уже подписал две телеграммы, — ответил Фредерикс, — одну Родзянко, уведомляя его о своем отречении в пользу наследника при регентстве Михаила Александровича, и оставляя Алексея Николаевича при себе до совершеннолетия, а другую о том же Алексееву в Ставку.

— Эти телеграммы у вас, граф, вы еще их не отправили? — вырвалось у нас новой, воскресшей надеждой.

— Телеграммы взял у государя Рузский, — с какой-то, как мне показалось, безнадежностью ответил Фредерикс и, чтобы скрыть свое волнение, отвернулся и прошел в свое купе.

«Бедный старик, по его искренним словам, нежно любивший государя, как «сына», заперся в своем отделении, а мы все продолжали стоять в изумлении, отказываясь верить в неотвратимость всего нахлынувшего».

- 7

В начале 4-го Рузский вышел из императорского вагона с историческими телеграммами. При выходе ему вручили телеграмму о приезде в этот день вечером членов Государственной Думы Гучкова и Шульгина. Рузский вернулся в вагон и доложил царю телеграмму. По рассказу Рузского, царь взял из его рук сейчас же обратно телеграмму на имя Алексеева, а с первой телеграммой вышла целая история.

И Дубенский, и Мордвинов, расходясь в подробностях, вспоминают о любопытной попытке подействовать на царя и убедить его взять телеграмму обратно. Дубенский в патетическом тоне вспоминает: «Невольный ужас охватил нас, и мы громко в один голос воскликнули, обращаясь к Воейкову: «Владимир Николаевич, ступайте сейчас, сию минуту, к его величеству и просите его остановить, вернуть эту телеграмму». Мордвинов приписывает мысль о приостановке телеграммы графу Граббе. Граббе подбил присутствовавших членов свиты отправиться в купе к графу Фредериксу и предложить ему немедленно идти к царю и «испросить у государя разрешение потребовать эти телеграммы от Рузского и не посылать их». Фредерикс, убежденный доводами свиты, пошел к государю, и через несколько минут вернулся обратно и сказал, что государь приказал сейчас же взять телеграммы от Рузского и передать ему.

Опять мелькнул луч надежды. А, может, обойдется без отречения; может быть, с депутатами удастся и сговориться! И слабовольный, шкодливый повелитель тешит себя надеждой убежать от судьбы.

Начальнику военно-походной канцелярии было поручено взять телеграммы у Рузского. Он вернулся с пустыми руками. Рузский ему не отдал телеграммы Родзянко и сказал, что он идет к царю и лично

переговорит с ним. Рузский не хотел выпускать из своих рук козыря и, встретив царя на платформе, предложил ему оставить телеграмму у него до прибытия Гучкова и Шульгина. Таким образом, попытка аннулировать отречение не удалась: правда, телеграмма не была послана, но и не была возвращена. Желая упредить царя, Рузский приказал, как только подойдет поезд с депутатами, направить их прежде всего к нему, до разговора с царем.

Но свита продолжала волноваться. Ведь пошли к Фредериксу и просили его настоять перед царем о возвращении телеграмм. Направился к царю и лейб-хирург, проф. С. П. Федоров. Беседа Федорова с царем внесла новый момент в историю отречения. Мордвинов рассказывает:

«Было около четырех часов дня, когда Сергей Петрович вернулся обратно в свое купе, где большинство из нас его ожидало. Он нам сказал, что вышла перемена и что все равно прежних телеграмм теперь нельзя посылать: «Я во время разговора о поразившем всех событии,— пояснил он,—спросил у государя—«Разве, ваше величество, вы полагаете, что Алексея Николаевича оставят при вас и после отречения?».—«А отчего же нет?»—с некоторым удивлением спросил государь.—Он еще ребенок и естественно должен оставаться в своей семье, пока не станет взрослым. До тех пор будет регентом Михаил Александрович».

— Нет, ваше величество,—ответил Федоров,—это вряд ли будет возможно, и по всему видно, что надеяться на это вам совершенно нельзя.

Государь, по словам Федорова, немного задумался и спросил: «Скажите, Сергей Петрович, откровенно, как вы находите, действительно ли болезнь Алексея такая неизлечимая?»...

— Ваше величество, наука нам говорит, что эта болезнь неизлечима, но многие доживают при ней до значительного возраста, хотя здоровье Алексея Николаевича и будет всегда зависеть от всякой случайности.

— Когда так,—как бы про себя сказал государь,—то я не могу расстаться с Алексеем. Это было бы уже сверх моих сил... К тому же, раз его здоровье не позволяет, то я буду иметь право оставить его при себе»...

8

Итак слово сказано. Отрекся. Окружавшие его переживали отречение гораздо острее и тягостнее. «Трудно было поймать даже мысль в голове, так тяжело было на душе. Было то же самое, когда на ваших глазах скончается близкий, дорогой вам человек, на которого были все упования и надежды». Герой отречения был много спокойнее. «Вдруг мимо нашего вагона,—вспоминал генерал, чьи переживания только что описаны,—по узкой деревянной платформе между путей я заметил идущего государя с дежурным флигель-адъютантом, герцогом Лейхтенбергским. Его величество в форме кубанских пластунов, в одной черкеске и башлыке, не спеша шел, разговаривая с герцогом. Проходя мимо моего вагона, государь посмотрел на меня весело, кивнул и отдал честь. Лицо

у его величества было бледное, но спокойное». А у генерала на глазах еще не высохли слезы: он плакал над гибелью династии! Отречение Николая, которое в его мнении должно было быть великой трагедией, странным образом напомнило ему, военному человеку, такую частую и обыкновенную процедуру сдачи эскадрона. Что же это! «Царь отказался от российского престола просто, как сдал эскадрон».

А в дневнике своем генерал Дубенский записал: «Долгое время государь гулял между нашими поездами, на вид спокойный, и сказал только: мне стыдно будет увидеть иностранных агентов в Ставке, и им неловко будет видеть меня».

Царь вернулся в столовую к чаю, подававшемуся в пять часов. Скороход доложил свите, и все направились туда. «С непередаваемым тягостным чувством, облегчавшимся все же мыслью о возможности еще и другого решения, входил я в столовую,—вспоминал впоследствии Мордвинов.—Мне было и физически больно увидеть моего любимого государя после нравственной пытки, вызвавшей его решение, но я и надеялся, что обычная сдержанность и ничтожные разговоры о посторонних, столь «никчемных» теперь вещах, прорвутся, наконец, в эти трагические минуты чем-нибудь горячим, искренним, заботливым, дающим возможность сообща обсудить положение; что теперь в столовой, когда никого кроме ближайшей свиты не было, государь невольно и сам упомянет об обстоятельствах, вызвавших его ужасное решение. Эти подробности нам были совершенно не известны, и так поэтому непонятны. Мы к ним были не только не подготовлены, но, конечно, не могли и догадываться, и только, кажется, граф Фредерикс и В. Н. Воейков были более или менее осведомлены о переговорах Рузского и о последних телеграммах, полученных через Рузского и генерала Алексеева от командующих фронтами.

«Нас, по обычаю, продолжали держать в полной неизвестности и, вероятно по привычке же, даже и на этот раз забыли о нашем существовании. А мы были такие же русские, жили тут же рядом, под одной кровлей вагона, и так же могли волноваться, страдать и мучиться не только за себя, как «пустые и в большинстве эгоистические люди», но и за нашего государя, за нашу Россию».

«Но, войдя в столовую и сев на незанятое место, с краю стола, я сейчас же почувствовал, что и этот час нашего обычного общения с государем пройдет точно так же, как и подобные часы минувших «обыкновенных» дней...

«Шел самый незначительный разговор, прерывавшийся на этот раз только более продолжительными паузами.

«Государь сидел спокойный, ровный, поддерживал разговор, и только по его глазам, печальным, задумчивым, как-то сосредоточенным, да по нервному движению, когда он доставал папиросу, можно было чувствовать, насколько тяжело у него на душе...

Ни одного слова, ни одного намека на то, что всех нас мучило, не было, да, пожалуй, и не могло быть произнесено. Такая обстановка

заставляла лишь уходить в себя, несправедливо негодовать на других, «зачем говорят о пустяках» и мучительно думать: «Когда же, наконец, кончится это сиденье за чаем!».

Оно, наконец, кончилось. Государь встал и удалился к себе в вагон.

ГЛАВА VI

К р а х

1

Зачем Гучков и Шульгин выехали в Ставку? А затем, чтобы, пожертвовав монархом, спасти монархию. Надо сказать, что Шульгин, паладин монархии, был потрясен и напуган стихией революционного народа. И в этот момент Шульгин потерял свою волю; решения, которые он принимал, были продиктованы революционным экстазом масс, переполнивших Таврический дворец.

«Мысль об отречении созревала в умах и сердцах как-то сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас».

Буржуазные думцы, которых прекрасно удовлетворило бы ответственное перед ними министерство, уже видели себя в необходимости ставить вопрос об отречении Николая. Убежденные монархисты, они вынуждены были собственными руками подготовить отречение. Мысль об отречении оформилась в ночь на 2 марта. Шульгин занимательно рассказывает, как развивал свои мысли по этому поводу Гучков:—«Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной Думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-то решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... Что дало бы исход... Что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию... Без монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повеление от его лица—уже не повеление: его не исполняют... Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией... Меж тем это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук. Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы сделаем по соглашению с «ними», то это непременно будет наименее выгодно для нас. Надо поставить их перед совершившимся фактом... *Надо дать России нового государя...* Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... Для отпора!.. Для этого надо действовать быстро и решительно»...

2

Была особая острота в встрече Николая с Гучковым и Шульгиным. «Как унизили тебя, послав этих двух скотов!»—яростно выражалась Александра Федоровна.

В глазах Александры Федоровны и ее мужа Гучков был непримиримым врагом не только их лично, но и династии. Они глухо чувствовали, что Гучков в среде высшего командования завязал какие-то прочные связи, что его «скверное, коварное влияние» отрывает от них верно-преданных им до сих пор генералов. «Гучков,—писала царица мужу,—это такая умная скотина, которая начинает Алексева всякими мерзостями». Царица спала и во сне видела, как бы отделаться от Гучкова. Она как-то советовалась с мужем: «Следовало бы отделаться от Гучкова, но только как—это вопрос. *Военное время*—нельзя ли возбудить что-либо, на основании чего его можно бы было засадить? Он добивается анархии, он против нашей династии. Ведь омерзительно видеть его игру, речи и подпольную работу». А в другом письме к мужу царица мечтала: «Ах, если б только можно было повесить Гучкова?». Вообще она была глупо и искренно убеждена в том, что «Гучкову место на высоком дереве». И вдруг судьба бросила кости, и Гучкову вышло место за столиком отречения, супротив самого Николая. А. И. Гучков был человек крепкий, лично храбрый и отважный. Его жизнь была богата авантюрами всякого рода (участие в боксерском восстании, в войне с бурами), и последней смелой авантюрой было устройство военного заговора против самодержца. Революция опередила этот заговор. Несомненно, этот купец из раскольниковей семьи был свободен от каких-либо следов рабского страха и восторженного пресмыкательства—чувств, проникавших сердца наивных монархистов. Этими чувствами были проникнуты буржуазные товарищи Гучкова по Думе, Родзянки, Шидловские, Шульгины, Гучков видел, как трудно их раскачать на требование отречения, и решил, что за это дело может взяться только он.

«1 марта в думском комитете я заявил, что, будучи убежден в необходимости этого шага, я решил его предпринять во что бы то ни стало, и, если мне не будут даны полномочия от думского комитета, я готов сделать это за свой страх и риск; поеду, как политический деятель, как русский человек, и буду советовать и настаивать, чтобы этот шаг был сделан». *Надо* ехать к царю и привезти отречение. Как его получить, как добиться от него отречения, Гучков еще не представлял себе, но он весь был во власти *надо*.

Шульгин был помельче Гучкова. Наивный монархист «по крови», он привык раболепно вздрагивать при одном приближении—даже мысленном—к его величеству. Ноздри его расширялись в атмосфере, окружавшей венценосца и самодержца, «атмосфере, которую, по его же словам, испытывают так сказать монархисты по крови, да еще провинциальные, когда они приближаются к тому, кому после бога одному повинуются». Несколько раз видел Шульгин Николая, и всякий раз впадал

в блаженное состояние собачонки, которой щекочут за ухом. Уже и Шульгину пришили эпитет «искренний», пусть он при нем и остается, но в момент революции искренний монархист был искренне и здорово напуган. Когда прошли гражданские войны, и Шульгину остались одни воспоминания—плоды сердечной пустоты, он всячески старался об'яснить себе, как это он, искренний монархист, замахнулся—на кого же?—на монарха; и так и сяк он хочет выставить величие души Романова, на которого он покусился; дирическими криками, воплями покаяния заговорил трехсотлетний раб. Как побитая собака бежит за господином, так и он, Шульгин, повинувшись тому же чувству, побежал, по зову Гучкова, к господину. «Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с Чхеидзе... Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии». Было чувство садистического надрыва во всем этом.

Гучков и Шульгин ехали, как обреченные. «Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершалось не при полном блеске сознания»,—вспоминает Шульгин. В грандиозных чертах рисовалось их воспаленному воображению событие, свидетелями, участниками которого они собирались быть. Такой важный акт в истории России—перемена власти, крушение трехсотлетней династии, падение трона! Да, тут был материал для любителей сильных ощущений.

3

В три часа дня, как раз в то время, когда Гучков и Шульгин выезжали из Петербурга, царь подписал две телеграммы—в Ставку и Родзянке—об отречении за себя в пользу наследника, с великим князем Михаилом Александровичем в роли регента. Лишь только получены были сведения о выезде членов Думы, царь потребовал телеграммы обратно; правда, Рузский удержал у себя одну, но она, по приказу отрекшегося царя, осталась не посланной. Разговор с лейб-медиком проф. Федоровым убедил царя в том, что если уж отречься, так не только за себя, а и за немощного сына. Но все действия были отложены до приезда депутатов Думы.

В ответ на нетерпеливое ожидание генерала Алексеева (отрекся ли, наконец!) Данилов только всего и мог сообщить: «Около 19 часов его величество примет члена Государственного Совета Гучкова и члена Государственной Думы Шульгина, выехавших экстренным из Петрограда. Государь император в длинной беседе с генерал-ад'ютантом Рузским, в присутствии моем и генерала Савича, выразил, что нет той жертвы, которой его величество не принес бы для истинного блага родины. Телеграммы ваши и главнокомандующих были все доложены».

Рузский отдал строгий наказ—депутатов прежде всего направить к нему, а затем к царю. Свита решила, что у Рузского есть свой замысел и что он настроит депутатов по-своему, и потому было постановлено среди

свитских следить за прибытием поезда и из-под носа у Рузского перехватить депутатов и поставить их перед царские очи. Им все казалось, что депутаты скажут что-нибудь новое, с ними можно будет договориться и отречения не надо будет. И Николай, опарашенный доводами и соображениями Рузского и *вынужденный* к отречению, все же в глубине души не верил картине, нарисованной Рузским и генералами, и надеялся, а вдруг думцы, вспомнив трехсотлетнюю преданность, в единении с ним и народом пойдут вместе с ним против генералов! А может быть? Ни одного шансика терять не нужно. Ну, а если думцы настроены так же, как Алексеев с своими генералами—«давай им отречение», так ведь он уже пережил психологическую подготовку, он уже отрекся,—и можно будет сказать, что не думцы принудили его к отречению, можно будет поразить их великим спокойствием и чинной обрядностью отречения. В сущности, на отречение никакого чина и обряда не было создано, но Николай любил делать все округло и аккуратно.

4

Флигель-ад'ютант Мордвинов перехватил депутатов. Еще не остановился поезд, как он уже был в обширном темном купе, слабо освещенном огарком свечи. «Его величество вас ожидает и изволит тотчас же принять»,—сказал Мордвинов Гучкову и Шульгину. Гучков вспоминал потом: «Я хотел сперва повидать генерала Рузского для того, чтобы немножко ознакомиться с настроением, которое господствовало в Пскове, узнать, какого рода аргументацию следовало успешнее применить, но полковник очень настойчиво передал желание государя, чтобы я непосредственно прошел к нему». А Шульгин, почувствовав на расстоянии приближение особы царя, совсем ослабел от различных волнений, совсем развинтился и мог только нервно причитать. Вот его рассказ: «Поезд стал... Сейчас же кто-то подшел... Государь ждет вас... И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отвратить? Нет, нельзя... Так надо... Нет выхода... Мы пошли, как идут люди на все, самое страшное,—не совсем понимая... Иначе не пошли бы»...

Мордвинов повел по железнодорожным путям депутатов. По дороге вышел небольшой разговор, сохраненный Мордвиновым, очень характерный для одного из депутатов, приехавших требовать отречения,—для Шульгина.

— Что делается в Петрограде?—спросил я их.

«Ответил Шульгин. Гучков все время молчал и, как в вагоне, так и идя до императорского поезда, держал голову низко опущенною.

— В Петрограде творится что-то невообразимое—говорил, волнуясь, Шульгин.—Мы находимся всецело в их руках, и нас, наверно, арестуют, когда мы вернемся.

«Хороши же вы, народные избранники, облеченные всеобщим доверием»,—как сейчас помню, нехорошо шевельнулось в душе при этих словах.—«Не прошло и двух дней, как вам приходится уже дрожать перед

этим народом; хорош и сам «народ», так относящийся к своим избранникам».

— Что же вы теперь думаете делать, с каким поручением приехали, на что надеетесь? — спросил я, волнуясь, шедшего рядом Шульгина. Он с какой-то, смутившею меня, не то неопределенностью, не то безнадежностью от собственного бессилия, и как-то тоскливо и смущенно понизив голос, почти шопотом, сказал: «Знаете, мы надеемся только на то, что, быть может, государь нам поможет»...

— В чем поможет? — вырвалось у меня, но получить ответа я не успел».

Мордвинов привел депутатов в вагон-столовую императорского поезда. Сняли платье, ввели в салон. Их встретил старый, высокий, худой, изжелта седой генерал-адъютант, барон Фредерикс. В салоне был еще и начальник военно-походной канцелярии, К. А. Нарышкин, которому поручено было вести запись разговора. Царь находился в своем вагоне. Воейков доложил ему о приезде депутатов, и через некоторое время, — вспоминает Мордвинов, — в кавказской казачьей форме, спокойный и ровный, государь прошел своей обычной неторопливой походкой в соседний вагон, и двери салона закрылись.

«В дверях появился государь, — вспоминает Шульгин... — Он был в серой черкеске. Я не ожидал его увидеть таким... Лицо? Оно было спокойно».

Царь поздоровался за руку (пожатие руки запомнилось Шульгину, и притом, как скорее дружелюбное!), осмотрелся, спросил об отсутствии Рузского, предложил начать без него. В это время Рузский уже подходил к вагону. «Мы (свитские), — вспоминает Мордвинов, — увидели Рузского, торопливо подымавшегося на входную площадку салон-вагона, и я подошел к нему, чтобы узнать, чем вызван его приход. Рузский был очень раздражен и, предупреждая мой вопрос, обращаясь в пространство, с нервной резкостью, начал совершенно по-начальнически кому-то выговаривать: «Всегда будет путаница, когда не исполняют приказаний. Ведь было ясно сказано — направить депутатов раньше ко мне. Отчего этого не сделали, вечно не слушаются»...

«Я хотел его предупредить, что его величество занят приемом, но Рузский, торопливо скинув пальто, решительно сам открыл дверь и вошел в салон».

5

Маленький четырехугольный столик, придвинутый к зеленой шелковой стенке вагона. По одну сторону, опершись слегка о шелковую стенку, сидит царь, рядом с ним Гучков. Напротив — Шульгин и Фредерикс; между ними сел, пришедший немного позже, Рузский.

Начал говорить Гучков. «Я боялся, — вспоминал Шульгин сейчас же после события, — что Гучков скажет царю что-нибудь злое, безжалостное, но этого не случилось. Гучков говорил довольно долго, гладко, даже стройно в расположении частей своей речи. Он совершенно не коснулся

прошлого. Он изложил современное положение, стараясь выяснить, до какой бездны мы дошли. Он говорил, не глядя на царя, положив правую руку на стол и опустив глаза. Он не видел лицо царя и, вероятно, так ему было легче договорить все до конца. Он и сказал все до конца, закончив тем, что единственным выходом из положения было бы отречение царя от престола в пользу маленького Алексея, с назначением регентом великого князя Михаила. Когда он это сказал, генерал Рузский наклонился ко мне и шепнул: «Это уж дело решенное».

Речь Гучкова проконспектирована, очевидно, очень сжато Нарышкиным в протоколе отречения и затем совсем уже сжато передана им самим в показаниях перед следственной комиссией Временного правительства 2 августа 1917 года. Вот что говорил Гучков (в его собственной передаче): «Я сказал, что приехал от имени временного думского комитета, чтобы осветить ему положение дел и дать ему те советы, которые мы находим нужными для того, чтобы вывести страну из тяжелого положения. Я сказал, что Петроград уже совершенно в руках этого движения, что всякая борьба с этим движением безнадежна и поведет только к тяжелым жертвам, что всякие попытки со стороны фронта насильственным путем подавить это движение ни к чему не приведут, что, по моему глубокому убеждению, ни одна воинская часть не возьмет на себя выполнения этой задачи, что как бы ни казалась та или другая воинская часть лояльна в руках своего начальника, как только она соприкоснется с петроградским гарнизоном и подышит тем общим воздухом, которым дышит Петроград, эта часть перейдет немедленно на сторону движения, и поэтому — прибавил я — всякая борьба для вас бесполезна».

В этот момент Рузский поддержал Гучкова. Он сказал:

— Ваше величество, я должен подтвердить то, что говорят Александр Иванович; никаких воинских частей я не мог бы послать в Петроград».

Продолжаем передачу Гучкова:

«Я рассказал государю тот эпизод, который имел место накануне вечером в Таврическом дворце. Эпизод заключался в следующем: я был председателем военной комиссии, и мне заявили, что пришли представители царскосельского гарнизона и желают сделать заявление. Я вышел к ним. Кажется, там были представители конвоя, представители сводного гвардейского полка, железнодорожного полка, несущего охрану поездов и ветки, и представители царскосельской дворцовой полиции, — человек 25—30. Все они заявили, что всецело присоединяются к новой власти, что будут попрежнему охранять имущество и жизнь, которые им доверены, но просят выдать им документы с удостоверением, что они находятся на стороне движения. Я сказал государю: «Видите, вы ни на что рассчитывать не можете. Остается вам только одно — исполнить тот совет, который мы вам даем, а совет заключается в том, что вы должны отречься от престола. Большинство тех лиц, которые уполномочили меня на приезд к вам, стоят за укрепление у нас конституционной монархии, и мы советуем вам отречься в пользу вашего сына, с назначением в каче-

стве регента кого-нибудь из великих князей, например, Михаила Александровича».

С первых слов Гучкова Николаю стало ясно, куда он клонит. Последний шансик исчез теперь уж бесповоротно. Надо только соблюсти внешность, показать этим скотам императорскую выдержку.

Шульгин, наблюдавший за царем, записал впечатление: «Государь смотрел прямо перед собой, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице: «Эта длинная речь—лишняя».

Речь Гучкова приходила к концу. «Когда я (передает Гучков) все свои соображения изложил, я закончил тем, что государю только один шаг остается сделать, это—отречься. Но я сказал государю: «Я знаю, ваше величество, что то, что я вам предлагаю, есть решение громадной важности, и я не жду, чтобы вы приняли его тотчас. Если вы хотите несколько обдумать этот шаг, я готов уйти из вагона, подождать, пока вы придете к этому решению, но, во всяком случае, все это должно совершиться сегодня вечером. Я останусь час или полтора, и ко времени моего отъезда нужно, чтобы документ был в моих руках».

Гучков кончил.

С шелковых зеленых стенок вагона опустилась тишина.

И вот начал отвечать царь.

В стенограмме доклада Шульгина этот момент описан так: «Когда Гучков кончил, заговорил царь. Его голос и манеры были гораздо спокойней и деловитей. Совершенно спокойно, как о самом обыкновенном деле, он сказал: «Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До 3 часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться с моим сыном я неспособен». Тут он сделал очень короткую остановку и продолжал: «Вы это, надеюсь, поймете. Поэтому я решил отречься в пользу брата».

Гораздо позже, в «Днях», Шульгин вспоминал:

«После взволнованных слов Гучкова (казалось Шульгину) голос царя звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немного чужой—гвардейский».

В протоколе ответ царя изложен уже в закругленных, отредактированных фразах: «Ранее вашего приезда и после разговора по прямому проводу генерал-адъютанта Рузского с председателем Государственной Думы, я думал в течение утра, и во имя блага, спокойствия и спасения России, я был готов на отречение от престола в пользу своего сына, но теперь, еще раз обдумав положение, я пришел к заключению, что, в виду его болезненности, мне следует отречься одновременно и за себя и за него, так как разлучаться с ним я не могу».

Александр Иванович Гучков был окончательно разочарован. Он волновался, подбирал аргументы, готовился к небывалому напору, но «настаивать ему не пришлось, это вышло легко и просто». Давая показа-

ния 2 августа 1917 года, А. И. Гучков рассказал о чувствах, испытанных им 2 марта, и дал любопытнейшую оценку поведения Николая.

«Вообще я должен сказать, что вся эта сцена произвела в одном отношении очень тяжелое впечатление. Как же все-таки такой важный акт в истории России,—не правда ли? перемена власти, крушение трехсотлетней династии, падение трона! И все это прошло в такой простой, обыденной форме и, я сказал бы, настолько без глубоко трагического понимания всего события со стороны того лица, которое являлось главным деятелем в этой сцене, что мне прямо пришло в голову, да имеем ли мы дело с нормальным человеком? У меня и раньше всегда было сомнение в этом отношении, но эта сцена, она меня еще глубже убедила в том, что человек этот просто, до последнего момента, не отдавал себе полного отчета в положении, в том акте, который он совершал. Все-таки при самом железном характере, при самообладании, которому равного нельзя найти, что-нибудь в человеке дрогнуло бы, зашевелилось, вы почувствовали бы тяжелое переживание. Но ничего этого не было. Я должен сказать, что с этого момента, хотя и раньше я относился с достаточной суровостью к его советникам и его окружающим, но с этого момента я стал относиться к ним с сугубой суровостью: мне казалось, что эти люди должны были понять, что они имеют дело с человеком, который не может считаться во всех отношениях нормальным. Повидимому, человек с пониженной сознательностью, я сказал бы—с пониженной чувствительностью, которая не давала ему возможности проходить все стадии и чувства, которые мы, нормальные люди, переживаем».

Гучков дает совершенно правильную разгадку режущей глаз выдержки Николая. Да, это—не сила воли, не присутствие духа, не героическое спокойствие; это—пониженная сознательность; при наличии такого состояния—неполная восприимчивость происходящего вокруг, неместимость в сознании некоторых представлений и положений. Николай был совсем средний человек, без каких-либо горизонтов. Всероссийский престол застал его врасплох, и он принял царство, как чиновник должность. Нужно было принять и нужно было служить. При крайне незначительном образовании, без какой-либо подготовки к царствованию, из Николая и вышел царь-чиновник. С утра начиналась служба; он принимал доклады, давал аудиенции, а затем читал всеподданнейшие рапорты, доношения, в огромном количестве—иногда до одурения. Не только читал, но и должен был выражать свое отношение, ставить пометы. Но тут выручали трафареты, общие места:

Вполне справедливо
верно
и я то же думаю
очевидно
весьма полезно
согласен
утешительно
грустно
надеюсь, так и будет
но почему и т. д.

По молодости лет Николай отделялся трафаретами, с годами стал делать отписки по существу царевой мудрости. Мудрость оказывалась совсем немудреная; по старинке от родителя, от окружающих родственников и придворных—очень сереньких дворян-помещиков—усвоил Николай и трафареты управления. «От господ бога вручена нам власть царская над народом нашим, пред престолом его мы дадим ответ за судьбы державы Российской»,—вот мистическая формула неограниченного самодержавия, замечательная своей яркой нелепостью, своим бессодержательным нигилизмом. Но эта формула была крепко усвоена Николаем: в сущности, власть—ниоткуда, и не перед кем за нее отчитываться. Психологическое освоение этого положения вело к полному квиетизму. В конце концов, у Николая не было вкуса к власти, не было плотоядного и сладострастного наслаждения неограниченной властью, как, скажем, это было у Петра Первого, у Николая I, у Александра II, у Александра III. Царь-чиновник с мировоззрением среднего гвардейского поручика, с органической неспособностью к длительным мыслительным процессам; с невинными утехами. Весь в лоне семьи. Его влекут радости семейного очага, и круг жизни был бы не полон, если бы не маленькие удовольствия, которым можно предаться в минуты досуга от трудов царствования. Хорошо подышать свежим воздухом, погулять, поохотиться в заповедных фазанниках, или—еще скромнее—пострелять ворон; поиграть в домино, посмотреть фотографии и наклеить в альбом (горы альбомов переклеил!); поехать в привилегированный гвардейский полк на полковой праздник и здесь, в собрании, в кругу вернопреданных офицеров, немного «намазаться»—много ли царю надо! Вот и все маленькие «удовольствия» Николая. Впрочем, кроме этих удовольствий, чисто-физического порядка, были и духовные—самого высокого для Николая порядка: душеспасительные беседы с достопочтенным Григорием Ефимовичем Распутиным. Тщательно записывал царь в дневнике эти высочайшие моменты духовной жизни. «Вечером имели утешение побеседовать с Григорием—с 9 ч. 45 м. до 11 ч. 30 м.». «Вечером хорошо побеседовали с Григорием» и т. д.

Вот он весь тут, всероссийский самодержец, в маленьких удовольствиях. Что с него взять? Взятки гладки. Ему по плечу Воейков, Фредерикс и прочие заведомые и патентованные ничтожества. И среди этих детей ничтожного мира, быть может, он всех ничтожней! Но он не поэт, не мечтатель; он без порывов, без крыльев. И события он воспринимает в своем сознании только обыкновенные, а если это—необыкновенные, то он обязательно должен или воспринять их, как обыкновенные, снизить их до обычных, или же пройти величественно мимо них, не снизойдя до них, не нарушая безмятежного спокойствия ограниченных возможностей.

Так было и с отречением. Это Гучкову казалось необычайным—крушение трехсотлетней династии, падение трона,—а Николаю все это представлялось делом обыкновенным. В применении к своей личной жизни он понимал отречение так: труды царствования с него будут

сняты, он будет обыкновенным человеком, будет вести обыкновенную жизнь, и обыкновенные утехи ему останутся. Дубенский рассказывает: «Когда царь говорил с С. П. Федоровым, ведь он наивно думал, что он может отказаться от престола и остаться простым обывателем России, и когда С. П. Федоров ему сказал: «Ваше величество, ведь это совершенно невозможно»,—он ответил: «Неужели вы думаете, что я буду интриговать? Я буду жить около Алексея и его воспитывать». Ведь он говорил: «Я должен прямо сказать, я не могу расстаться с Алексеем».

Очевидно, и революция, лишь только он отказался от трона,—стала казаться ему тоже чем-то обыкновенным.

7

Депутаты не получили того, что они должны были привезти в Петроград. Царь спутал их карты, отказавшись от престола не только за себя, но и за сына. Престол он передавал брату Михаилу. Это не входило в планы буржуазных думцев и не устраивало положения, но, подумав, они решили остаться при добытых результатах и не развивать дальше энергии.

Главное было сделано. Предстояло оформить отречение. Гучков вручил царю проект отречения, набросанный Шульгиным. Царь ответил, что проект уже составлен, и удалился к себе. В 11 ч. 40 минут царь вернулся в вагон и передал манифест об отречении Гучкову. «Депутаты—записано в протоколе об отречении—попросили вставить фразу о присяге конституции нового императора, что тут же было сделано его величеством. Одновременно были собственноручно написаны его величеством указы правительствующему сенату о назначении председателем совета министров князя Львова и верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. Чтобы не казалось, что акт совершен под давлением приехавших депутатов, и так как самое решение об отречении от престола было принято его величеством еще днем, то, по совету депутатов, на манифесте было поставлено при подписи 3 часа дня, а на указах правительствующему сенату—2 часа дня».

Главное было сделано. Присутствующие испытывали какую-то неловкость. Протокол сохранил следы разговоров, ненужных и лишних. Они характерны. Таков короткий диалог между царем и Гучковым:

Царь: «Давая свое согласие на отречение, я должен быть уверенным, что вы подумали о том впечатлении, какое оно произведет на всю остальную Россию. Не отзовется ли это некоторою опасностью?».

Гучков: «Нет, ваше величество, опасность не здесь. Мы опасались, что, если объявят республику, тогда возникнет междоусобие».

В этом диалоге хороши оба: и отрекшийся царь, решивший поугагать своего врага возможностью восстания за него, и Гучков, уже знавший, что народные массы о династии и слышать не хотят. Диалог продолжался:

Гучков: «У всех рабочих и солдат, принимавших участие в беспорядках, уверенность, что водворение старой власти—это расправа с ними,

а потому нужна полная перемена. Нужен на народное воображение такой удар хлыстом, который сразу переменял бы все. Я нахожу, что тот акт, на который вы решились, должен сопровождаться и назначением председателем совета министров князя Львова».

Царь: «Я хотел бы иметь гарантию, что вследствие моего ухода и по поводу его не было бы пролито еще лишней крови».

Шульгин: «Может быть, со стороны тех элементов, которые будут вести борьбу против нового строя, и будут попытки, но их не следует опасаться. Я знаю, например, хорошо город Киев, который был всегда монархическим; теперь там полная перемена».

Царь: «А вы не думаете, что в казачьих областях могут возникнуть беспорядки?»

Гучков: «Нет, ваше величество, казаки все на стороне нового строя».

По просьбе депутатов, был изготовлен еще один экземпляр отречения. Все было кончено.

Слово—Шульгину:

«Государь встал... Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там—ближе к выходу... Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказаться... И у меня вырвалось:—«Ах, ваше величество... Если бы вы это сделали раньше, ну, хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого...»

Я не договорил...

Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:

— Вы думаете, обошлось бы?»

Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу.

Я спросил:

— Разрешите узнать, ваше величество, ваши личные планы? Ваше величество поедете в Царское?

Государь ответил:

— Нет... Я хочу сначала проехать в Ставку проститься... А потом я хотел бы повидать матушку... Поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне... А потом—в Царское...»

«Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Государь отпустил нас».

Мы уже приводили первую половину записи, сделанной в дневнике Николаем за 2 марта. Воспроизводим конец записи: «Нужно мое отречение... Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из

Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман».

В час ночи одлеванный императорский поезд тронулся в путь. Человек, который записал в своем дневнике только что процитированные строки, после пережитых треволнений, заснул. «Спал долго и крепко, проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре». — Записал бывший царь в дневнике на следующий день, 3 марта. В этот же день он узнал, что великий князь Михаил отрекся от престола в пользу учредительного собрания. Царь записал: «Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто надумил его подписать такую гадость»...

«— А, и вы, Мордвинов, вышли подышать свежим воздухом! — сказал Николай Романов, прогуливаясь во время остановки поезда на одной из глухих станций 3 марта. Сказал и продолжал идти вперед.

«Я пошел рядом с ним, — вспоминает Мордвинов. — Мы были совершенно одни — все мои товарищи по свите оставались в вагоне. Ординарец, урядник конвоя, находился далеко.

«Впервые за эти мучительные дни мне явилась неожиданная возможность остаться на несколько минут с глазу на глаз с государем, олицетворявшим мне мою родину, с человеком, которого я так любил и за которого теперь так страдал...

«Я чувствовал его душевное состояние, мне так хотелось его утешить, облегчить. Я посмотрел на него и вдруг заговорил, почти бессознательно и так глупо и путанно, что до сих пор краснею, когда вспоминаю эти взволнованные «успокоения», оставшиеся в наказание у меня в памяти.

— Ничего, ваше величество, — сказал я, — не волнуйтесь очень, ведь вы не напрашивались на престол, а, наоборот, вашего предка в такое же подлое время пришлось долго упрашивать и, только уступая настойчивой воле народа, он, к счастью России, согласился нести этот тяжелый крест... нынешняя воля народа, говорят, думает иначе... что ж, пускай попробуют, пускай управляют сами, если хотят! Насильно мил не будешь, только что из этого выйдет.

«Государь приостановился.

— Уж и хороша эта воля народа! — вдруг с болью и непередаваемой горечью вырвалось у него».

К ночи на 3 марта поезд пришел в Могилев, в Ставку. Гучков передает рассказ одного из старых великих князей о первой — после отречения — встрече с Николаем. «Господи, господа, — говорил великий князь, — что это за человек! Я видел государя после отречения, и вы знаете, что он мне сказал: «Ну, что, как у тебя там-то?» и навал имение, где вели-

кий князь живет». И опять Гучков возвращается к своим впечатлениям от акта отречения: «Я и Шульгин могли подумать, что пред нами это была комедия, что он взял всю свою твердость и мужество в руки, чтобы не показаться ослабевшим, но ведь великий князь—это свой человек, они встретились вдвоем с глазу на глаз, он сам принадлежал к царской семье из самых старых, человек, перед которым не надо было прикидываться, за которого он также отрекся, так что, казалось бы, что отзвук хотя какой-нибудь переживаемой трагедии должен был быть».

Никаких отзвуков не было, потому что и самой трагедии не было.

А душа Александры Федоровны, там, в Царском Селе, разрывалась на части от оскорблений, нанесенных семье Романовых. А самое отречение представлялось ей последовательным и логичным. По ее мнению, Николай не мог подписать «противного тому, в чем он клялся на своей коронации»; не мог подписать конституции, ограничивающей самодержавие, данное богом. В страстном письме бывшая царица посылала мужу совершенно экстатические утешения: «Я вполне понимаю твой поступок, о, мой герой!.. Мы в совершенстве знаем друг друга, нам не нужно слов, и, клянусь жизнью, мы увидим тебя снова на твоём престоле, вознесенным обратно твоим народом и войсками во славу твоего царства. Ты спас царство, твоего сына, и страну, и свою святую чистоту, и (Иуда Рузский!) ты будешь коронован самим богом на этой земле, в своей стране».

В Ставке Николай свиделся со своей матушкой, вдовой Александра III, Марьей Федоровной. «Матушка приехала на два дня, так уютно, мило обедаем с нею в поезде. Опять снежная буря. В мыслях и молитвах с вами»,—телеграфировал Николай взволнованной и раздраженной жене в ответ на ее успокоения. Разговоры с мамой были грустные, но нашлось время, и Николай Александрович Романов поиграл с матерью в безик. Ему казалось: все вошло в колею обыкновенной жизни обыкновенного человека.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

I. А. ЛЕЖНЕВ. Иосиф Уткин.—II. Я. ФРИД. Панаит Истрати.—III. ФРОЛ СКОБЕЕВ. Литературный ларек.—IV. А. ДЕРМАН. По поводу языка книги Станиславского.—V. А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ. В щелочах и кислотах.

I. ИОСИФ УТКИН

А. Лежнев

Всего каких-нибудь два-три года, как появился этот молодой поэт на горизонте большой литературы, и вот он уже один из наиболее любимых авторов, его стихи заучиваются наизусть, повторяются молодежью, он занял прочное место в поэзии сегодняшнего дня—и мимо него не сможет пройти даже враждебно-настроенный наблюдатель. Чем объясняется такой стремительный успех? Как сумел 20-летний поэт сразу добиться признания—нет, больше, чем признания—любви? Или иначе: какими свойствами дарования, какими особенностями творчества ответил он запросам читателя, требованиям современности—и что это были за запросы и требования?

Пожалуй, именно так, именно в этой последней формулировке и следует ставить вопрос. Во всяком большом литературном успехе дело заключается не только в таланте и индивидуальных достоинствах писателя, а—главным образом—в том, что его талант и достоинства своим направлением, своей окраской как-то совпадают с направлением и окраской общественных симпатий, настроений и вкусов. Читательская масса выносит на своем хреб-

те лишь своего знаменосца. Он может не *целиком* отвечать ее нуждам и желаниям, но его успех свидетельствует, что в каком-то решающем пункте стремления поэта и массы совпали. Где же эта точка совпадения у Уткина? При своем развертывании этот вопрос приводит сперва к другому: чего не хватало пролетарской поэзии предшествующих лет?

Не хватало лиризма—конкретного и индивидуально-окрашенного, в котором «общее» было бы увязано с «личным», преломлено сквозь него. Если поэзия «космического» периода пролетарской литературы отличалась абстрактностью тем, отвлеченностью «грандиозных» замыслов, где недостаток определенности возмещался избытком риторики, то второй период пролетарской поэзии, выразителем которого может служить Безыменский, характеризуется голым рационализмом, угловатостью обнаженной логики, схематизмом построения, выпиранием идеологического остова, аскетизмом красок. В ней было все ясно, как на ладони—может быть, потому она и прискучила так скоро. По первым двум строчкам читатель уже приблизительно знал,

что он встретит в середине и в конце. Эта поэзия не знала неожиданных поворотов, она строилась геометрически, по прямой. Развертываясь, как силлогизм, нередко напоминая рифмованную статью, она обращалась к логике читателя, а не к его чувству. Но от публицистики, в собственном смысле, она отличалась—к своей невыгоде—тем, что сложная логика борьбы в ней упрощалась и бледнела. Ее острота достигалась за счет глубины, ее хлесткость—за счет убедительности. Читатель встречал в ней лишь то, что ему было уже хорошо известно, выраженное разве только немного более ярко, чем в газетной статье. Неудивительно, что она ему приелась. Стала ощущаться необходимость в какой-то иной, «теплой», эмоционально-насыщенной поэзии, где общественное было бы проведено через личное, в лирике, которая охватила бы широкий диапазон чувств и могла бы гораздо сильнее, чем прежде, затронуть читателя, действовать не только через логику, но и через эмоцию. Это чувствовал и читатель и поэт. Уже у Безыменского, у Жарова мы встречаем попытки произвести подобное соединение общего с личным, но они обычно не выходят из стадии заявлений, деклараций. Успех Уткина об'ясняется тем, что у него—одного из первых—такой синтез получил действительное осуществление, хотя и далеко не полное. Его лирика заговорила теплым, грудным голосом. Она сказала не все, что надо было сказать, она произнесла только первые слова, и порой ее интонации срывались или звучали тускло, а в движениях сквозила связанность. Но она все же произнесла их—и сама этому удивилась, и украдкой посмотрела в зеркало, хорошо ли это вышло. И когда убедилась, что хорошо, что поза молодости ей к лицу—в ее голосе появились уверенные и ласкающие ноты.

Да, поэзия Уткина находит такой стилизм не только потому, что она тепло окрашена и соединила общественные мотивы с личными, революционную страсть с любовью к женщине, но и потому, что это—поэзия молодости, щедрой и «красивой», благородной и стрём-

мительной, сознающей свою привлекательность и слегка позирующей. Иосиф Уткин—юноша *par excellence* нашей литературы. Каждая литература имеет такого юношу. Иногда это—Шиллер или Шелли. Другой раз—всего только Языков (и Языковых, конечно, больше, чем Шиллеров). Но звучат ли в нем громы приближающихся революций или только играет легкая пена молодости и вина, всегда он, среди других поэтов, равных ему по таланту и общественной значимости, пользуется особенной любовью и благосклонностью. Юноша *par excellence* кажется и поэтом *par excellence*.

О, молодость!
Где бы я ни был,
О, юность!
Зимой и весной
Со мною—
Бубновое небо,
И плотская нежность
Со мной.

Когда поэт говорит так, он непременно затронет у большинства слушателей какую-то «струну» и заставит ее звучать. Идеализация и пафос молодости не могут не найти благодарного отклика. Но, если вдуматься,—странно, что эти стихи написал юноша. Перефразируя слова Тургенева: молодость, так же, как и здоровье, не ощущается, когда она есть. Надо пережить ее, отойти на дистанцию, для того, чтобы ее почувствовать, как особое состояние. Юноша не думает о себе, как о юноше. Уткин же как будто зараз и действующее лицо и наблюдатель. Он словно видит себя со стороны или любит себя собой. Здесь не только молодость, но и поза молодости. Эта милая, привлекательная поза, в которой мало такого, что могло бы вызвать досаду или глухое раздражение, но все-таки поза.

Молодость и поза... Этим сказано еще немного. *Какая* молодость—вот что важно знать. Поэзия Уткина воздвигается, конечно же, не юношеским началом, как абстрактностью, но тем конкретным содержанием, которым это начало наполнено, той формой, какую оно приняло под давлением эпохи, той окраской, что внесли в него обществен-

ные настроения. Возьмем образы уткинской лирики:

Над степью *плодоносной*
Закат всегда *богат*,
И *бронзовые* сосны
Пылают на *закат*.

И ночь эта будет *богатой*,
И я улыбнуться не прочь.
Уж *бронзовый якорь заката*
Бросает московская *ночь...*

Сквозь *пышные* годы мой
Прошли *ароматные* носы,
Как две *золотые струи*.

Пляшут кони. *Льются трубы*,
Светлой медной водой.

И, как *заря*, *пылали трубы*,
Обняв *веселых* трубочей.

Как *зеленем* *полные чаши*,
Шипят
И *кипят*
Тополя.

Кипят березы
Побеждающих *наденд*.

Нас сразу же поражает пристрастие поэта к ярким краскам и декоративной пышности. Золото, бронза, медь пылают, льются, торжествуют. Для своих пейзажей он выбирает преиму- щественно час заката, являющий наибольшее красочное великолепие. Его степи плодоносны, тополя кипят, как чаши, полные вином, кони пляшут, пламенеющие трубы обняли веселых трубочей. Его излюбленные эпитеты: богатый, пышный, плодоносный, — эпитеты, выражающие жизненную полноту, изобилие, избыточность. Недаром же «*кипят*» его тополя и березы, словно не в силах удержать в себе поток бурлящей жизнерадостности — и не случайно явилось это сравнение с «*полными* чашами». Перед нами как будто человек, у которого глаза были долгое время закрыты или устремлены на одну цель и не видели ничего по сторонам, не замечали степи, закаты, деревья, — и который вдруг открыл глаза, и оглянулся, и увидел всю красочность и великолепие окружающего мира. И то, к чему уже привыкли десятки и сотни поколений, встает перед ним в новом обаянии, кажется возникшим впервые, необычайным и чудесным.

Это не только сравнение. Красочную пышность лирики Уткина можно действительно понять лишь как следствие эпохи, относительно мирного строительства пришедшей на смену годам гражданской войны — с их вынужденным аскетизмом. Эти годы не знали — и не могли знать — любования пейзажем, поэтизации природы, вещей, женской красоты. И не только потому, что пафос борьбы — исключительный по своей целеустремленности — не давал места никаким другим чувствам, но и потому, что отсутствовала материальная основа для такого рода поэзии. Для того, чтобы появился вкус к красочности и декоративности, для того, чтобы золото, бронза и медь могли запылать в стихах Уткина, и закипели бы там чаши, полные вином, нужны были известные материальные предпосылки. Нужно было, чтобы страна хоть немного выкарабкалась из нищеты и разорения, вызванных интервенцией, блокадой, голодом, четырьмя годами империалистической и четырьмя годами гражданской войны. Нужна была некоторая — пусть и невысокая — степень благосостояния. И когда, после окончания гражданской войны, были сделаны первые шаги по пути строительства, искусство сразу же откликнулось на начавшееся экономическое возрождение страны волной поэтизации вещей. Отчетливее всего она проявилась в живописи — быть может, потому, что живописи легче передать убедительность, несомненность и яркость вещного мира. В поэзии самое элементарное и непосредственное ее выражение мы находим у Сельвинского в оде о медном чайнике («Улялаевщина»): это, конечно, не гимн организованности (как следовало бы из замысла автора), а гимн нужным вещам, которых так долго не было.

Поэтизация вещей явилась наиболее естественным, но и наиболее примитивным ответом на начинающееся хозяйственное восстановление. Пред поэтом чудесной и удивительной предстала вещь, обыкновенная вещь, самым замечательным в которой было то, что она была необходима и в ней чувствовался недостаток. Вещный мир

брался, как материал для эстетического изображения — и в этом был уже заключен зародыш красочно-декоративного восприятия. Радость вещи скоро и незаметно переходила в любованье вещью. Но радость вещи, хотя и раньше всего сказавшаяся, была только частью общей радости, жизненным проявлением, хотя бы и мелким, но ощущавшимся особенно остро в силу контраста и отвычки: радость каждому оттенку цвета, каждому предмету, который хотелось ощупать, каждой травинке, которую тянуло погладить. Да и склонность к быту, так широко проявившаяся в нашей литературе, склонность, нередко заводящая писателя в тупик мелкого бытовизма,—не выросла ли она, в значительной мере, из тех же настроений? Но от этого любования конкретной предметностью, от этого упоения непосредственно данным—один только шаг до богатой и красочной расцветки искусства, до громкой и утверждающей полноты мажора. Надо было лишь делу восстановления пойти несколько дальше, надо было, чтобы мы перестали, как дикари, изумляться вещам, боготворить их,—и вот голая радость вещи,—которая может, на первый взгляд, показаться и необычайно-разумной и «языческой» в своей простоте, а в действительности есть лишь следствие нищеты—вот эта голая радость расцветает в пышность колорита, в нарядность и праздничность красок, в громкозвучие молодости, радость вещи—в радость жизни.

Она расцветает, конечно, не только в стихах Уткина. Есть поэты, яркость и многоцветность палитры которых много превосходят уткинскую. Таков, например, Сельвинский; его красочная пышность порой изумительна. Но ни у кого она не носит такого светлого, нарядного характера и не находится в такой гармонии со всем содержанием творчества, как у Уткина.

Его ритмика уравновешена и спокойна. Он избегает резких перебоев, ритмических жесткостей, свободных и ломанных размеров—всего того, что было излюблено поэзией предшествующих лет. Большая часть его вещей написана правильным стихом,—преимуще-

ственно ямбом или хореем ¹⁾. Даже когда он пользуется паузником и ритмическими перебоями, он старается делать так, чтобы его ритмическая схема возможно меньше отступала от схемы правильного стиха. Округлая линия господствует у него и здесь.

Можно себя спросить: что же означает это господство округлых линий? Почему поэт отбросил резкие и ломанные ритмы первых лет революции? Каков смысл его тяготения к красочной пышности, его вкуса к нарядности, его любования пейзажем? Не есть ли это начало духовного разоружения? Не исчезает ли понемногу из этой нарядной поэзии вместе с аскетизмом красок и революционная целеустремленность,—и, под ласковый и довольный рокот округленных и щеголеватых стихов, не скатывается ли она к «красивой» изысканности и эстетскому безразличию?

Если бы дело обстояло так, то успех Уткина явился бы ни чем иным, как торжеством мешанства. Задача решалась бы просто: за громкими заявлениями поэта мешанство уловило *основное* и нужное ей в его творчестве—нотки успокоенности и размягченности, явственный отпечаток дешевого эстетизма—и вынесло вперед своего знаменосца. Кое-кто так и полагает. Но подобные простые—до оторопи—решения подозрительны уже по первому впечатлению. Подозрителен самый способ аргументации. Так ли уж, действительно, связан революционный пафос с аскетизмом художественных средств? Есть ли переход к красочному богатству и даже декоративности непременно симптом замыкания в эстетский круг или разложения—и впрямь ли тяга к пейзажу, к природе, к миру красок и звучания так же опасна для искусства, как для карфагенской армии пребывание в Капуе—и вот уже теряют мужество и изнеживаются, опутанные соблазнами, солдаты Ганнибала и поэты революции? Почему изобилие форм, почему блеск и игра света должны оставаться чуждыми пролетарскому художнику—и он обязан, как монах,

¹⁾ 23 из 30 стихотворений, составляющих первую книгу.

прейти, опустив глаза долу, не глядя на женщин и цветы? И не следует ли, наоборот, поэзии рабочего класса вобрать в себя всю радость жизни, всю торжественность красок и разнообразие звучаний, которые дает окружающий мир? Нет ничего более чуждого ей по существу, чем аскетизм. Она должна быть, и она будет проникнута радостью. Кто сказал, будто она может сохранить свой энтузиазм, лишь закрыв глаза на соблазны чувственного мира, благочестиво ослепнув? Нет, она раскроет их возможно шире, она шагнет навстречу блеску и радости, ветру и радуге! И на штурм она бросится с солнцем на знамени.

Один из горе-теоретиков футуризма ¹⁾ как-то заявил, что любовь к природе — последнее убежище идеализма. Этот глубокомысленный вздор, конечно, ни на чем не основан: с большим правом можно утверждать обратное, а именно, что любовь к природе, хорошо понятая и надлежаще направленная, является лучшим противоядием идеализму. Но мысль, высказанная нашим горе-теоретиком, хотя и несостоятельная сама по себе, очень характерна для известных литературных кругов. Людям, придерживающимся подобных взглядов, поэзия Уткина, с ее торжественным пейзажным обрамлением, с ее (о, ужас!) вкусом к декоративности, будет, разумеется, казаться эстетски-идеалистической, мещанской, отчетливым выражением буржуазного влияния на пролетарскую литературу.

Я вовсе не игнорирую опасностей, которые таит в себе эта любовь к пейзажу и склонность к декоративности. В нашей памяти еще слишком свежо соединение «чистой» лирики и стремления к подчеркнутой красочности с общественным индифферентизмом, эстетством и стилизаторством, совершившееся в поэзии парнасцев и символистов. Нет сомнения, что в какой-то точке здесь происходит переход количества в качество, и красочность превращается в самоцельную игру цветовыми тембрами, а мир становится лишь суммой красочных воздействий.

Конечно, искусство, для которого декоративность — *все*, — искусство мертвое. Здесь начинается уже область стилизации. Но так же, как из того факта, что лирика особенно пышно расцветала в реакционные эпохи, превращаясь в «чистую», т.-е. лишенную общественных мотивов, не следует, что лирика — сама по себе зло, так и из обстоятельности, что декоративный подход господствует в периоды упадка, когда он становится самоцелью и переходит в стилизаторство, не вытекает, что декоративность вредна в любой пропорции и в любом контексте. Опасность есть, но в *потенции*. В конце концов, все искусство стоит на таких опасностях, и если их избегать, то и искусства не будет.

Вопрос именно в контексте. Почему, спрашивают, Уткин перешел от ритмов поэзии первых лет революции к правильным классическим размерам? А кто доказал, что эти ритмы были адекватны революционной динамике? Так абстрактно рассуждая, нельзя ничего решить. Все зависит от *содержания* поэзии.

Други,
 Это не годится!
 Чуть волна на горизонте—
 Вы сейчас:
 На квинту лица,
 Весла—к чорту.
 И за зонтик.

Пусть волна
 Поднимет лапу,
 Пусть волна
 По веслам стуннет—
 Не смеяться и не плакать!
 Песню!
 Мужество!
 И руки!..

Стихотворение, откуда взяты эти строки, называется «Песня бодрости». Песня бодрости и действительно летит в поэзии Уткина широкой волной. Здесь есть что-то, напоминающее Языкова. Недаром эпиграфом к «Первой книге стихов» взяты языковские стихи:

Смело, братья! Ветром полный,
 Прямя и крепко парус мой!

Они близки уткинским строкам и по настроению и по образности. Но место неопределенной восторженно-

¹⁾ Горлов.

сти Языкова занимает у Уткина конкретный революционный пафос:

Все!
И нежность песнопенья—
Все!
И даже нежность тела—
Для железного цветенья,
Для единственного дела...

Здесь одушевление поэта подымается до энтузиазма. Но энтузиазм, порыв не очень характерны для лирики Уткина. Ей свойственна скорее уравновешенная и ясная бодрость, ровность тона, светлый мажор. Жизнь поэт ощущает радостно, во всех ее противоречиях.

Кормит жизнь
Мудреной смесью,
Пробуй все, ценитель толкий.

«Грусть» и «сомненья» он не собирается «выкинуть из трюма» за борт. Они необходимы для жизненной гармонии.

Хорошо,
Что плачет скрипка.
Хо-ро-шо!
Что парень пляшет.

Не чересчур ли? Может быть, поэтому показалось поэту «хорошо», что, когда плачет скрипка, это — *гармонизированное* страдание. А если б это было страдание обнаженное, неприкрашенное, непроведенное через идеализирующую среду искусства — нищета, болезни, увечья—решился бы он повторить свои слова? Хорошо, когда плачет скрипка, но хорошо ли, когда плачет человек? Разве в том состоит настоящее мужество, чтобы наслаждаться мудреной смесью жизни в качестве «тонкого ценителя», знающего, что

От горящцы
К мясу больше аппетита—

и не следует ли попробовать изменить эту «мудреную», но довольно плохо составленную смесь, выбросив оттуда кое-какие составные части?

Впрочем, приведенные слова Уткина не следует понимать слишком буквально и видеть в них выражение определенной житейской философии. Что «мудреную смесь» надо изменить, поэт знает не хуже других: об этом свидетельствует революционный тон и содержание его стихов. Напомним, что

строки о ценителе и горчице взяты из боевой «Песни о бодрости». Перед нами не идеализация страдания, еще менее гурмански-эстетское отношение к жизни, как к сумме потенциальных наслаждений, выявить которые может лишь тонкий артист, находящий их и в радости, и в печали. Перед нами просто бодрое, молодое, светлое восприятие окружающего мира, не оставляющее места дисгармонии и страданию—разве только в смягченной, опозитивированной форме. И хотя сам Уткин охотно говорит о необходимости включения в гамму чувств истинного поэта и грусти и сомненья, хотя он нередко выбирает темы трагические и «жестокие», он все же остается—даже в этих темах, даже в своих раздумьях—поэтом радости, блеска, целостного мажора. В сущности, когда Уткин утверждает радость боли и в доказательство приводит плачущую скрипку, это доказывает только, что он, по природе своей, неспособен воспринимать и глубоко чувствовать дисгармонию. И стихи о тонком ценителе, звучащие в устах поэта-комсомольца так уайльдовски-фальшиво, на деле являются лишь неловким—потому что неадекватным—выражением элементарной жизнерадостности.

Трагическое плохо удается Уткину. Он не находит для него надлежащих слов. Как будто против воли, ему попадают одни нарядные веселые слова. Его «Барабанщица»—не столько поэма об обреченности армий, идущих на гибель за чуждое им дело, сколько манифестация молодости, жизненной избыточности, блеска:

Шел с улыбой белозубой
Барабанщик молодой.
Пляшут кони.
Льются трубы
Светлой медною водой.

Коням в такт,
Вдувая вены,
Трубащи гремят кадрили,
И ложатся хлопья пены
На порхающую пыль.

Такой же светлый радостный характер носит и его любовная лирика. В ней нет ни сложности, ни трагизма, ни надломленности. Она ясна и немного торжественна:

Когда—собеседник небрежный—
К нам радость засочит на миг,
Мы лучшие мысли и нежность
Сливаем в девический лик.

У нее теплый тон и есть непосредственность в выражении (хотя поэт иногда и не прочь порассуждать, подекларировать на жаровский манер). Его «Свидание» начинается чуть ли не по-библейски торжественно («И ночь эта будет богатой»), автор делает широкий и эффектный театральный жест («Привет, замечательный вечер! Прощай, мой печальный порог!»), но уже скоро ямб становится юношески-стремительным, и стихотворение кончается картиной, несколько не торжественной, простой и спокойной, со штрихами добродушного юмора:

Над крышей садовника дрема,
И дремлет садовник давно.
Сугробы пахучих черемух
Совсем завалили окно.
Я скромностью не обижен
И, встав на чужое крыльцо,
За снегом черемухи—
Вижу
Смеющееся лицо.

(Но чуток холера-садовник,
Хоть видно мне без труда,
Как дышит и мирно и ровно
Седея его борода.)
Пусть молодость—нараспашку.
Но даже и молодость—ждет.
Я жду.
По знакомству, дворняжка
Меня в ожиданьи займет.

Я жду и теперь, как когда-то.
Но только прошу
— Не про-срочь.
Ты видишь—
Уж якорь заката
Бросает московская ночь!

Характер непосредственности и теплоты создается здесь как раз этими «необязательными» и полу-юмористическими деталями о спящем садовнике и дворняжке; они сильнее всего заставляют верить автору и прощать ему и легкую рисовку молодостью и срывы голоса. Может быть, даже именно эта поза или неожиданно прорвавшееся ругательство, которое на первый взгляд кажется неуместным, и хороши, так как подчеркивают юношески-добродушный характер стихотворения. Лирика Уткина не является обнаженным до

конца и до конца доведенным выражением внутренней жизни, как это мы встречаем у поэтов, раскрывающих себя без всякой оглядки на читателя, с предельной искренностью и глубиной¹⁾. Для этого в ней слишком много красочной пышности, торжественности (характерно смешанной с юношескими срывами голоса), декларативных заявлений, позы. Это—не «интимная» лирика. Но в ней уже достигнута та степень непосредственности, окраски индивидуальными переживаниями, увязки между общим и личным, которая нужна для того, чтобы «затронуть», «захватить» читателя.

Личная лирика не оторвана у Уткина от комплекса его общественных чувств. Пафос любви сливается у него с пафосом революции.

И, может быть, в годы железа
И я быть железным сумел,
Что в лад боевой марсельеазы
Мне девичий голос гремел.

Иногда поэт высказывается гораздо резче:

А тебе, как влага туче,
Красота дана природой.
На костер ее!
Чтоб лучше
Освещалась свобода!

Но не эти трубные звуки преобладают в его любовной лирике. Поэт недаром говорит о «нежности». Это слово слишком истрепано, но если под ним понимать не сюсюкающую размягченность, а теплое, внимательное, сердечное отношение к человеку, то такой нежности у Уткина действительно не мало. Грубость органически чужда его поэзии. Потому-то и ощущаются как фальшь его «Стихи красивой женщине»²⁾ («живописная лахудра», «приподнимет гордо морду» и т. д.). Уткин здесь говорит явно не своим голосом. То, что у другого прозвучало бы убедительно и страстно, у него звучит лишь нарочито- и натасканно-грубо. К чести поэта надо сказать, что он никогда

¹⁾ Например, у немецких романтиков, у Тютчева и Фета и т. д.

²⁾ Подчеркиваю, что я имею в виду не идею стихотворения, а способ ее выражения. Отдельные строфы, однако, кажутся мне вполне удачными. Некоторые из них я цитировал выше.

больше не возвращается к этой чуждой ему манере. Его мягкая и внимательная человечность проявляется не только в любовной лирике. Ее мы видим в таких вещах, как «Песня о матери». Эти стихи были неправильно поняты. В них увидели выражение растерянности поэта, его перехода на точку зрения абстрактной гуманности, осуждающей всякое кровопролитие и убийство.

Но когда поэт восклицает:

Ах, бедная мать,
Ах, добрая мать,
Кого нам любить?
Кого проклинать?

то ведь не о своей растерянности, а о растерянности матери говорит он. Ведь это мать задает вопрос:

Скажи, человеком
На фронте ты был?

Для поэта этот вопрос давно решен: «все для железного цветенья, для единственного дела». И если сын уходит опечаленный и «орден дрожит у него на груди», то потому, что он чувствует всю тяжесть внутреннего конфликта матери, в душе которой столкнулись требования абсолютной морали, опровержимой ударами революционной борьбы и любовью к сыну. Человечность поэта и проявилась именно в том, что он не прошел мимо этого конфликта легкомысленно, отделавшись парой общих и дешевых фраз, а заставил читателя почувствовать его глубину и значительность. «Песня о матери» — одна из немногих вещей Уткина, где трагическое ему удалось.

Теперь мы можем разрешить вопрос, поставленный в начале статьи: каким требованиям и нуждам времени ответила (и отвечает) поэзия Уткина? Наша эпоха, эпоха строительства, совершающегося в относительно мирных условиях, требует углубленного подхода, углубленных методов работы во всех областях, в области искусства не меньше, чем в других. Если в обстановке гражданской войны искусство могло и должно было ограничиваться заостренной и упрощенной агиткой, то теперь агитка явно уже не в состоянии удовлетворить читателя. Он тре-

бует искусства, более убедительного и жизненно-полного. В поэзии это будет означать переход от декларативной, абстрактной, декламационной «гражданской» лирики к лирике, где общее в достаточной мере окрашено личным. В поэзии Уткина такой синтез если и не осуществился целиком, то, по крайней мере, начал осуществляться. Она приобрела теплый тон, стала конкретной, в ней забила струя непосредственного лиризма. Вот первая причина ее успеха.

Наша эпоха строительства есть вместе с тем эпоха культурной революции. Она создает новую установку на человека. Ей нужен своеобразный культуртрегер—революционер. Полностью на это требование поэзия не ответила (да вряд ли в ее возможностях и ответить на него). Но до некоторой степени она сумела это сделать, показав в лирике Уткина отражение если не культуртрегера в настоящем смысле слова, то характерного для эпохи культурной революции юношу, чуткого, человеческого, лишенного бытовой грубости, но сохранившего полный заряд революционной бодрости ¹⁾. Вот вторая причина ее успеха.

Наше время—время экономического возрождения страны, поднявшейся из нищеты и разорения, время, когда особенно сильно почувствовалась радость вещей, обаяние чувственного, конкретного, осязаемого, яркого предметного мира. И поэзия Уткина с ее пышной красочностью, нарядностью и блеском и тут соответствовала повышению жизненного тонуса страны. Вот третья причина ее успеха.

Она счастливо соединила в себе мягкость с бодростью, декоративное богатство с лирической теплотой. Но ее действие еще на много усилилось тем, что это—типично-юношеская поэзия, с молодыми интонациями, со свежим, порой срывающимся, голосом,— правда, и с довольно заметной рисовкой. Но

¹⁾ Я, разумеется, говорю здесь не о реальной личности Уткина, которой я не знаю и до которой читателю нет дела, а о той личности, какая нашла свое выражение в его стихах. Соответствия ее действительности я не касаюсь и не могу касаться.

даже и поза ей к лицу и, может быть, еще увеличивает ее привлекательность в глазах читателей.

Поэзия Уткина, несомненно, важный и положительный факт в эволюции пролетарской литературы. Она выражает собой определенный момент в развитии и самосознании современности. Отсюда ее «необходимость» и закономерность. Ее можно рассматривать, как известное противоречие поэзии военного коммунизма. Поскольку это противоречие проявляется в углублении художественного подхода, в отрицании голый декларативности, в большей эмоциональной теплоте и задушевности тона, в тяготении к ярким и светлым краскам, в борьбе против рационалистического аскетизма—его следует считать прогрессивным явлением. Но противоречия имеют свою логику, которая часто увлекает дальше, чем это нужно, и чем хотят их выразители. Мы видели позерство Уткина. Пока еще оно довольно безобидно. Мы слышали его афоризмы относительно жизни, мудреную смесь которой надо пробовать, как пробуют тонкие ценители, зная, что после горчицы жаркое кажется еще вкуснее. Мы согласились, что эти слова еще нельзя понимать, как выражение житейского эстетства à la Уайльд. И это было верно. В контексте его поэзии, на фоне ее общей крепкой целеустремленности они ощущались лишь как неловкая формулировка элементарной жизнерадостности, молодого оптимизма. Но продолжьте линии этих настроений несколько дальше, измените немного фон, переделайте количественные соотношения — и вы легко придете к поэзии довольства, успокоенности, самолюбования. Лирика Уткина как бы балансирует все время на ребре грани или идет по узкому краю обрыва. Она не срывается, шаг ее пока верен, но одна нога нет-нет да и поскользнется. Мы тогда говорим о «неловкости». И правильно. Но в «неловкостях» Уткина есть своя система.

Они не совсем случайны. Они связаны с основными свойствами поэзии Уткина (хотя и не обязательно из них вытекают). Они являются их оборотной стороной или гипертрофией. Ка-

ждый вид литературы имеет свою опасность. В лирике Уткина, этом антитезисе поэзии эпохи гражданской войны, этом выражении перехода к мирному строительству, такая опасность — в успокоенности.

Как рад я,
Что к мирным равнинам
Так выдержанно пронес
И мужество гражданина
И лирику женских волос.

Эти слова правильно характеризуют поэзию Уткина, взятую, как целое. Но уже в них нас неприятно поражает привкус самодовольства. Надо ли было говорить с таким почтением о собственной выдержанности, благополучно пронесенной через тьму опасностей? Самодовольство близко соприкасается с довольством, с удовлетворенностью достигнутым, с успокоенностью на лаврах. Наклонность к этому у Уткина несомненно есть.

Мне за былую муку
Покой теперь хорош
(Простреленную руку
Сильнее бережешь!)...

Это довольно выразительно. Но еще выразительнее другое стихотворение, характерно названное «Мудростью».

И пусть—война.
Войственным азартом
Не загорим, и сабли не возьмем.
Есть умный штаб.
Есть штаб, и в нем
Мы прокорчим над паутиной карты.
И ждем побед,
Но в том же мерном круге
(Победы ждем без ревностей глухих),
Не как лунавую любовницу жених,
Как муж—степенную и важную супругу.

Нам сдается, что автор спутал мудрость с благоразумием. Добродетель эта, может быть, очень почтенна, но в особой рекомендации не нуждается, так как и без того пользуется широким распространением. «Есть штаб, и в нем мы покорчим над картой боя», т.-е. «мы» так «мудры», что меньше, чем в штабе, нам негде быть, а на фронт, очевидно, пойдут те, которые еще не успели проникнуться этой несложной и замечательной философией благоразумия, осеняющей человека после того, как он в молодости перебесился. Как, однако, здесь все заранее распределено! А вдруг не так, а вдруг придется

загореться «воинственным азартом»? Революция ведь не замоскворецкая купчиха, и степенностью ее не возмешь.

Я не собираюсь отождествлять Уткина с героем его стихотворения. Но характерна уже одна благожелательная поэтизация подобных настроений. Тощие полулюбительские общие места автор всерьез называет «мудростью». Не слишком ли много чести?

Эта псевдо-мудрость внушает Уткину пустые и банальные афоризмы («в перчатках счастье не берут», «бросая хлеб, не прячут корку», «колдобый дуб на что велик, а в бурелом—соломке ровня» и т. д., хотя давно уже известно, что лошади едят овес, а Волга впадает в Каспийское море), старчески-невывразительные эпитеты («мудрые слова», «мудрое раздумье», «невозможно-мудрые дни»). Поэт как бы старается изуродовать старческими гримасами свое молодое лицо.

Но будем справедливы: это ему не удастся. В общем контексте его поэзии нотки успокоенности и довольства достигнутым, черты эстетства пребывают всего лишь отдельными нотками, разрозненными чертами. Они теряются в потоке его лирики. Они говорят о реально-существующей, но пока больше потенциальной опасности. Серьезной, но неизбежной. Взятая в целом, поэзия Уткина остается поэзией молодости, бодрости, боевого оптимизма.

Уткин не только лирик. Первую известность ему принесла «Повесть о рыжем Мотэле», юмористически-заостренное изображение еврейского городка, затронутого революцией. Для многих Уткин и сейчас—главным образом или даже исключительно—автор «Мотэле». Остроумие, живость антитез, упрощенность рисунка, четкого и выразительного, умелый ввод характерных бытовых выражений еврейского жаргона—все это делает «повесть» Уткина произведением ярким и интересным. Но надо сказать, что если бы она была написана по-еврейски, она не привлекла бы такого внимания. Быт «гетто», быт местечка, жизнь городской улицы использованы в еврейской литературе

уже давно и гораздо шире и глубже, чем у Уткина. Такой *couleur-locale*, такая примитивная экзотика, как—

По пятницам
Мотэле давней,
А по субботам
Ел фиш,

там бы вовсе не звучали и показались бы наивными и дешевыми. Никого не могла бы тронуть и «старая еврейская мать», которая

Хорошо
Варила цмесь
И хорошо
Рожала ребят.

Это все—там уже общие места, давно пройденный этап. Но в *русской* литературе это может звучать еще относительно ново. Тем более, что сюда присоединяется и эффект ввода в поэтический язык чужой бытовой речи, едва ли не основной эффект «повести», который, конечно, исчез бы, если б «Мотэле» был написан по-еврейски.

Но в «повести» дан не просто еврейский быт, а быт, разворошенный революцией, под ударами которой исчезает его специфичность. Вот второй основной «эффект» вещи. И здесь Уткин имел предшественников. Тему гибели еврейской «экзотики» в вихре революции затронул—несколькими годами раньше—Светлов в своих «Стихах о ребе». Влияние Светлова на Уткина не подлежит сомнению. Такие строки, как

И блуждает на грани новых дорог
Старый ребе в старой ермолне...

или

Старый ребе говорил о мире,
Профиль старческий до боли был знаком...
А теперь мой ребе спенулирует
На базаре прелым табаком...—

(Из «Стихов о ребе»)

говорят ясно о том, что это влияние сказалось даже на наиболее характерном уткинском приеме, на заостренной афористической антитезе.

Но между светловскими «Стихами о ребе» и уткинскими «Мотэле»—огромная разница. У Светлова гибель старого быта дана как гибель синагогальной романтики, вспыхивающей в его стихах последней вспышкой. Он показывает ее обреченность, но дает—на минуту—почувствовать сумрачную поэзию ее умирающей тишины и печали:

Ребе ходит чуть слышно, как вадох,
 Как живая боль синагоги.
 Темен порог.
 Тишина сторожит на пороге...

Смолила свеча в позолоченной люстре,
 И теперь ни одна не заглянет душа.
 Тихо в большой синагоге.
 И пусто!
 Ша!

Совершенно иные краски, иной тон
 Уткина:

В синагоге
 Шум и гам,
 Гам и шум!
 Все евреи по углам:
 «Ш-ша!
 Ш-шу!»

Выступает
 Рэб-Абрум.
 В синагоге
 Гам и шум,
 Гвалт!...

Рэб-Абрум сказал:
 — Бо-же мой!
 Евреи сказали:
 — Беда.
 Рэб-Абрум сказал:
 — До-ни-ли!
 Евреи сказали:
 — Да.

А раввин сидел
 И охал
 Тихо, скромно,
 А потом сказал:
 — *Пло-ха!!*

Здесь резкие линии, доведенные до шаржа, здесь иронически-насмешливое отношение к теснотному и развороченному старью, здесь вместо светловского дымчатого колорита — контрасты и столкновения красок. Разница сказывается уже в разном употреблении характерного восклицания: «Ша!», которое у Светлова подчеркивает предгибельную печаль и тишину синагогальной романтики, а у Уткина — почти базарную суету крикливых и смятенных страстей. Характер Уткина — поэта активного, лишённого мечтательности, отнюдь не романтика — проявляется в его «повести» с особенной отчетливостью.

Ее несколько портит обычный грех автора: склонность к великолепным с виду, но пустым афоризмам. Чрезмерны и лирические нажимы. Бытовые детали иногда вызывают сомнение (по всем данным изображен не Кишинев, как это значит у Уткина, а какой-нибудь маленький городишка, Мэд могло бы быть именем английской мисс, но не еврейской торговки и т. д.). Конструкция фразы и грамматические обороты иногда подозрительны. Можно ли сказать: «Слезы *не* в пользу глазу», «Жену не совсем утратил», «желаем золотые реки», «жаждем сахар»? Что значит:

Трудно сказать про омут,
 А омут стоит у рта?

Здесь можно было бы еще сослаться, хотя с большой натяжкой, на стилизацию под жаргон. Но та же языковая неустойчивость проявляется иногда и в лирике Уткина. Нельзя «постичь плоды» и «побороть солому». Нельзя писать, что «фляги все — до *дон*» (от слово дно), что «никогда с *одной улыбкой* человек не станет нашим», нельзя лечить «выжег» вместо ожога и т. д. Эта неустойчивость свойственна, кстати сказать, также и Светлову. Она говорит о том, что оба поэта еще не вполне овладели словесным мастерством. Это существенный недостаток, но недостаток молодости, который может быть вполне устранен в дальнейшей работе, по мере роста писателя.

Данных для роста у Уткина достаточно. Он один из немногих подлинных лириков, имеющих сейчас в пролетарской литературе. Он идет не одиночкой, извилистой тропой, а большой литературной дорогой. Он умеет подходить к *основным* темам современности, выражать ее характерные устремления. Мы видели, что на пути его таятся большие опасности. Добавим и большие достижения.

П. ПАНАИТ ИСТРАТИ

Я. Фрид

1

В январе 1921 г. Ромэну Роллану доставили из Ниццы письмо, найденное в госпитале, при человеке, который перерезал себе горло и был в безнадежном состоянии. Письмо захватило Р. Роллана своей темпераментностью, «гениальной бурливостью». «Это была исповедь нового балканского Горького». Самоубийцу удалось спасти. Р. Роллан сделался его другом, совместно с П.-Ж. Жувом и Ж.-Р. Блоком уговорил его взяться за перо. Издательством Ридер в 1923 г. была выпущена его первая книга, написанная по-французски, снабженная предисловием Роллана, — и сразу же легко и размеренно стала расти известность. Так, в достаточной мере своеобразно, — не через редакцию, а через больницу, — вошел во французскую литературу Панайт Истрати — полу-румын, полу-грек, сын прачки и контрабандиста, «чтением обманывавший голод», — люмпен-пролетарий, принимавший одно время участие в революционном движении, — бродяга, чья «тень обежала» все страны Ближнего Востока, — человек, который, пройдя через профессии маляра, грузчика, страстно любящего фотографа и еще через десятки ремесел, подготовился к ремеслу рассказчика ¹⁾.

К настоящему времени вышли следующие книги Истрати: «Кира Киралина» (1923 г.), «Дядя Ангел» (1924 г.), «Истории гайдюков» («Présentations des Haidoucs» — 1925 г.) ²⁾, «Снаговская доминитца» («Domnita de Snagov» — 1926 г.) и «Кюдин» (1926 г.). Первые четыре книги образуют серию: «Рассказы Адриана Зограффи» (рассказы, которые выслушивает «страстный молодой человек» — Адриан Зограффи). «Кюдин» — рассказы об Адриане Зограффи («Детство Ад. Зограффи»). Последние две книги еще не переведены ³⁾.

¹⁾ П. Истрати родился в 1884 г. в Браилове (Валахия).

²⁾ У нас вышла под заголовком: «Гайдюки».

³⁾ Перевод рассказа «Кюдин» (из книги, озаглавленной так же) был помещен в журнале «Беседа» (№ 6—7, Берлин).

2

Об Истрати писали много и хвалебно, но большей частью только повторяли замечания Р. Роллана о восточной темпераментности, увлекательности этого прирожденного рассказчика. Слова Роллана «балканский Горький» вызвали серию характеристик: Истрати, отчасти опирающихся на сравнение его с Горьким. Кажется, только в одном итальянском журнале ¹⁾ было отмечено, что это сближение — внешне, и роднит Истрати с Горьким лишь «общее им» «божественное великолепие Юга».

Русские читатели различного уровня (не мешает обратить внимание и на их впечатления) — в большинстве случаев дают вещам Истрати оценку положительную. Но эта оценка всегда связана с отношением к трагическим историям Киры Киралины, Драгомира и их соседей по новеллам, как к чему-то приятному, но очень несерьезному, неглубокому.

Несомненно, в книгах Истрати много автобиографичного. Несомненно, его пафос рожден жизнью, волнение, сплошной полосой проходящее по его вещам, — не искусственное, отраженное, литературное волнение, без которого не обходится и различные бульварные писатели, привычно орудующие им, как бульварные фотографы — нарисованным морским прибором. Истрати говорит, что он пишет не для того, чтобы развлечь, а чтобы растрогать ²⁾. А читатели неизменно называют увлекательной, *занимательной*, даже веселой историю дядя Ангела, заживо гниющего в течение трех лет. В первой же книге Истрати читатель сталкивается с автором — возбужденным, исповедующимся, возмущающимся. И, совершенно не замечая его, словно он — книжное привидение, слоняющееся около персонажей, — читатель отходит в сторону, отдает почитать эти «очень приятные рассказы» знакомым — в обмен на какой-

¹⁾ «I libri del Giorno» (1926, № 7).

²⁾ Предисловие к книге «Domnita de Snagov».

нибудь тоже «очень приятный роман».

Явное противоречие между замыслом художника и эффектом, который производит осуществление этого замысла, подводит вплотную к вопросу о писательской судьбе Истрати и о природе его творчества.

3

Первая книжка «балканского Горького» заполнена рассказом о трех людях, искалеченных жизнью—Киры Киралине, ее брате Драгомире и их матери. Время действия — середина XIX в.,—период турецкой оккупации Румынии. Перед читателем сразу же—магистральная тема Истрати—тема несправедливости, несчастий, кромсающих и прессующих сердца добрых, нежных и страстных людей. Герои книги—добры, нежны, страстны, и истории их печальны. Мать Киры, изуродованная жестоким мужем, исчезает. Киру увозят в гарем. Драгомира «жизнь, полная случайностей», делает извращенным и несчастным. Читая и перечитывая эти новеллы, убеждаешься, что автор их—усталый, разочарованный человек. Вместе с тем, образы Ставро-Драгомира, «бывшего человека» Барба Яни—выписаны реалистично, тонко, с вниманием. В несчастьях Драгомира и Киры нет ничего невероятного. Но как о них рассказывается?—В ускоренном темпе, «легкой рысью» проносятся одно за другим десятки злоключений. Уровень эмоциональной напряженности все время колеблется около 100°. Яркость и пестрота красок заставляют вспомнить о Шехеразаде. Частичная, неполная мотивировка не выдерживает такого напора, рушится под массой однородных событий, оказывается недостаточной. Выводы автора о тягостях жизни, о «низости человеческой души» не принимаются читателем всерьез. Читатель смутно чувствует, что эта писательская манера уводит далеко назад, чуть ли не к греческому роману, к старому авантюрному роману, в котором тоже были похищения, бегства, странствования, поиски, обманы, и в котором все эти неожиданности и несчастья стягивались только для занимательности и не мешали благополуч-

ной концовке¹⁾. В «Метаморфозах» Апулея, в повести Лукиана «Лукий или осёл» возможность разнообразнейших приключений, начинающихся с превращения героя в осла, обоснована совершенно условной мотивировкой (чудодейственность мази). А на плечи дяди Адриана—кабатчика Ангела—валится вот что: его жена, «самая красивая и самая бедная девушка в округе» оказывается полудиоткой, «целыми часами сидящей в тени с раскрытым ртом, полным мух»; его дом поджигают; разбойники ранят его и обируют; через 6 месяцев тонут, катаясь по Дунаю, две его девчурки; его сын умирает, упав с лошади. Для мотивировки всего этого вводится бутафорская «черная рука судьбы», ссылка на которую так же условна,—как ссылка на мазь у Апулея и Лукиана. Ангел, пытающийся не уступить судьбе («ты меня сгибаешь, но я выпрямляюсь и плюю прямо на тебя»),—одна из лучших фигур работы Истрати. Но читатель, привыкший к необходимости более существенной (социальной) мотивировки, отнесется к этому образу в лучшем случае, как к легендарному²⁾, а от морализирования, от рассуждений о жестокости судьбы—уклонится. Остаются только внешние, *орнаментальные* достоинства повествования (занимательность), нагроможденность событий, не слишком правдоподобная.

Тогда назад, к традиции старого романа, к традиции «Метаморфоз» и «Дон-Кихота» уводит манера Истрати перебивать рассказ вставными новеллами. Как бы спеша разгруппировать по множеству историй, он рассказывает по своим новеллам десятки других, которые сплошь и рядом начинены в свою очередь. В его книгах на правах вставных новелл квартируют даже такие бродячие притчи и сказки, как сказка о мышши, захотевшей породниться с солнцем, тучей, ветром и горой, как рассказы о человеке, пережившем смерть, о людях, которые с'ели жабу. В рассказе, герои которого посещают в отсутствие

¹⁾ Впрочем, к тому же приучила читателей и современная бульварная авантюрная литература.

²⁾ Это и отметил рецензент «Кларта» (№ от 1 янв. 1925 г.), взгляд которого на образы Истрати в остальном очень сумбурен и неверен.

попа попадью и поповну, — нетрудно узнать типичную сказку про попа (хотя здесь и есть фразы о «грехе», морализирование, чуждое таким сказкам). В этот рассказ вставлен еще один: «почему в людях есть нечистое». Рассказ Еремея (сына Козьмы—предводителя гайдуков) разматывается на 2½ книги («Дядя Ангел»—½ книги, «Истории гайдуков», «Domnita de Snagov»). Несколько новелл, перебиваемые вставными, рассказываются перед смертью почти совершенно сгнившим Ангелом. Еще условность: и Ангел и другие персонажи, часто неграмотные, говорят «нейтральным» литературным, книжным языком.— «Я хочу, о демонические силы, Жизни! Я хочу, чтобы этот ребенок выздоровел!» — театрально восклицает Еремей, косматый, звероподобный «сын леса». Так же условны, традиционно-литературны сравнения в книге «Кири Кирилина».

4

Несовременность техники повествования, затруднив слияние первых вещей Истрати с фоном современной литературы (след.,—способствуя их выделению),—в то же время помешала их автору глубоко задеть читателей, дала возможность отнестись к ним не всерьёз. Его читателей,—говорит он впоследствии,—трогает лишь то, что не мешает пищеварению «хозяев мира»¹⁾. Но и на русских читателей вещи Истрати действуют не так, как он хотел бы. Первый вывод: виновата техника. Но могла ли она быть другой?

Центральные персонажи первых вещей Истрати беспомощны в жизни, живут *вслепую*. Они не знают полного счастья, благополучье их всегда кратковременно, их подстерегают неожиданные, незаслуженные неудачи, они—жертвы многообразной, упорной несправедливости,—над ними—«черная рука судьбы» (о которой, как это подтверждается рассмотрением последующих произведений Истрати, — он говорит совершенно серьезно). Местами можно уловить более конкретное об-

¹⁾ Предисловие к книге «Domnita de Snagov». Еще определеннее, резче говорит он об этом в недавно опубликованной автобиографии «Огонёк», № от 20 марта 1927 г.).

яснение причин несправедливости (бессердечность, низость, свойственная многим людям, подвластность героев «воле сердца», страстям). В истории Ангела мотив беспомощности человека выражен резче, символичнее, условнее.

Если люди—беспомощные «куклы-плясуны»; живущие вслепую, — то и рассказ о их жизни естественнее всего развивать тоже *«вслепую»*, в виде ленты неожиданных, немотивированных событий. Примитивная, наивная форма авторского пессимизма влечет за собой архаичную технику письма. Психология и оформление неразрывны.

Вставные сказки, притчи, песенки, народные поговорки, которые имеются уже в первых вещах Истрати (и которыми он обычно пользуется точно цитатами,—для подтверждения своих мыслей),—весь этот фольклорный материал нужно отметить, как признаки другой стилистической струи, как признаки склонности автора к этнографизму-позитизации того вида, какой встречался у романтиков.

5

Уже Ангел отказывается склониться перед «судьбой». Со второй части той же книги («Козьма») тема и стиль Истрати начинают дальше «расти», вступают в новую стадию развития. Тема несправедливости уточняется, конкретизируется. Не несправедливость судьбы, или людей вообще, а несправедливость сильных к слабым, богатых—к бедным («то, что рождено кошкой, ест мышей»). Не «черная рука», а—представители власти, помещики, церковь. С этим уже можно бороться. Герои Истрати и начинают бороться, но так же неорганизованно, как их беспомощные предшественники — страдали. Гайдуки¹⁾ находятся вне закона, объявили себя непримиримыми врагами турецких властей, румынских помещиков и друзьями народа (крестьян). Они видят, что только слабые делятся по национальностям и вероисповеданиям, «чтоб порознь проклинать зло», «сильные же турки, греки или румыны—живут в полном согласии». Но, вместе с тем,

¹⁾ Цикл о гайдуках захватывает вторую половину книги «Дядя Ангел» и целиком книги: «Истории гайдуков», «Domnita de Snagov».

даже самые сознательные из гайдуков относятся к народу, как к стаду тупых рабов,—или презирая его («народ гадок и подл, и всякий, кто поднимается из его среды, становится гадким и подлым») — или же умиляясь перед его терпением и беззлобностью, сравнивая его с дремучим лесом — «большим рабом», который, «подчиняясь судьбе, выполняет свое назначенье на земле». Отсюда — их неуверенность, неустойчивость (румынская поговорка гласит: «силой можно взять у кого-нибудь, но дать ему силой нельзя»). Они скорее мстят несправедливым, чем борются, действуют беспорядочно, «вспышками», «вслепую» (в дальнейшем появляется и «плановое начало», о чем будет речь впереди).

В связи с этим, композиция вещей Истрати данного периода мало отличается от построения его прежних произведений. Почти такая же нагроможденность событий, новеллы также рассаживаются одна среди другой. Даже в основе отдельных эпизодов лежит прежняя примитивная сюжетная схема: мотив несправедливости (часто воплощающийся в жестокости, в насилии над женщиной); прибавляется мотив удачной мести. Но тем интереснее отметить роль *социальной мотивировки*, которая подводит почву под рассказ, под события, висевшие в пустом пространстве условного повествования, — нейтрализует влияние архаичной техники письма на восприятие читателя, заставляет отнестись к персонажам новелл всерьез (помогает «тронуть» — по терминологии Истрати).

На Василия, героя эпизода, озаглавленного «Умирающий в Бикоссе»¹⁾ несчастья сыплются в неменьшем изобилии и разнообразии и с неменьшей поспешностью, чем на Ангела. Рассказывает он о них тоже за 5 минут перед смертью. Но виновны в них не просто судьба или случайности, а турецкий ага, румынский боярин и настоятель монастыря. Этот рассказ производит уже не такое впечатление, как вещи Истрати, в которых осуществилась его магистральная тема в первой стадии развития. Даже в пределах самой книги

он оказывает иное воздействие: гайдуки (которым эта история преподносится так же, как и читателям), выслушав ее, спешат отомстить за насилие. В прежних новеллах Истрати это было невозможно — там в подобном случае пришлось бы мстить судьбе.

6

Вместе с темой в новую стадию развития вступает и стиль Истрати. Для рассказов о пассивной жизни «вслепую» было характерно преобладание элементов реалистического стиля; чаще всего (особенно при общей расплывчатости, неотчетливости повествования, как, напр., — в новелле «Жира Киралина»), получалась манера условно-реалистической новеллы, чему благоприятствовали композиция и отсутствие социальной мотивировки. При этой манере в повествовании нет преувеличений, детали правдоподобны, но далеко не исключена возможность общих мест, вроде «брюнетки с дьявольскими глазами». В рассказы о мести, о вспышках «борьбы вслепую» врываются элементы приподнято-антитетичного стиля, гротеск, гиперболы. — «Мы — герои, мы поступаем, как убийцы, и умираем мы хуже собак»¹⁾. Здесь и приемы реалистического изображения и общие места тонут среди элементов стиля, имеющего целью усиление эффекта, создание впечатления особенной характерности, исключительности описываемого. Отрывок²⁾, в котором рассказывается, как гайдуки черной ночью, в пустынной местности, в романтически-разрушенном здании находят умирающего старика, «который так покинут, что ему приходится самому держать свечу» (умирая), — этот отрывок может показаться сбежавшим из романтического разбойничьего романа, или из романа ужасов.

Ужасов, жестокостей в данных вещах Истрати, пожалуй, не меньше, чем у Гюго, или в исторических романах Сенкевича, и поданы они с добросовестнейшей «натуралистичностью» романтика. Вот как показана смерть

¹⁾ «Domnita de Snagov».

²⁾ «Domnita de Snagov» («Умирающий в Бикоссе»).

¹⁾ «Domnita de Snagov».

настоятеля монастыря ¹⁾, которого убивает раб-цыган с наружностью Квазимодо—«похожий на дьявола» (вокруг его шеи—металлическое кольцо, к которому приделана цепь, вокруг головы—второе кольцо с железными рогами).—«Он схватил обнаженную голову настоятеля и,—колени на груди, лицо к лицу,—начал ее сдавливать короткими нажимами огромных лап. Монах-тиран казался полумертвым; когда сдавливание было слишком продолжительным, его глаза долго оставались закрытыми. В эти мгновенья цыган прыгал по комнате, бросался на свою жертву, кусал за нос, за уши, за горло и с такой яростью колотил своими железными рогами, что изранил кольцом себе лоб, и кровь струилась по его лицу. Наконец, схватив цепь, он разможил настоятелю голову». Перед тем он превращает «в крошево» головы четырех сбиров.

Персонажи, живущие в этих новеллах,—отраженные в сферических зеркалах гротеска, рассматриваемые в увеличительные стекла гипербол,—немного больше, чем просто люди. Они—герои романтической породы. «Эпосная» сила (и «эпосный» аппетит), великаньи страсти, стремительность движений, неожиданность поступков. Когда Илья говорит своему брату Козьме, предводителю гайдуков, неприятную тому правду, Козьма вспрыгивает Илье на спину и заставляет его бегать. После того, как Илья, обессиленный, падает,—Козьма колотит себя в грудь, или прислоняется к дереву вниз головой,—и так выслушивает Илью. Большинство человеческих образов построены контрастно. Свет и тени, из которых они слагаются, преувеличенно резки. «В сердце страстного» жестокость и нежность сплетены, срослись. Дьяволоподобный цыган добр и привязчив. У певчего Иоакима, тоже потомка Квазимодо,—«голос серафима и туловище осла».

Фольклорного материала—сказок и особенно поговорок—в цикле новелл о гайдуках очень много. Есть даже (в книге «Domnitza de Snagov») боль-

шая песня, взятая из специального сборника. Встречаются чисто этнографические картинки быта, которые иногда выглядят тоже так, как будто они взяты из сборника фольклора (напр., в «Рассказе Спилки-монаха») ¹⁾. Фольклорный материал вообще заостряет выразительность повествования, а в этих новеллах Истрати он особенно удачно срastается в одно целое с текстом, принося такие качества, как лаконизм, афористичность, чеканность, броскость, способствуя усилению «живописности», сгущенности тонов, резкости линий,—и, стало быть, содействуя общей стилиевой направленности цикла.

Таким образом, вещи Истрати, в которых его магистральная тема дана во второй стадии развития,—по материалу и по стилю примыкают к произведениям, романтически поэтизирующим народное прошлое (все элементы того же стиля, но по многим причинам совершенно иначе организованные, налицо в исторических романах Сенкевича).

7

В 1925 г. Истрати, после десятилетнего отсутствия, посетил Румынию, «сделавшуюся „Великой Румынией“» ²⁾. На его творчество эта поездка повлияла прежде всего следующим образом: книге «Domnitza de Snagov», которая по плану была предпоследней из цикла о гайдуках, пришлось сделаться последней.

В течение двух месяцев, проведенных в Румынии, Истрати «убедился, что колотил топором воду». «Действительно, в то время, как я старался описать турецкие и греческие зверства времен Оккупации, румынское правительство со средневековой жестокостью истребляло население этой «Великой Румынии», которая теперь не оккупирована никем. Мои рассказы о насилиях и избиениях, бывших столетием раньше, бледнеют рядом с расстрелами детей, стариков, женщин и младенцев, преследуемых и убиваемых в сёлах Бессарабии офицерами регулярной армии, ко-

¹⁾ «История гайдуков».

²⁾ Предисловие к книге «Domnitza de Snagov».

¹⁾ «Domnitza de Snagov» («Умирающий в Бякоссе»).

торых румынский Сенат об'явил «национальными героями». «Я поклялся, что не буду думать об искусстве, пока не будут отомщены жертвы, кричащие из могил: раньше искусства—немного жалости к нам»¹⁾.

Писателя, который начал свою борьбу за Справедливость вообще, с «большой буквой», с сетований на несправедливость Судьбы (тоже «с большой буквы»), — действительность заставила заговорить на языке Мопра. В будущих вещах Истрати, вероятно, еще встретятся отзвуки этой тирады. Но, зная, что основными чертами его писательской манеры и образов его героев являются — неуверенность, неустойчивость, отсутствие длительной целеустремленности (то, что, приблизительно, покрывается словом «*вслепую*»), — можно не удивляться, заметив в его последних вещах именно эти черты — в усиленном и обнаженном виде (в обнаженном виде потому, что в скомканной второй половине книги «*Domnita de Snagov*» художественные образы затоплены сырым публицистическим материалом, а позднейшие вещи Истрати — с виду автобиографичны, и в них тоже приходится сталкиваться с высказываниями, данными от первого лица).

«Снаговская домнитца»²⁾ (так прозвали предводительницу гайдуков Флореу Кодрипор) об'единяет все гайдуцкое движение и ставит перед ним конкретную цель. Программа ее такова: возвращение земли крестьянам; секуляризация церковного имущества; уничтожение рабства цыган; отмена смертной казни; об'единение румынских княжеств; конституционные гарантии. Флореа Кодрипор готова испробовать все средства для осуществления этой программы. И в то же время, неожиданно, — точно и она вместе с Истрати посетила в 1925 г. Румынию, —

¹⁾ Когда Истрати, возвратившись во Францию, после нескольких выступлений, хотел опубликовать имеющиеся у него документы в «большой прессе», ему сказали, что большая пресса «его товару предпочла более основательные факты». «Письмо из тюрьмы», помещенное в газете «Вечерняя Москва» (№ от 1 апр. 1927 г.), вероятно, — один из таких документов.

²⁾ *Домнитца* — наследная дочь князя (по-румынски); *Снагов* — наименование местности.

она оказывается разочарованной «в людях вообще», что не очень располагает к упорной борьбе. «Возьмите 999 обитателей земли из тысячи и взгляните им в лицо: они — кротки. Прикоснитесь к их черепу — и вы нащупаете шишку тирании. Нет почти ни одного униженного, который не тиранил бы еще более униженного, будь то жена, осёл, или собака... Делить людей на две части, приписывать одним только недостатки, другим — лишь достоинства, и уничтожать первых, чтоб отдать землю вторым, — таким образом ничего нельзя изменить в нынешней жизни, потому что редко можно найти угнетаемого, который не хотел бы быть угнетателем».

Еще раньше гайдуки говорили: «народ подл». Полное же неверие, разочарование в людях вообще — при желании «помочь народу насильно», — оставляет надежду только на отдельных «идеалистов», «добрых героев». И тут же — безнадежные призывы к «тупому народу», а рядом — неожиданные попытки повлиять на угнетателей: «Бояре, будьте добрыми вождами, и народ позволит вам есть из золотых тарелок, если это вам приятно».

Гайдуки — дипломатическим путем и силой — добиваются об'единения княжеств, а потом помещики опять оттирают их и захватывают власть. Так кончается: этот цикл, в котором поэтизируется прошлое Румынии, ее об'единение и национальное возрождение, и вместе с тем — попытки борьбы с несправедливостью.

8

Следующие вещи Истрати, с виду автобиографичные, довольно бедны событиями. Здесь нет ни исторических экскурсов, ни поэтизации борьбы с несправедливостью. В связи с этим берёт верх реалистическая манера, при чем художник не чуждается зарисовок быта, подробных описаний (напр., описание кондитерского производства в рассказе «Кир Николай»¹⁾). Только иногда (в рассказе «Кодин») проявляется еще склонность автора к антистетичности,

¹⁾ «Кодин».

гротеску. Лиризм чаще, чем в прежних произведениях, разливается горьковато-солоноватыми озерами элегических отступлений. Мотив *доброты* (любви, жалости к людям) и *бессердечности*, который до того был оборотной стороной темы справедливости — несправедливости, постоянным аккомпаниментом к ней, — растёт, покрывает ее, становится основным. Заостренность темы — быть может, временно — исчезает, тонет в чувстве жалости к людям вообще и в чувстве симпатии к хорошим людям, у которых есть сердце, которые по природе добры (хотя бы их и считали бандитами, как Кюдина). Именно в духе такой общей чувствительной, довольно расплывчатой гуманности выполнены выступления против травли иностранцев, против ломки людей в казармах («Кир Николай»¹⁾). Если появляется мотив жизни угнетенных, — он окрашен в безнадежные тона (новелла «Ночь в плавнях»²⁾). И — как это бывало и раньше («Козьма») — тяжелой, нелепой человеческой жизни противопоставляется природа («гармония... вечное согласие...»), оскверняемая только жестокостью людей — даже тех самых, которых автор жалеет, за которых вступается. Подобным морализаторским осуждением «низости человека» — бедного дяди Адриана, Дими — и еще фразой о возносимой птицами «хвале создателю» — испорчена сильная новелла «Ночь в плавнях». Бог, в которого плевал Козьма (он же — судьба, перед которой не хотел согнуться Ангел) — примирённо признается единственным «обладателем разума». Жизнь человека правит не его (человека) разум, а «кровь» (страсти, темперамент); — это подтверждается и историями прежних персонажей Истрати. «Мы можем подчиняться или не подчиняться, и это — всё» («Nerrantsoula»). Отсюда недалеко до дальнейшей сдачи позиций, до возведения формулы «жизнь вслепую» — в принцип, беспомощности — в идеал: «Об одном только можно пожалеть: о том, что ты (бог) не подумал поместить второе сердце на месте нашего жалкого мозга, такого обременен-

ного»¹⁾. Эти слова дают довольно точное представление о той гипертрофии чувствительности и связанном с ней опьянении лиризмом, которые характерны для уже напечатанных кусков музыкальнейшей последней вещи Истрати «Nerrantsoula».

9

Здесь — место некоторых выводов.

Истрати работает в области художественной литературы сравнительно недолго, и говорить уверенно о его дальнейшем пути нельзя, да и излишне.

Но классовую природу его вещей, того, как они организованы и что выражают, уже и теперь вполне вскрывают черты: неустойчивость, неуверенность, беспомощность («вслепую»), развитие, деятельность *вспышками* (деятельность гайдуков, распадение материала на множество «новелл-вспышек», контрастный гиперболический стиль цикла о гайдуках). Автор выступает, как адвокат угнетенных, он хочет «растрогать», первоначально даже хочет «открыть глаза лучшим из современных правителей»²⁾. Он ориентируется на угнетенных, на «народ», под которым понимаются труженики вообще, а чаще — крестьянство (в области стиля эта ориентация выражена в обилии фольклорного материала). Но он не верит в силы «народа». К тому же он признает только два рода людей: «добрых» и «злых», «коварных» и «глупых» («Domnita de Snagov», «Кир Николай»), — а в народе так много низких, жестоких, в лучшем случае глупых... Рабочих в вещах Истрати (даже не посвященных прошлому) почти нет. Только об одной героине сказано, что она — бывшая работница табачной фабрики в Бухаресте. Портовые рабочие требуют, чтобы их наняли, «с ревом, напоминающим неистовое хрюканье голодных свиней вокруг корыта» («Кюдин»). Здесь можно видеть и влияние люмпен-пролетарской психологии).

Таким образом, художник стоит между «угнетаемыми вообще» и угнетателями — так же, как и гайдуки, вызы-

¹⁾ Неслучайно и то, что Истрати оказался так близок Р. Роллану.

²⁾ «Кюдин».

¹⁾ «Еигоре», № от 15 февр. 1927 г.

²⁾ Автобиография Истрати «Огонёк», № от 20 марта 1927 г.).

вавшие то к одним, то к другим. В других вещах (где герои—не гайдуки), наиболее симпатичные автору персонажи—ремесленники (одинокие, часто бродячие), люмпен-пролетарии.

Говоря о склонности автора к общим, расплывчатым понятиям («народ» вообще, справедливость вообще, люди злые, добрые вообще), нужно подчеркнуть, что с ними связана и его склонность переводить социальные отношения и разные другие явления на язык *морали* («добро-зло», доброта — «единственное оправдание жизни»). Тут же нужно указать на тенденцию рассматривать в бинокль,—как нечто общеобязательное и неизменное,—явления необязательные и непостоянные, обусловленные другими явлениями, тоже непостоянными. Перечисление того, что отравляет человеческую жизнь, заканчивается восклицанием: «и сверх всего, этот кошмар—стремление стяжать, чтобы иметь на что жить в изобилии тысячу лет» («Nerrantsoula»).

Все отмеченные черты характерны для мелкобуржуазной психоидеологии.

В период безусловного господства крупного капитала—мещане, без отпусков работающие, эксплуатируемые, душимые «хозяевами мира», живущие на грани обнищания, находящиеся в состоянии неустойчивого равновесия между непрочным благополучием и разорением, или без конца переходящие от одного к другому,—не сознающие, каковы коренные причины всего этого,—начинают видеть в этом нелепую, незаслуженную несправедливость судьбы,—«черную руку судьбы», чувствуют себя беспомощными, живущими «вслепую» (происходит фетишизация случая). Если выразить эти настроения в общем и замаскированном виде (вне быта), но в остальном бесхитростно, всё время повторяя о незаслуженной несправедливости случая-судьбы и достоинствах (доброте, мягкости), страдающих героев,—получится нечто вроде историй, образующих книгу «Кира Киралина». Далее, художник, выражающий психологию данной социальной группы, конкретизировав представление о несправедливости судьбы, может перейти к поэти-

зации попыток борьбы с этой несправедливостью. Не находя опоры для этого в настоящем, он уходит в прошедшее. Он знает: «то, что рождено кошкой, ест мышей». Он знает, что может ориентироваться только на «мышей». Но и эта социальная группа представляется ему такой же беспомощной, инертной, как его собственная. Остаются единицы, герои, «идеалисты». Их попытки борьбы освещены густым, темным факельным пламенем гротеска, даны контрастно, что вполне соответствует резкому противопоставлению угнетенных угнетателям. Сознание своего бессилия, неуверенность в возможности победы (не в новеллах, а в действительности) обуславливают фрагментарность произведения, недоделанность, недоговоренность (а не массивность, полноту, как в исторических романах Сенкевича). Расплывчатостью психологии обуславливается то, что в основе большинства эпизодов лежит та же схема-стандарт (обида-насилие, месть). Расположенность к морализированию, к расплывчатым обобщениям и вытекающее из психологии социальной группы художника убеждение, что «нет такого угнетаемого, который не хотел бы быть угнетателем»,—приводят его к разочарованию в людях «вообще». Отсюда — противопоставление обществу «гармонии и вечного согласия природы», обоснованное чувствительно, наивно, примитивно. Достаточно толчка извне, углубляющего разочарованность писателя, чтоб вызвать в нем охлаждение к поэтизации прошлого. Углубление разочарования ведет к смирению перед случаем-судьбой-богом (которое в зависимости от обстоятельств может оказаться и неокончательным), к признанию собственной слепоты, беспомощности — идеолом, к об'явлению диктатуры сердца.

Мелкая буржуазия в период восхождения выбросила ведущее вперед знамя с расплывчатыми, благородными лозунгами (Человечность, Естественность, свобода сердца). В период нисхождения класса—его представитель может только безнадежно, отчаянно размахивать этим старым, истрепанным знаменем, или же пытаться пристроить его в каче-

стве занавески, отделяющей от действительности.

Общая расплывчатость и отсталость психологии, оформляемой Истрати, обусловили (особенно—в начале его работы), расплывчатую и архаичную технику письма, и это мешает рассмотреть природу его творчества с первого

взгляда. Конечно, не исключена возможность возвращения писателя к войне с несправедливостью. Но это не подчеркивает сказанного выше, так же, как сказанным выше—не аннулируются художественные достоинства вещей Истрати, настоящего поэта.

III. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАРЕК

Фрол Скобеев

По книгам, журналам и газетам

Несговорчивый Толстой

В № 5—6 «На литературном посту» (1927) Юрий Либединский, говоря о классиках, замечает:

«... наиболее совершенным я считаю Льва Толстого, и мне хотелось бы иметь его влияние на своей работе».

Ах, тов. Либединский, и читателю так же хотелось бы этого, но ведь что делаешь с Толстым? Несмотря на всю свою влияние, не хочет он на вас влиять, да и все тут. Упрямый Лев Николаевич старик!

Рецензентские борзописцы

В «Вечерней Москве» (№ 10, 1927) была помещена нижеследующая рецензия Федора Жица на книгу Бориса Лавренева «Сорок первый»:

«Лавренев—изысканный (!) мастер слова, рассказчик с уклоном в авантюрный вымысел».

В повесть «Сорок первый», из эпохи гражданской войны, автор внес много выдумки, психологической находчивости, ярких деталей походной жизни бойцов революции. Коробит (!) лишь временами кокетливый показ строения вещи, отступленья, намеренно раздражающие эмоциональную энергию в целом очень удачной и занимательной вещи».

Несмотря на всю пустую высокопарность этой рецензии, в «Нашей Газете» нашелся некий Б. Стодолин, который в своем отзыве на ту же книгу почти целиком воспроизвел болтовню целомуудренного Жица. Вот что «написал»

этот Б. Стодолин («Наша Газета» № 15, 1927) ¹⁾:

«Лавренев — изысканный (?) мастер слова, рассказчик-экспериментатор, с уклоном в авантюрный вымысел».

В каждые из... звеньев рассказа Лавренев вносит много наблюдательности, психологической находчивости, такта. Коробит (!) лишь временами кокетливый показ строения вещи, конферийные оговорки (!), намеренно раздражающие энергию в целом удачной и занимательной вещи».

Увы, даже конферийные оговорки Стодолина не помешают сказать, что так беззастенчиво списывать несколько неудобно. Ведь даже в первой ступени это преследуется. И если Жиц чувствует себя покоробленным, что при списывании передалось и Стодолину, то каково же читателю от таких, с позволения сказать, отзывов?

Караул!

О заметке под таким заглавием в № 2 «Нового Лефа» (1927) Маяковский сообщает:

«Я написал сценарий—«Как поживаете?»»

Я хотел, чтоб этот сценарий ставило Совкино...

Сценарий не принят Совкино».

Плохо дело! Недаром заметка так нехорошо озаглавлена... Но если Маяковский еще до постановки картины начал кричать караул, то что же ста-

¹⁾ Курсивом набраны бунвальные совпадения отзыва Стодолина с отзывом Жица. Ф. С.

нет кричать публика, увидев на экране фильм по его сценарию?

Зловредный насморк

В. Бакланов в рассказе «Чумовой» («Мир Приключений» № 1, 1927) вспоминает:

«Прошедшее лето часто *сморкалось*»(!?)...

Верим, что сморкалось. Это и по рассказу видно: такой он сырой.

Зарцензировавшийся рецензент

Это тоже Стодолин, только не Б., а Ф. (Федор), но пишет он ничуть не хуже уже знакомого нам Б. Вот—полюбуйтесь—его отзыв на книгу Васильченко «Карьера подпольщика» («Наша Газета» № 21, 1927):

«Для скрепа материала, имеющего в первую очередь общественно-политическое значение, автор *проткнул его* (!?) *сюжетным стержнем с* (!?) *любовной интригой* и прочими *ассексуарами* (?) «художественного» произведения. Но, несмотря на то, что *операция* произведена не плохо, личная судьба героев теряется в *суммарной значимости* коллективных устремлений революционеров»...

Ах, будь у меня под рукой этот самый стержень, я бы показал, как надо обращаться с рецензиями, суммарная значимость которых=0.

Душка Шкловский

«Новым Лефом» (№ 2, 1927) сообщается, что Виктор Шкловский «Написал книгу «Техника литературы» в роде как у Шенгели, *но получше*».

Жаль только, цена не указана.

Невероятно, но факт

Всем историкам литературы и театра, всему артистическому миру, Малому театру и всем читателям печатно заявляю, что все пьесы, которые доселе приписывались Островскому, писаны не им.

Кто их писал—этого я и сам не знаю, но только не Островский, т. к. написать

он их не мог по очень простой причине, а именно потому, что 12 апреля сего 1927 года ему только что исполнилось 4 года от рождения, и значит он еще октябренек.

Кто сомневается в этом невероятном факте—пусть посмотрит отрывной календарь Госиздата, там под 12 апрелем ясно сказано:

«Памятка событий. 1923. Рождение драматурга «Островского».

Насчет грамоты

«Помимо личной помощи (писателям) *Горький становился руководителем своим художественным творчеством*»... (? Стр. 108) «... если... *поскоблить критика*, почти всегда *выскоблишься* (?) до поэта» (стр. 112).

Так пишут в журнале «На литературном посту» (№ 5—6, 1927), от которого русский язык, как видно, держится на почтительном расстоянии.

У Трифона-на-Корешках

Неправдоподобные, читатель, вещи делаются у этого самого Трифона-на-Корешках. Раскрывайте так озаглавленную новую книгу Ив. Евдокимова (изд. «Пролетарий», 1927) и читайте:

«Она *изогнулась*... ко мне *густыми*... *грудями*» (! Стр. 52).

«Гога скрывался за Нефедовым большим *задом с круглыми часами в футляре*» (? Стр. 204).

«... лепетал зав, *заболевая головой*» (? Стр. 144).

«Кенка одной рукой ляжку тер, *другой жрал огурцы*» (Стр. 159).

Есть от чего, заболевая головой, пожалеть об излишней свободе автора в обращении с русским языком.

Не всем тропики полезны

Некий Хома Брут в фельетоне о московском ботаническом саде — «Два часа под тропиками» («Вечерняя Москва» № 115), пытается цитировать Северянина, утверждает, что «поэт поет» так:

Наша любовь, как Виктория Регя,
Редко-редко цветет.

Увы, это поет сам Хома Брут, а не Северянин, у которого об этом сказано совсем иначе:

Наша встреча—Виктория Регия:
Редко-редко в цвету...

И чем, как не вредным для Хома Брута климатом тропиков (даже на два часа!), можно об'яснить подобное искривление его памяти.

Если бы Брут взялся «цитировать» Пушкина, то к пребыванию своему в ботаническом саду он, вероятно, «подбрал бы» след. стихи:

Там некогда гулял и я,
Но вреден климат для меня...

В Ромэнах запутались

«Наша Газета» (№ 50) доводит до сведения своих читателей, что:

В изд. «Academia» печатается за-прещенная во Франции к постановке новая пьеса Ромэна Роллана «Диктатор».

Но уверяем читателей, что Ромэн Роллан тут совершенно не при чем: пьесу эту написал Жюль Ромэн, который на Роллана даже и не похож вовсе.

IV. ПО ПОВОДУ ЯЗЫКА КНИГИ СТАНИСЛАВСКОГО

А. Дерман

Книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве»—одно из самых значительных явлений в области искусствоведения (а не только театрального дела) за последние годы, если только не самое значительное. От создателя и руководителя театра, явившегося бродилом в театральной жизни всего мира, очень многого ждешь à priori, когда раскрываешь книгу, в которой изображен четвертьвековой путь этого театра и славный артистический путь его творца. Прочитав книгу, видишь, что получил больше, чем ждал. Настоящая заметка посвящена как раз этому «избыточному дару». Я буду говорить в ней не о том, что составляет ее главный интерес, не о ее содержании, не о тех проблемах искусства, которые она ставит и порой разрешает, но о том, что едва ли составляло главную заботу автора, о том, что обретоно им попутно и что читатель получает в виде какого-то драгоценного приложения: о языке книги.

Возможно, что высокие достоинства и притом специфические достоинства языка—останавливают внимание и изучают не только сами по себе, но еще и в силу контраста: они с особенной яркостью выступают на фоне языка текущей литературы, на который все чаще и чаще слышатся в последнее время жалобы и в самих литературных кругах и в читательских массах. Жа-

лобы этих последних выливаются иногда в настоящий грозный гул, которого не слышат только глухие. Кто присутствовал на организованном и массовом собрании рабочих читателей, устроенном МГСПС в середине января, тот, вероятно, не скоро забудет о резком недовольстве и раздражении, с какими эти читатели протестовали против неряшливости, изломанности и вычурности языка современных писателей, о той жажде чистого, здорового языка, какая сквозила в их простых и горячих речах.

На то же самое жалуется и наша критика. Но сами-то критики, свободны ли они от упреков в небрежном обращении с языком? Более того—чувствуется ли с их стороны внимательность к литературе и к книге? Вам нужны образцы неряшливого отношения к стилю, изломанности, нелепости, грубейших промахов? Берите любой номер журнала, посвященного искусству, и все это вы найдете в изобилии. Почему-то об искусстве и, в частности, о той отрасли его, которой посвящена книга Станиславского, — о театре—у нас пишут всего неряшливее. Вот несколько примеров, взятых из одного только номера издания «Программы гос-академических театров» (№ 65—66):

«Театр обнажал до конца, до *изощреннейшей* глубины нутро человека». «Он с честью *несет функции* полпреда

балетных интересов в оркестре». *«Из памяти античной Греции русский театр чаще всего обращается к Софоклу»*. «Для актера, говорящего на бытовой речи». *«Захватывающая занимательность и сосредоточенная заинтересованность зрителя»* (зрителю, занимательностью зрителя!). «Он без всякого зазора присваивает картинку у МХАТ'а». А чего стоит соседство отзывов о языке перевода «Орестей»: на стр. 10 читаем: «Слова прекрасного перевода падали в зрительный зал, пущенные не меткой рукой»; а на стр. 11: «декламации эсхилового текста в убогом и неряшливом переводе, сделанном местами просто плохим русским языком».

Я привел только грубейшее, нестерпимое. Но в целом эти страницы, посвященные искусству, производят не менее удручающее впечатление: это сплошная банальщина,— банальщина, сознающая себя таковой и пытающаяся припарадиться теми штампами глубокомыслия и изощренности, теми квазиэстетическими словесными побрякушками, без которых сейчас не обходится ни одна театральная рецензия. Дело совершенно ясное: рецензенту нечего сказать, рецензент холоден,—ни свежей мысли в голове, ни тени чувства в сердце, ни единого живого слова на языке. Но надо изобразить и то, и другое, и третье. И рецензент мертвый начинает позировать на рецензента взволнованного. Чем это достигается? Словечками. В эпоху Карамзина говорили и писали «примечательный». Слово устарело и стали употреблять «замечательный». Теперь вы его не услышите: кстати и некстати вы читаете «примечательный», «примечательно» и т. д. Этак получается как-то изысканнее, тоньше, изощреннее. Почти исчезли слова «значение», «значительность»,—в виде какой-то эстетской трухи сыплется на вас «значимость». Вместо «постановка»—получайте через два слова—в третье—«оформление». Вместо целой гаммы оттенков, изображающих внутреннее состояние сознания,—эстетический штамп «переживание». Вместо понятий: вскрывать, открывать, обнаруживать, раскрывать, проявлять, выяснять, изоб-

ражать, освещать и т. д. и т. д., на вас изо всех рецензий каким-то ужом ползет все одно и то же словечко «выявлять». Тем, кто поминутно пускает его в ход, и невдомек, что эстетский налет давно уже стерся с этого «выявить» и что они сами себя грабят, заменяя оттенки выражения мысли и чувства этим замызганным пятком.

Лучшим доказательством того, что словесное пустозвонство тщится прикрыть нищету и пустоту чувства тех, кто пишет об искусстве (в частности—о театре), что в этом искусстве, о котором они пишут, для них отсутствует жизнь,—является замечательная книга Станиславского, для которого жизнь и была искусством, а искусство—стало самой жизнью. Об этом слиянии жизни с искусством он собственно и написал свою книгу, именно так (и с полным правом на это) он ее и назвал «Моя жизнь в искусстве», и, как солнце в малой капле вод, это стихийно отразилось в ее языке.

Он необыкновенно, я сказал бы достаточно богат. Но при всей своей полновесности, при всех богатствах оттенков, он так прост, что долгое время этого не замечаешь. Говоря о работе актеров над усвоением особенностей языка роли, автор спокойно скажет: «Каждая фраза должна была хорошо лечь на язык». По поводу недоделанности роли он заметит: «Роль была надеята, так сказать, в накидку, в один рукав». Свежее, смелое и выразительное сравнение нисколько вас не удивит только потому, что оно донельзя просто. Вот пример очень сложного и частого душевного состояния актера, на выражение которого наши рецензенты потратили бы в эстетских потугах весь запас своих «выявлений», «значимостей» и «переживаний»,—взгляните, как просто и мудро раскрыто оно у Станиславского: «С пустой душой, без духовного содержания подходишь к сильному месту роли. Надо только раскрыться, а тут словно буфера вылезают из души и не дают приблизиться к сильному чувству. Это состояние напоминает ощущение человека, который никак не может решиться броситься в ледяную воду».

Еще несколько примеров подобного рода счастливых сравнений: «Наш актерский, нервный и подсознательный аппарат гораздо нежнее, сложнее, *легче поддается вывиху* и труднее—исправлению, чем голосовой аппарат певца». «Я любил не роль в себе, а себя в роли. Поэтому я интересовался не успехами артиста, а личным своим человеческим успехом, и сцена для меня превращалась в витрину для *самопоказывания*». «Он (Сальвини) влезал в кожу и тело Отелло с помощью какого-то важного подготовительного *туалета своей артистической души*». «Мучительно не быть в состоянии верно воспроизвести то, что красиво чувствуешь внутри себя. Я думаю, что немой, гытающийся уродливым мычанием говорить любимой женщине о своем чувстве, испытывает такое же неудовлетворение». «Я ищу естественной музыкальной звучности. Мне надо, чтобы при слове «да» буква «а» пела свою мелодию, а при слове «нет» то же происходило с буквой «е». Я хочу, чтобы в длинном ряде слов одни гласные незаметно переливались в другие и между ними не стукали, а тоже пели согласные, так как и у многих из них есть свои тянущиеся, гортанные, свистящие, жужжащие звуки, которые и составляют их характерную особенность. Вот когда все эти буквы запоют,—тогда начнется музыка в речи, тогда будет материал, над которым можно работать». «Чтобы играть Чехова, надо, прежде всего, докопаться до его золотоносной руды, отдаться во власть отличающего его чувство правды, чарам его обаяния, поверить всему,—и тогда вместе с поэтом итти по душевной линии его произведения к потайным дверям собственного художественного сверхсознания».

Из огромной сокровищницы такого рода драгоценных художественных лаконизмов приведу еще лишь один, особенно замечательный своей смелой простотой. Станиславский рассказывает о бесконечном пути своих театральные исканий и метаний из стороны в сторону, пути столь сложном, богатом и плодотворном. И вот характерное резюме всего этого огромного процесса: «В этих исканиях не было системы, строй-

ного порядка, достаточно обоснованных руководящих мотивов. Метнувшись в одну сторону, я бросался в противоположную, захватив с собой и то, что было найдено раньше. Новое клалось в багаж и уносилось в обратное направление, к пришедшему на смену другому увлечению. По пути терялось ранее приобретенное, в котором многое уже успело выродиться в простой штамп. Однако кое-что важное и нужное откладывалось в тайники творческой души, или приобщалось к завоеваниям вырабатываемой техники».

Какая живость, ясность и простота! Поистине—предел простоты: перед нами словно какие-то хорошо знакомые сборы в дорогу, упаковка багажа, суета, некий *Reisefieber* артистической души.

Я хочу вкратце коснуться еще одной характерной особенности языка книги Станиславского, бросающей свет на весь облик ее: материализованной расчлененности понятий, способа и приемов, к каким прибегает автор для выделения оттенков выражения мысли. Такой тонкости в употреблении синонимов и такой материализации отвлеченных понятий я за последние годы в нашей литературе не припомню. Вот очень краткий пример. Станиславский рассказывает о театральных впечатлениях послереволюционного массового зрителя: «Вот эта коллективность, т.-е. совместное творчество не одного, а многих творцов, эта собирательность, т.-е. воздействие не одного, а многих искусств сразу, эта общность восприятия—показали на описываемых спектаклях всю силу своего воздействия на нового неиспорченного, доверчивого, не блазированного зрителя».

Коллективность, собирательность, общность,—как смазывается не только в устной речи, но и в литературном словоупотреблении тонкое различие в оттенках этих понятий! У Станиславского они поставлены каждое на свое точно определенное место, они не только поставлены рядом, но смело и плодотворно сопоставлены, неожиданно углубляя общую перспективу картины, которую он хотел набросать.

Ряд страниц в книге Станиславского посвящен изображению мучительного

«состояния, переживаемого артистом, до души которого не дошла исполняемая им роль. В этих описаниях мы встречаем наиболее удивительные образцы как стилистического расчленения, так и материализации отвлеченных понятий и психологических состояний: «И стараешься, и пыжишься изо всех сил, и напрягаешься; узлом завязываешь себе кишки, до хрипоты сжимаешь горло, выпучиваешь глаза, наливаешься кровью до головокружения, стараешься до изнеможения выполнить эту каторжную работу, загоняешь чувство куда-то в живот»... В другом месте: «От бессилия выполнить стоявшие предо мной задачи появилось напряжение, судороги и потуги, коченение всего тела, мышечная анархия, дурные условности, актерские ремесленные штампы».

Еще один пример—и мы можем перейти к итогам. Пример этот особенно пригоден для нашей цели по той причине, что здесь Станиславский употребляет как раз то замызганное слово—выявить, о котором речь была выше. Описывая танцы Дункан, он замечает: «Она от зарождающегося чувства сначала менялась в лице, а потом со сверкающими глазами переходила к выявлению того, что вскрылось в ее душе».

Вот уж подлинно: то же слово, да не так молвил! Это слово не смазало у Станиславского мысли, а уточнило ее. У него понятие «вскрылось» не только сохранено, но и подчеркнуто, как нечто самостоятельное, этим «опасным» словечком «выявление».

При помощи последнего он расчленил психологическое состояние артист-

ки и показал, а не затушевывал его, он нашел новый оттенок, как раз выражаемый этим злополучным словом.

Все мы знаем, что замечательный артист и великий режиссер—Станиславский—отнюдь не писатель. Если не ошибаюсь, «Моя жизнь в искусстве»—его первое литературное произведение. Как же могло случиться, что литературный дебют 63-летнего «начинающего писателя» оказался замечательным явлением не только в его специальной творческой сфере, но и в чуждой ему области—в мастерстве стилиста? Чем это об'яснить?

Тем, что книга Станиславского—это подведение итогов всего его творчества, а творчество его, как сказано, и составило содержание его жизни. Его книга—глубоко серьезна, хотя в ней имеется множество страниц, освещенных чудесным юмором. Он не ищет слов ради слов, слов ради «красоты слога»—ему не до того! Он ищет точного, доведенного до предельной ясности, выражения своим мыслям и мнениям об искусстве, которому он отдал жизнь, о котором он, напряженно работая и ища, думал десятки лет, и нужные, точные термины и эпитеты сами послушно приходят к нему, писателю не-профессионалу, с необыкновенной полнотой и щедростью. Он много *думал* об искусстве и *поэтому* он так блестяще о нем написал, в противоположность тем, кто пытается блестяще пивать об искусстве, не думая о нем.

Книга Станиславского—урок для всех нас, литераторов-профессионалов. Побольше духа серьезности!—вот вывод из нее.

У. В ЩЕЛОЧАХ И КИСЛОТАХ

(Из материалов студенческой экскурсии на Константиновский нефтеперегоночный завод Ярославской губ.)

А. Смирнов-Кутаческий

Процесс индустриализации и соответственного перевоспитания масс долго еще будет живой, требующей все новых иллюстраций, проблемой. Конечно, в общем виде, как рост и влияние в нашей стране городской цивили-

зации и культуры, а в наши дни—советского строя, эта тема чуть ли не общее место.

Но в зависимости от разных местных условий, особенно производственных данных, эта общая тенденция имеет

свою индивидуальную физиономию и характерные подробности. Иногда они даны в особо сгущенной, сконцентрированной форме, являясь поучительными и показательными.

Такую картину индустриализации труда и связанного с нею перерождения личности и быта открывает ярославский Константинковский нефтеперегонный завод. Есть много рассказов, как люди формируются у фабричного станка, как вывариваются в заводском котле; посмотрим, как деревенская жизнь промывается в щелочах и кислотах.

1. На заводе

Когда-то предприимчивый волжский капитан Гагозин нюхом почуял, что из черного прикаспийского масла можно хороших делов наделать, если перетащить его и отдать в деловые руки старинных нижегородских, ярославских и костромских смолокуров и дегтярников. И вот он в Нижнем открывает завод, вырабатывая керосин—сначала понемногу, по пуду—и то хорошо, дело новое! А затем появился настоящий нефтеперегонный завод в городе Балахне,—предприятие, хоть и оборудованное технически по-заграничному, но поставленное, повидимому, на русскую ногу. Завопил весь окрестный обыватель, когда речонка, около которой приютился завод и городишко, оказалась отравленной нефтью. Долой! Не хотим завода! Ни за какие деньги! Пришлось искать другое место. И вот подальше от города и от большого (Ярославль—30 верст) и от малого (Тутаев—7 верст), но поближе к центру, у дороги к Москве и Питеру, на купленной у помещика Константинова земле, расположился бывший балахнинский завод. Перевозятся не только машины, оборудование, но целым поселком балахнинские рабочие; учитывается старый опыт и новые усовершенствования в химии и технологии; во главе лаборатории становится Д. И. Менделеев. (Его лаборатория и сейчас хранится как музейная редкость.) Это третье издание завода, улучшенное, с акционерной компанией во главе, просуществовало до войны, непрерывно работало в

революцию и теперь расширяется и совершенствуется в советских условиях.

Живописную картину представляют с Волги эти симметрично расположенные, миниатюрные с парохода, беленькие цистерны с миллионами пудов нефти, заводские корпуса и трубы.

Пройдемся по заводу.

Основная задача завода с виду проста—разложить нефть на составные части, эти части наиболее продуктивным образом обработать, утилизируя все остатки. На помощь приходит химия. Она здесь царит на заводе. Все спецы—химики; все рабочие—члены химсоюза; рабочим непрерывно читаются курсы по химии, теоретической и прикладной; на главном заводском здании громадный символический знак SO_2 ; химией пропитана вся почерневшая от нефти почва завода; керосиново-сернистыми и всякими запахами выдышите, бродя по заводу. Химия! Химия!

Чтобы разложить нефть, используются два главных агента—сухой пар и серная кислота.

— Вот в этих самых посудинах,—объясняет нам старый рабочий,—нефть, шуруется она вот этими форсунками... Тут нужен большой жар... Мы и выпариваем ее сухим паром. Здесь выпарка газолена, керосина,—это легкие газы... А потом идет в отчистку кислотой. Выделяют ее в другом здании из серного «колчегана» с Урала, а нефть нам из Эмбы. Она 13% керосину дает...

Кругом довольно чисто, просторно, светло, но лица рабочих не цветущего здоровья: несмотря на открытые двери, удущливые запахи дают себя чувствовать.

В каждом отделении обдаёт все новыми волнами—Брокер и Ралле наизнанку.

— Молоко нам выдают... Оно только и отшибает. А то какхватишь глоток—где то в кран вытечет, то в скважинку просочится, то при смеси дистилатов пахнет, хоть помирай!.. Не продонешь! А хлебнешь молока и ничего, снова работать можно...

И тут же, рассказывая «химию» производства своего отделения, с подробностями, которыми наслаждался бы ка-

кой-нибудь менделеевец, отвернул кран, чтобы показать газ, которым угощали нас в войну немцы. Но нам интересней была не столько химия, сколько художавая фигура с желтым испитым лицом кашляющего рабочего, которому не помогают ни глотки молока, ни шестичасовой рабочий день, ни поголовная премиальная система (в виде полуторного размера) заработной платы...

Идем в *вазелиновое* отделение. Тридцать пять часов нужно для изготовления вазелина. Все время речь идет о кислых и щелочных растворах, выщелачивании и промывке солей, изготовлении масел разной воспламеняемости (пар, напр., воспламеняется при 320°, употребляется в тяжелой индустрии: сейчас большой спрос за границу); все это в качественной ценности устанавливается в специальной лаборатории.

— Вот стараемся все выхватить, да не всегда все удается. Пуцаем по препорциям и по распоряжению начальства. Сделали было машину мышьяк выбирать—наши же рабочие и делали то, да оказалось — мышьяк машину очень повтит, так и спускаем его теперь в отбросы.

В *контактном* отделении. Там из медного «колчегана» вырабатывают серную кислоту для нужд завода и на продажу. Выработка идет путем предварительного нагревания. Духота жары соединяется с сернистыми газами. Трудно дышать. Легче в коломазном отделении: там свои особые запахи. Колесная мазь, приготовляемая из нефти и канифоли, сменила дегтярное производство. Любопытно при этом, что канифоль мы получаем из-за границы. Путешествие завершаем, минуя бондарный цех с горами бочек для керосина и ящиков для колесной мази, лабораторией.

Уже это беглое обозрение оставляет определенное впечатление. Взятый изпод земли загадочный продукт, привезенный из далекого края (как хлопок на Большой Ярославской мануфактуре), способы его обработки, требующие точности (один рабочий с увлечением рассказывал, как Менделеев дрова на весах весил), сложность системы механизмов производства, где

без химии нельзя ступить шагу, и вырабатываемые продукты, такие обыкновенные, ходовые, в роде керосина и колесной мази, и в то же время такие сложные и хитрые по производству—какая во всех этом сгущенная, исключительная по своему характеру индустриализация труда, родина которого—кабинет алхимика, а будущее—в техническом образовании и мастерстве масс. Здесь каждая подробность уводит в царство науки, книги, лаборатории, от одного загадочного к другому непонятному, научая использовать доступное и возможное, толкая на новые поиски от колесной мази и керосина к новому золоту в роде искусственного каучука, как в древнее время алхимики искали жизненного эликсира и искусственного золота. Одним словом—химия! Мы беседовали с рабочими: как буднично вплелась эта химия в круг их рядовых представлений и языка: о выпарке, просушке, кислы ли продукты и много ли в них соли, они говорят, как о своем домашнем хозяйстве.

2. В советском воздухе

Но кто же этот рабочий?

В этом отношении Константиновский завод представляет интересную картину. Расположившись на волжской дороге, он притянул в свой узел соседей: ярославцев, костромичей, нижегородцев, вологжан и даже саратовцев. И посейчас эти этнографические струи заметны, хотя выступают уже не так ярко. Выходцы из лесной Костромы по преимуществу бондарщики, вологодцы—землекопы; муромцы с бесхлебной полосы, целая артель—котельщики; старые смолокуры—нижегородцы—кочегары; ярославцы, главным образом, соседи-тутаевцы, на более привилегированных службах. До недавнего прошлого здесь еще хранили старину, свое родное, песни, говор и обряды, по-своему играли свадьбы и справляли обычаи. Но с каждым годом и поколением все это ослабевало: заводские кислоты выедали старину. А в последние годы остро действует новый бродильный фермент—советский воздух. Действительно, квалифицированная рабочая среда оказа-

лась необычайно благоприятной почвой для насаждения советской культуры. Небольшой оазис завода во всех направлениях и разрезах до приизбытка насыщен советским культурно-просветительным воздействием. Кажется, здесь не только нет места старому быту и пережиткам этнографии, но просто спокойной переработке и усвоению воспринятого. Стоит бросить беглый взгляд на одну просвещенскую жизнь завода. Вместительный, богато обставленный клуб с ленинской комнатой, кино, правда, тесноватое (здесь толкуют о постройке большого театрального зала), одиннадцать тысяч рублей—процентное отчисление на культурно-просветительные цели, два драмкружка—вся мужская молодежь поголовно участвует в спектаклях, духовой оркестр, струнный оркестр, физкультура—все с специалистами руководителями, с следующего года ИЗО, стенная газета, лекции, курсы, общеобразовательные и специальные по химии, школы фабзавуча с общеобразовательными предметами,—школа в главной массе из пионеров, ячейки комсомола, коммунисты, институт женщин делегатов—так называется здесь женотдел. Некрасовский парк, место общественных праздников и гуляний—все это лишь главные и типичные явления советского быта. При таком изобилии возбuditелей можно бы пожелать большей углубленности, направленной в сторону внутренней культуры.

Интересны детали, из которых складывается здешний быт.

— Ну, что же вы в клубе делаете?—спрашиваем мы у молодежи.

— Да, так, играем, кто в шашки, кто как, поем, разговариваем.

— А танцуете вы как—под песни или музыку?

— Нет, мы не танцуем: своя администрация не разрешает, не по-советски это, да и врачебный персонал высказывается против: «вредно, мол». Только этим не удержишь: кто хочет танцевать, в деревню уходит, там и пляшут всю ночь.

Мы, действительно, в клубе не видели танцев. Три-четыре десятка под-ростков, парней и девушек, часами

толклись в клубе, барабанили на рояли, лущили семечки, пели, толкались, искали, как убить клубное, праздничное, дождливое время. Кстати, вся молодежь одета по-городскому. О модных платьях девиц и говорить не приходится. Но нельзя было узнать тех парней, которых мы только что видели на заводе, в засаленном, грязном от нефти и кочегарки платье,—сейчас они примыты, приглажены, всем видом стараются показать, что они молодые люди, в модных сорочках и с тросточками. Девушки держатся обособленно, группами, в то время как мужская молодежь представляет как бы один коллектив.

Беседовали с парнями. Они работают на заводе и учатся в фабзавуче. Все это дельные ребята, выросшие у завода и теперь проходящие квалификацию. Они специалисты по химии, сильны в политграмоте, и нам пришлось быть свидетелями ученой перепалки фабзавучника с старым рабочим-практиком: на стороне одного была опытность, на стороне другого—книга и свежесть научной мысли. Ни тот ни другой не хотели уступать позиции. Завод имеет ряд ступеней молодняка, грызущего гранит науки; много молодежи с завода рассеяно по ВУЗ'ам. Беседуя с фабзавучниками, я сделал замечание, что они такие молодые и уже получают рабочую квалификацию.

— Да что в ней толку,—услышал я на это,—работу-то будем выполнять по девятому разряду, а служба будет по пятому разряду. Завод еще выгоду от нашей квалификации получит...

Особенно интересным на заводе является институт женщин-делегаток. Из специальной секции охраны материнства и младенчества он вырос в разнообразное по деятельности и значительное по влиянию культурное учреждение. Состав его—делегатки от квартир рабочих, так что весь местный быт здесь на учете. Достаточно хотя бы указать на одну из комиссий института—по борьбе с абортными, старающуюся ввести их в закономерное русло. Институт имеет даже подшефную деревню, в которой ведет санпросветительную работу. В общем, это самое

здоровое, выросшее органически учреждение завода.

3. У старожильцев

Что молодежь под действием общекультурных условий завода — советская, вещь вполне понятная. И в го-воре, и в манерах, и в костюме, и в по-литических взглядах вы видите во всем этом социализирующее воздействие современности на молодежь. Конечно, тут целый ряд ступеней и оттенков. Меж-ду прочим, пришлось наблюдать та-кую сценку. Среди общего разговора вдруг заспорили двое, спор разгорелся, перешел почти в ссору (с одной, впро-чем, стороны). Один из спорщиков, изящный молодой человек, со вкусом одетый, литературным языком, под-черкнутыми книжными выражениями, спокойно, с самообладанием защищал современность. Коммунист. На него с яростью напал другой, посерее оде-тый видом, с грубоватыми манерами и каким-то нелепым задором; казалось, он хватил немножко — так возбуждена была его нескладная, хоть и вырази-тельная речь. После оказалось, что это два брата, только они прошли разный жизненный путь. Первый еще до войны попал на работу в лабораторию, раз-вился — стал коммунистом; другой с раздраженностью за свою серость так и остался на черной работе, с ядо-витыми кивками, намеками, а то и без-удержной руганью «камунистов». В общем картина получилась разитель-ная, рисующая, как завод шлифует ра-бочего, как и в самой критике и на-падках, в другом примере больше не-удовлетворенности за неуменье, не-возможность или трудность приспособ-иться к современности, быть может, зависть неудачника, чем действитель-ный протест.

Можно бы много найти оттенков этого культивирующего влияния завода. Но интереснее в этом отношении старо-жильцы. Хотелось посмотреть, что ста-ло с ними, выходцами костромских, нижегородских, вологодских лесов. На заводе есть 12 ветеранов, еще балах-нинских рабочих; их недавно чество-вали как героев труда, подарили часы,

дали пенсию. Мы отправились к ним. Знакомимся, и первое впечатление, какое бросается в глаза, это разница мужей и жен. Мужья говорят грамот-ным, почти литературным языком. Я систематически следил на ряде лиц и не мог не подивиться чистоте и лите-ратурной правильности оборотов речи. Диалектические черты, вероятно, от работы вне дома, на людях, утратились совершенно. М. Карпову надо притти в возбуждение, чтобы по-костромски ока-юще сказать «старо-то дело хóрошо».

Зато старухи, жены рабочих, если не в полной нетронутости, то в значи-тельной чистоте сохранили свой родной говор, и не только говор, но и извест-ный консерватизм мышления и взгля-дов.

Интересно взглянуть на социально-экономическое воздействие завода.

— Сперва, как из Балахны пересе-лились, как-то не по себе было, — передавала старуха. — Ну, что мы такое? Ни мещане, ни крестьяне, так... брод-яги (где же в те времена додуматься до пролетарской идеологии), а потом ничего. Вот ребята у меня, как только из училищу выйдут, я все старалась в Ярославль в какое ремесло отдать. Один у меня кондуктором, другой — весовщиком, третий — на водокачке «на батарее» служит, четвертый в Романо-ве — все на хороших должностях.

Другой старожилец завода Василий Егоров имеет сыновей: один слесарем, другой бондарем, третий масленщик, два в кочегарке и шестой на «лекстри-честве». Все на своем заводе, при чем старшие на менее квалифицированных должностях, чем младшие. — Живут ни-чего. 60—70 рублей получают.

Но в обоих семьях все же оказался из'ян.

— А что, в Романове судебный ис-полнитель приехал? — осведомляется у нас старуха. — Зачем тебе? — Да вот... — и рассказывает старуха, как дети, по-лучая хорошее жалованье, не хотят ничего давать инвалидам-родителям. Суд приговорил платить. — Мы уж мно-го-то не просим, хоть бы рублика два в месяц, ведь вот вырастили, в люди поставили, а не хотят, скажи пожа-луйста....

У другого оказывается тоже больное место.

— А поди к ним, куска не дадут... Что ж—трое детей,—старается смягчить острое чувство обиды старик Егоров.

Да, завод сумел в свое время разбудить производственную инициативу во взятую от сохи мужике, вывел в люди, но людьми еще не сделал...

Очерченные два примера типичные: экономический и социальный рост рабочего под влиянием завода.

Реже, но интереснее это воздействие на творческие силы личности, пробуждение ее к самобытному исканию и художеству. И сейчас вам в лаборатории завода укажут на рабочего, с детских лет работающего в ней, в роде Левши Лескова, подковавшего блоху, спеца по проверке продуктов. Вспышку масла он определяет пальцем. Ему принадлежит ряд усовершенствований в производстве. В другом роде Н. И. Гришин, тоже ветеран. 79 лет, всеми уважаемый, ярый сторонник нового строя. Когда-то, вместе с другим рабочим Ж., он был прикомандирован в лабораторию к Менделееву, чем очень гордится. На всех митингах выступает с словом от рабочих, при чем новое у него так смешалось с старым, что и там действующими являются только мы, рабочие...

— Тут, значит, котельщики наши сделали приспособления к аппаратам (заграничным) и пошло по всем 27 гонкам...

Он подробно может рассказать историю завода во всех перипетиях, как одно время «из-за дилехтора» завод совсем «стал на якорь». — Так, запятая вышла, да администрация вступилась.

Гришин, самоучка, неграмотный, в лаборатории ознакомился с химией (грамоте обучился от своих детей). Попалась ему книжка «Храм познания» — 48 ремесел, «Рудник богатства» — самоучитель.

— Начал я по ней работать, из костей разные вещи делать... Вот из этих костей,—поднял он, рассказывая, с земли кость...—Ведь по золоту ходим! Вдоль ее разрезать—гребенка, а то — пуговицы, остальное — фосфор и

клей. Чего уж я ни делал! Только капиталу нет. А без капиталу нельзя. В квартире варить—дух тяжелый. «Аммониаальный!» Нужно мастерскую...

Так этот человек, вышедший из лесной деревенской глуши, до сих пор еще говорящий «нехть», толкаемый заводом, весь ушел в выдумку, самодельное предприимчивое изобретательство.

Это частный эпизод, но, повидимому, не единичный. Культура, наука, как вода, просачиваются незаметно, неуклонно. Отмечая лишь законченные сложные явления, мы не видим всех ее тайных путей. А кого захватит эта благородная зараза, тот не покинет ее всю жизнь, ни добровольно ни подневольно.

4. Старое и новое

В такой обстановке завода всему старому, консервативному, реакционному, контр-революционному, казалось, не должно бы быть места. И, действительно, старина здесь притаилась, отошла в сторонку, прикинулась невидимкой.

Лишь мимолетно вспыхнет она умирающим пламенем. И это не в одних жалобах какой-нибудь бабушки Авдотьи-повитухи, про которую должно быть еще Д. Бедный писал: «Старуха стара—умирать пора». Целую идилию рисуют ее жалобы.

— А у нас дома-то в старину просто все было: в сарафанах ходили да в лаптях. Я и венчалась в сарафане. А как легко было в лапотках ходить-то. А нонче—все соподи, все соподи! Копишь, копишь демки-то на соподи и не на-копишь никак. Топерь стыдом в лаптях-те ходить, а тогда все ходили. У меня праздничные были лапоточки-те маленькие, портяночки тоненькие, беленькие, выстираю, бывало, я их после праздника да и уберу вместе с лапотками до следующего гулянья. Да и скромно в старину-то все было, а ноне, смотри, какое поскудство: жены от мужей бегают, а ребята-то вон—на-агие ходят...

Другая баба острее выразила скрытую мысль.

— Хвалить—погодить,—заметила она про нынешнее время...

Третья расчувствовалась, шепотком печалилась:

— Что-то будет, что-то будет... Вот, сказывают, хоронить нельзя будет: будут жечь покойников-то, попов не будет, церквов не будет. Поплачешь иногда с горя... Уж лучше умереть.

Религиозный вопрос—самый большой для стариков, особенно старух.

— Половина завода уж в церковь не ходит. Обасурманились совсем. Кто пойдет в церковь—смеются. А мой-то старик, бывало, во всякой одежде в церкву ходил, а теперь, как праздник, не пойду, одежды нет, нехорошо.

Свадьбы пошли все красные. И старики даже требуют, чтобы их хоронили с музыкой. На наш вопрос, как укладываются отношения на этой почве между старыми и молодыми, не бывает ли столкновений, один старик заметил: «Нет, что ж—сами отцы стали». Это прозвучало как грусть по отошедшей жизни.

Сложнее, разнообразнее и острее столкновение старого и нового у деловых людей. Хотя, впрочем, и здесь больше чувствуется наклонность к зубоскальству и словопретьельному состязанию. Вечер Николаина дня. Полупраздник. Встарину все было пьяным-пьянехонько. Рабочий день. Погода хорошая. Все высыпали кучками у крылечек. Подходим к одной, знакомимся. Компания—старик—премированный ветеран, два-три молодых, из них один коммунист, временами подбегает парнишка-комсомолец: компания, — по самому составу располагающая к спору. Он быстро заостряется.

— Посковано все. Как в тискал! Нет тебе два-три дня, аль неделю отгулять. Может я не хочу сейчас работать-то? А тут, прогулял—на второй раз—выговор, а на третий—пробка!

— Нет, это теперь недопустимо, вы должны подчиняться вашему цеху. Подтянуться, старичок, надо. И что ж, что вы гуляли, а потом с трех часов и дует, и дует, да еще баба помогает. Разве это дело?

Через минуту.

— Во всей Расеи нет рубанка настоящего. Ну, ты, коммунист, почему у нас нет рубанков?

— Я тебе так отвечу на этот вопрос,—начинает коммунист развивать статью по экономике из «Правды».

Еще через минуту.

— Нынче хлеб два сорок, а до войны 60 копеек. Тогда я жалованья получал 13 рублей, а нынче 28, вот и сочти. Соль-то была грош, а теперь две копейки, да еще в Тутаев итти.

— А оттуда еще с бутылкой придешь, бывало, да не одной,—в тон бросает реплику коммунист.

— Не теперешней—картофель да извесь, а хлебной.

Комсомолец вставляет несколько ядовитых слов.

— Комсомол! Молокосос! — Грозно поднимается ветеран во весь свой гигантский рост, схватывает полено, по видимому, как привычное орудие против своих юных противников.—Комсомол! Смеешь ли ты мне так говорить?!

Еще через минуту.

— Ну, вот скажи ты, В. П., до советской власти получил ли бы ты премию?

Разговор на время пресекается.

В таком же роде продолжается дальше это невинное словесное состязание, хорошо иллюстрируемое одной фразой:

— Нет, мы с вами не сойдемся: мы беспартийные.

Но, несомненно, они завтра же вечером здесь же у крылечка снова сойдутся, снова позубоскалят, поспорят, огрызнутся на дерзкого комсомольца и мирно разойдутся. Так в этих спорах растворяется старая накипь консерватизма, как знакомая им «нехть» под действием пара и кислот. Старое—удел старости. Кругом идет пестрая шумливая молодая жизнь. Старости среди нее нет места. Изредка высунет она свою голову... в праздничный вечерок на крылечке, где собралась соседская компания. Что ж, и пускай!

5. Фольклор

Но у нас, экскурсантов-краеведов, был еще план и задачи—фольклор, бытование устной поэзии в условиях современности. Общая картина, наблюдаемая по Союзу, одна: ослабление

народно-поэтического творчества под напором новой культуры. Нам хотелось видеть, в каком виде хранится оно у пришедших насельников завода.

Увы! Мир сказочной, песенной поэзии для сознания старых его обитателей — старина, наглухо отодвинутая жизнью. О молодом поколении и говорить не приходится. Пионеры, например, живут своей поэзией, и уж, конечно, никто не удовлетворит записанные у них частушки, в роде следующих:

Коммунистов не любила, все коммуны я кляла,
а тепере дорогого пионера завела.

Или:

Скоро ягоды поспеют, черная смородина:
запущена в пионеры, до свиданья, родина!

Откинем всякие другие соображения: признаем пока во всем этом только плохое подражание. Женскую половинку молодежи здесь занимает романс. Мы записали несколько образцов. Они так же не блещут перлами поэзии. Вот отрывки из них.

При бурной ночи тихо, хладно
скрывался месяц в облаках.
На ту зеленую могилу
пришла красавица в слезах...

Другой посвящен теме, хорошо выражаемой словами:

Зачем ты, безумная, губишь,
работы себе не найдешь?
Зачем задаешься разврату,
за деньги себя продаешь?

Творчество бедное, лепет наивной поэзии или смутные отголоски былого? Мы обратились к старожильцам.

В праздничный вечер Николаина дня, поминаемого и здесь бражной никольщиной, заводим речь о старых песнях. Наши расспросы разбудили полузабытый мир звуков и образов. Стали вспоминать. Такими далекими оказались эти мотивы, выщелоченные заводской жизнью.

— Эй, тетка Анна, не споешь ли песенку, вот им нужно,—обращаются к одной.

— Без песен рот тесен...—Ну, ты спой, ты веселая, много знаешь.

— Да как петь-то? Хошь пой, хошь плачь, не придет милый вскачь.

Мы все же записали у них ряд хорошеющих, свадебных песен, причетов,

сказок. И все это уже здесь скорее археология, чем живая поэзия, и больше может служить для характеристики бытовавшего и уж исчезнувшего фольклора. Одна женщина с увлечением рассказала нам про свою свадьбу.

— У нас теперь пошли все красные свадьбы, а я-то в церкви венчалась. В год свадьбы-то, когда мне выходить, я под Новый год гадала, с подружками мы бегали за девятой вехой. Когда я бегала, пришла к нам сваха. Тут меня спросили, согласна ли я пойти за парня или нет? Я его знала, и он меня, и я сказала, что согласна. Назначили притти на маленькое богомолье.

— Пришел жених с отцом и с матерью и сваха. Стали его родители спрашивать моих, какое у меня приданое. Потом вышли посветоваться на улицу, брать меня или нет. Пришли и сказали, что возьмут...

Вывод у нас остался один. В то время, как у финнов, чехо-словаков, германцев возрождается сейчас старая народная песня, у нас она вымирает, и в частности здесь, не имея почвы в условиях заводской жизни.

Завод имеет сейчас свой фольклор—стенную газету. В таких замкнутых учреждениях, как Константиновский завод, где жизнь варится в собственном соку, местная стенная газета может быть показательным видом творчества, выявляя целиком творческие силы данной среды.

Знакомясь с десятком стальных газет завода, мы однако не вынесли особо выгодного впечатления о богатстве литературного здесь творчества. В большинстве это обличительные статьи, в отношении языка и стиля достаточно характеризуемые следующими отрывками:

«У нас на Константиновском заводе и в окружающих деревнях довольно сильно и основательно свирепствует пьяное зло. Такое пьяное зло, которое постепенно подрывает крепкое здоровье заводского и деревенского населения, а также и сильно ухудшает материальное положение семьи рабочего и крестьянина».

И далее: «Ячейкам ВЛКСМ больше и больше охватить молодежи, взять под

свое влияние всю беспартийную молодежь, втянуть их в общественную работу, как завода, так и деревни, дабы этим самым оттянуть их от разрушающей здоровье влаги спиртных напитков, в общем, а в частности самогона, которым еще изобилует деревня».

Думается, это творчество, сменившее творчество старой народной поэзии, не представляет больших достижений, как и многое другое в современном культурном быту завода.

Подведу итоги.

В щелочах и кислотах, в специфически-индустриализованной культуре завода обрабатывается здесь личность. Мы видели разнообразные пути и виды этого формирования. Им недостает одного и важного—внутренней культуры личности. Технические умения и социальная приспособляемость, воспитываемые заводом, не покрывают всех

ее запросов и открывают зияющую брешь—убогость творчества. Старый поэтический мир изжит, новый не создан. Остается, напр., совершенно пока не использованным такой неисчерпаемый источник, как чудная природа окрестностей Волги и впадающей в нее подле завода Печегды. Мы видели высоту внешней культуры. Достаточно сказать: нас, совершенно посторонних, чуждых заводу людей, у самых простых рабочих принимали без подозрительных выспрашиваний, с простой доверчивой откровенностью, но все же от нас тонко была прикрыта теневая жизнь завода. Это было тактично.

Задача будущего наблюдателя вскрыть эту внутреннюю культуру жизни завода, а его ближайшего будущего, вместе с экономическим подъемом, ее создать и углубить.

Книжное обозрение

1. „НЕДРА“. Кн. XI-ая. Арк. Глаголева.—2. ИВ. ЕВДОКИМОВ. У Трифона-на-Корешках. Бор. Анибала.—3. ЕВСЕЙ ЭРКИН. Август. М. Рудермана.—4. А. СВИРСКИЙ. В дни бесправия. С. Пакентрейгера.—5. МИХ. КОЗЫРЕВ. Дотошные люди. А. Р. Палея.—6. ИВ. КАСАТКИН. Лесная быль. Н. Замошкина.—7. Я. ВАССЕРМАН. Семья. Н. Эйшискиной.—8. И. КЛЕЙНЕР. Театр Мольера. П. Маркова.

«Недра». Литературно-художественные сборники. Книга XI. Изд. «Недра». М. 1927 г. Стр. 239. Ц. 1 р. 75 к.

Наибольшее внимание в одиннадцатой книге «Недр» привлекают «главы из романа» Александра Яковлева—«Победитель».

Тема романа—современный писатель, его жизнь и судьбы—сейчас весьма актуальна. В нашей писательской среде сейчас довольно отчетливо замечается процесс некоего внутреннего самопознания, размышления о своих судьбах и т. п. Это внимание к собственной среде, эти раздумья о задачах своего дела сказываются и на художественном творчестве наших писателей. Целый ряд авторов (напр., Н. Никандров, Пант. Романов и др.) обращаются, конечно, по-разному к литературному отображению жизни современного писателя и его среды. В их числе находится и Яковлев—автор «Победителя».

В напечатанных отрывках Яковлев не идет по пути какого-либо широкого отображения современной писательской жизни, он не дает большой картины современных писательских нравов и быта. В центре повествования стоит один герой. Все свое внимание автор сосредотачивает на одном Лобове—начинающем талантливом фельетонисте и беллетристе. Показ вну-

треннего преодоления Лобовым жизненных препятствий, показ роста Лобова, как человека и писателя, изображение человека-победителя—основная сущность творческого замысла Яковлева. Это вообще излюбленный мотив в творчестве нашего беллетриста. Однако, как это позволяют судить напечатанные главы романа, победительство Лобова, его рост рисуются как-то замкнуто, изолированно от внешней среды. Автор как-то мельком упоминает о редакции газеты, где работает Лобов, об его отношениях к писательской среде. Подлинная действительность современной советской жизни чувствуется на страницах романа довольно слабо. Наша Москва дается совершенно внешне. Конкретной работы над жизнью, работы Лобова, как настоящего советского фельетониста,—мы не видим, автор только упоминает о поездках Лобова в провинцию, но художественно их не показывает. Повторяем, Лобов, как советский литератор, очерчен бледно и неясно. Гораздо большее внимание автор уделяет на обрисовку отношений Лобова к женщинам. Здесь центр тяжести повествования. Художник и женщина—вот основной момент напечатанных глав романа. Автор в самом начале своего рассказа заставляет нашего героя про-

честь письмо своего старого приятеля, где тот дает уезжающему в Москву Лобову такой напутственный совет: «Смотри на женщину, как на злую необходимость. Не давай женщине ни одной капли твоей крови». А затем романист сталкивает Лобова с женщиной, дабы, повидимому, оправдать это приятельское напутствие. Лобову не удается связь с чуткой и любящей женщиной, и он попадает в сети ловкой проституирующей балерины. Он запутывается, теряет душевное равновесие, начинается падение его творчества. Действие стремительно развивается, растет ревность и психическая неустойчивость Лобова, и интрига разрешается покушением Лобова на убийство возлюбленной. На этом обрывается напечатанная часть романа. Так преодолевается Лобовым один из жизненных барьеров. Выйдет ли Лобов «победителем», как пойдет его дальнейший рост—будет показано в следующей части романа.

Но пока, повторяем, в «Победителе» Яковлева новый человек-строитель, подлинный победитель ощущается неясно. А у Яковлева, несомненно, по самому характеру его творческих устремлений, есть возможность показать нам истинного «победителя».

Остальные вещи сборника («Бирючиха»—Д. Крутикова, «Повесть о дружбе»—Мих. Мирова, «Преступление Антона Корнева»—Гл. Алексеева), не представляют собой каких-либо многозначимых произведений, они не выходят за пределы небольших психологически окрашенных бытовых зарисовок. Из них лучше рассказ Гл. Алексеева из быта и нравов современной деревни, слабее «Повесть о дружбе» М. Мирова, посвященная эпохе гражданской войны.

Особо стоят отрывки из воспоминаний В. В. Вересаева—«Из отроческих лет», написанные с обычным мастерством.

Арк. Глаголев.

Иван Евдокимов.—«У Трифона-на-Корешках». Изд. «Пролетарий». Год изд. (1927) не указ. Стр. 243. Ц. 2 р.; в перепл. 2 р. 25 к.

В лучших вещах этой книги, заключающей несколько рассказов и одну

повесть, Евдокимов живописен и своеобразен. Его мужики и бабы от Трифанов-на-Корешках и Стратилатов-во-Фрязинах характерны той крепостью, силой и настойчивостью, которыми отличаются исконные обитатели наших северных губерний.

Описанные несколько грубоватым, но свежим и образным языком, они оставляют живое впечатление. Таков медвежатник Тит и сын его, маленький Митька, ходивший один на медведя («Медведи»), таков старик-коновал, жизнью заплативший за любимого жеребца («Кони»), такова жена машиниста Ольга, преодолевшая трудный путь, прежде чем полюбить своего мужа («Борки и Овражки»).

Менее удачны у Евдокимова те рассказы, в которых преобладает лирическая тема и где он говорит от первого лица («Монах», «Голова», «Тарелки»). Их приподнятый тон вычурен и неверен: что, напр., можно сказать о такой фразе: «...я будто слышу выстрелы ее обезумевших любовью глаз» («Монах»).

Сфера автора не лирика, а объективное бытописание в той грубоватой манере, в которой написаны, хотя бы те же «Медведи».

В коротких вещах фабула не затрудняет Евдокимова, с ней он справляется довольно легко. Необходимо только, чтобы писатель не терял своего основного тона и внимательнее работал над фразой, для избежания промахов, превращающих его чистый русский язык в такие невразумительные предложения: «околоточный казал в серой шинели при шашке усы» (?!) Стр. 190).

Особо следует отметить повесть «Сиверко»; ею, до некоторой степени, определяется роман-хроника «Колокола», открывший нам Евдокимова.

При вторичном чтении (первый раз вышла отдельным изданием в ГИЗ'е в 1925 г.) эта провинциальная повесть о сыне рабочего и его аристократическом друге воспринимается по-новому, и в ней ясней намечаются отдельные черты, предопределившие некоторые части романа.

«Сиверко» написано неровно, психология героев-подростков иногда сомнительна, отдельные главы растянуты за

счет скомканного и заношенного конца, но тем не менее в повести есть по-настоящему живые места, и читается она легко.

Борис Анибал.

Евсей Эркин.—«Август».—Стихи. Кооперативное издательство писателей «Сегодня». Москва. 1927 г. Стр. 74.

Стихам Е. Эркина нельзя отказать в известном тематическом разнообразии: поэт откликается на всякий звук своей эпохи—на рожок автобуса, на переливы гармоника, на страдальческий и голодный крик беспризорного. Но традиционно-мягкая манера письма, способность лирическо-сентиментального «вживания» в явления мешают поэту показать облик современного города. Стихотворение «Автобус», несмотря на упоминания о гаражах и Лондоне, несмотря на бойкий ямб, не вызывает у читателя представления о могучей и опьяняющей сутолоке города. В стихотворении «Рассказ о беспризорном» окружающий беспризорного «натюр-морт» показан чересчур лирически, чересчур мягко.

В ночном переулке, глухом и пустом,
Заходит ребенок в обрушенный дом.
В том доме хозяйка—любезная тьма,
Как милого гостя, встречает сама.

Большого соответствия между замыслом и оформлением достигает автор в стихах о гражданской войне, о суровом героизме прошедших лет, о человеке в революции. Читателя роднит с поэтом общность воспоминаний, болями обожженная юность, трудный и радостный пафос борьбы.

Мы ползаем, ползаем полями смерти
На востоке, западе, на юге.
Динамитом, пулею и саблей
Бережем советскую страну.

Эркин в своих гражданских стихах далек от слащавого оптимизма, далек от дидактики. Социальные мотивы звучат в его стихах не отвлеченно, не надуманно, имеют всегда какой-то внутренний художественно-конкретный смысл.

Лучшее в книге—ряд стихотворений-пейзажей («В лесу», «В полях», «Август» и др.), где Эркин обнаруживает подлинную лирическую выразительность, об-

наруживает то, что можно назвать свободным дыханием поэта. Стихотворения эти просты, реалистичны, дают читателю ощущение богатой эмоциональной насыщенности, ощущение бодрости, здоровья и силы. В этом отношении показательно стихотворение «Август» с его левитановской мягкостью и прозрачностью рисунка.

Играй, играй серебряную песнь,
Босой мальчишка, утром деревенским,
Встречая август—золото и синь!
Не в первый раз
На розовых от холода поранках
Из хлевов
Ты гонишь к лугу ласковое стадо...

Эркин находится на пути творческого становления, и тем досаднее отметить у него недочеты формального порядка. Если ритмические интонации поэта благополучны, то совсем неблагоприятна его лексика. Часты тавтологии («звенят звонки»), архаизмы—«нега», «миги», «улада»,—пережитки прошлого, ненужный риторический мусор. У Эркина есть опасное пристрастие к недействительным, вышедшим в тираж, словесным темам, широко применявшимся Ходасевичем и Мандельштамом. Поэту следует внимательней относиться к языку, очищая его от всего того, что не подсказывается собственным чутьем художника.

М. Рудерман.

А. Свирский.—«В дни бесправия». Изд-во «Пролетарий». Стр. 220. Цена 1 р. 30 к.

Ни суховатое название, ни мрачная обложка не соответствуют тому неприятельному и легкому юмору, которым избобилуют рассказы Свирского. Автор повествует о тех еврейх «черты оседлости», которые в старые времена назывались «людьми воздуха». Все это—мнимые «миллионеры» в прямом и переносном смысле слова. Всем им мерещатся хорошие заработки, хорошие профессии, хорошая личная жизнь, но все они остаются при разбитом корыте, а порой и с разбитыми душами и сердцами. Всякая удача неустойчива, робка и кончается катастрофой. Это распыленные одиночки, каждый по-своему прокладывающие путь между бичами и скорпионами царского бесправия.

«Как я ни был молод, но больших начальников, поверьте, я видал. Видал я виленского губернатора, видал двух архиереев, варшавского полицмейстера и самого одесского градоначальника. Но ни один из них не показался мне таким страшным, как этот московский пристав. Глаза у него были свинцовые, и выглядывали, как пули из заряженного револьвера, и усы медно-красного цвета, как два раскаленных штыка, торчали вверх до самых глаз» («Вечные странники»). В таком духе гиперболизированной насмешки над охранителями еврейского бесправия и над неудачниками-мечтателями написаны все рассказы Свирского, в основу которых положена анекдотическая фабула. Исключение составляет рассказ «Мечты Фейге-Розеле». В нем безысходная горечь ужасающей нищеты превосходит самый злой и дикий анекдот. Свирский сумел подчеркнуть в этом рассказе силу сопротивления человеческой мечты ужасам убогой жизни. Не имея прямой прикладной цели—протеста против бесправия евреев—он сильнее других рассказов бьет по всем тем «дуракам», которые в бесправии национальностей видели разрешение проблемы нищеты.

С. Пакентрейгер.

Мих. Козырев.—«Дотошные люди». Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1927. Стр. 188. Ц. 1 р. 10 к.

Объектом рассказов Козырева является большей частью та самая жизнь современной русской деревни, которую описывают «Шутейные рассказы» Шишкова. Но тогда как «Шутейные рассказы»—веселые, юмористические, в рассказах Козырева силен элемент сатиры, сарказма. Это их достоинство, потому что юморист просто развлекает читателя, сатирик же выполняет некую общественно-полезную функцию. Другое дело—насколько Козырев способен успешно это дело выполнить. На наш взгляд, ему недостает многого, и, в первую очередь,—глубины. Его сатира, правда, зла, но в ней незаметно того интереса к людям, какой отчетливо чувствуется и у Шишкова и у других наших юмористов (Инбер, Зошенко). От этого его рассказы неизменно по-

верхностны и большей частью отдают простым зубоскальством.

Между тем, у Козырева богатый материал. Жизнь деревни он, видимо, знает. В его рассказах и очерках—галерея отрицательных типов деревни: шкурник, самозванец-инвалид, «липовый» бедняк, ложный общественник, пьяница, деревенские бюрократы и взяточники, неудачные сельсоветчики, комитетчики и кооператоры и т. п. Все эти лица показаны очень живо и наглядно. Конечно, такое сатирическое изображение жизни, «с одного боку», имеет свое, давно утвержденное, право на существование. Но в данном случае за ним не чувствуется никакой социальной установки. Впечатление такое, как будто автору нужен просто материал для сатиры, и он берет его, радуясь, что жизнь дает его столь много; так врач-корыстолюбец радуется обилию больных.

Некоторые рассказы, главным образом в отделе «Необыкновенные истории», выводят отрицательные типы горожан—взяточников, бюрократов, авантюристов, прогульщиков. Они умело сделаны и читаются с интересом. Козырев хорошо владеет сюжетом. Правда, он большей частью не прорабатывает сюжет глубоко, набрасывая лишь схему его. Поэтому рассказы имеют привкус газетного фельетона.

Кроме мелких рассказов в книге имеется небольшая сатирическая повесть «Нечистая сила», описывающая «чудеса», произведенные церковниками в уездном городе в связи с изъятием церковных ценностей. Повесть умело скомпонована в отношении сюжета и отличается яркой живописью людей и обстановки, но обладает всеми отмеченными выше недостатками рассказов Козырева.

Книжка отвратительно сброшюрована.

А. Р. Палей.

Ив. Касаткин.—«Тесная биль». Рассказы. Изд. 4-е дополн. Изд. Моск. Т-ва Писателей. М. 1927. Стр. 253. Ц. 2 р.

Трудно сказать, что больше всего пленяет в этой книге: полноценное рус-

ское слово, мастерство короткого повествования, волшебная живость действующих лиц или же ёмкая социальная значимость ее образов. Глухая лесная сторона, многоводье сплавных рек, угрюмая серость деревень и городков, снежная пелена пространств, бурлацкие песни, кряжистые мужики, босоногие и голопузые дети—и всюду, на всех перекрестках жуткий до отчаяния крик о зверюжьей жизни... Деревня, страшная, под'ярменная, беспечная, пьяно-тревожная в предчувствии «неведомой, но надвигающейся беды»—предреволюционная деревня северной стороны. Написанные еще в дооктябрьские годы, «были» Ив. Касаткина и теперь производят неотразимое впечатление своей художественной правдивостью.

Ив. Касаткину в изображении деревни совершенно чужд как приглушенный сарказм Бунина, так и «возвышающий обман» пережившего себя народничества. Мужественно и трезво, без единого намека на отчужденность и бесстрастие, писатель вычерчивает человеческие фигуры своей родины. Во всевозможных положениях и при различном освещении, но всегда с единственной целью—так жить больше нельзя!—показывает он деревню. Заботой о трудовом люде дышат его рассказы. Всего замечательнее при этом то, что писатель ничего и никого не разоблачает, а достигает своей цели единственно-возможным способом: об'ективно-художественным показом действительности. Например, на рассказе «Мужик»—об одном лядащем простодушном крестьянине, спасшем жизнь проезжему барину и попавшем за свою простоту в кутузку, — молодые беллетристы могут учиться трудному сочетанию в произведении ярко-общественной цели с об'ективизмом изложения.

Не в симпатиях и антипатиях автора заключается причина того, что деревня в книге вышла звериной, что пьяный угар застилает ее приветливые дали и перспективы. Пропорция в распределении свето-теней им вполне соблюдена. «Былями» рассказы называются по праву. Жестокости, одичанию, скаредности противопоставлены теплые об-

разы искателей истины («С докукой»), робкий анархический протест и грустная удаль бурлаков («На барках»), мужичья жалость и любовь («Веселый батя») и пр. Иногда можно подметить в книге едва заметный налет любования патриархально-целомудренной старинной (таков замечательный образ деда в «Лесосеке»).

Рассказы Ив. Касаткина—прекрасные образцы деревенской новеллы. Кроме ранее упомянутых, лучшими вещами сборника следует считать: «Лоси», «Как это было» и «Туман». В них все достойно внимания: и разнообразие приемов (от спокойного описания до игры контрастами), и телесная колоритность языка, и очерченная ясность типов. В известном рассказе «Лоси», который мог написать только огромный художник, все звенит от шорохов и тишины зимней ночи, когда «сон и явь по одной тропе бродят». Какой-то словесно-музыкальной хрупкостью и настороженностью насыщен рассказ.

Центральной вещью книги является небольшая повесть «Село Микульское»—в ней собраны все наблюдения писателя над деревней. В своем основном содержании, повествующем о безуспешной борьбе нового человека с косностью и кулачеством деревни, «Село Микульское» является образцом для многочисленных произведений современного деревенского жанра о столкновениях отпускиников и селькоров с темными силами деревни. Перипетии этой борьбы: приезд нового человека, пропаганда, любовь к дочери кулака и пр., кроме, конечно, развязки,—даны были Ив. Касаткиным еще в этой повести.

«Лесная быль» как бы предваряет современного читателя к сегодняшнему дню. Прочитывается она вновь и вновь с увлечением и художественным наслаждением. Рекомендовать ее молодому читателю—прямая обязанность советской критики.

Н. Замошкин.

Явоб Вассерман.—«Семья». Роман. Перевод с немецк. З. Вершининой. Гиз. М.-Л. 1927. Стр. 312. Ц. 1 р. 50 к.

Последний свой роман, носящий несколько новый для автора формальный

и сюжетный облик,—Вассерман посвятил проблеме брака и семьи в буржуазном обществе.

Стремление представить как можно полнее и четче всю сложность вопроса и неудачная, правда, попытка разрешить его продиктовала автору тяжеловатую, загроможденную рядом побочных интриг, сюжетную схему.

Он делает центральным образом романа человека, до конца ощущающего всю остроту кризиса семьи и по роду своей профессии непрерывно сталкивающегося с разнообразнейшими формами этого кризиса: Лаудин, знаменитый адвокат, специалист по бракоразводным делам. Вокруг его образа стягивается целая галерея обреченных, надрывающихся под тяжестью «брачного ига» пар. Автор представляет всяческие вариации супружеского взаимного непонимания, ведущего к трагическим развязкам; он старается проследить нарастание этих конфликтов; он вкладывает в уста героев многословные монологи на тему о браке, заставляет их писать длинные письма-исповеди о причинах их семейных горестей, искусственно сталкивает в причудливых ситуациях трудно соединимых людей,—сплошь и рядом в ущерб стройности и художественности романа, и на пользу его беспомощной и напряженной тенденциозности.

Якоб Вассерман, всегда подкупавший своей углубленностью и особым романтическим размахом там, где он соприкасался с «общечеловеческими» психологическими проблемами, испытанный писатель и изощренный мастер, поверхностен идейно и художественно при попытке не только разрешить, но и поставить социальную проблему.

Лаудин, ищущий выхода из душных стен личного своего «семейного благополучия», увлекается лживой и алчной (как потом выяснилось) актрисой, показавшейся ему символом, возможностью освобождения. В этот период исканий и борьбы с самим собой за разрыв гнетущих традиций Лаудин, волею автора, развивает ряд наивных и утопических прожектов спасения семьи (организацию подобия «сибирских браков», не освященных законом, со-

здание общества идеальных пар, образовавшихся в результате испробования всех возможных форм любви и проч.). Так же бесплодна попытка Вассермана наметить хотя бы путь к разрешению проблемы. Он возвращает во многом разочарованного, но внутренне обновленного Лаудина в лоно оставленной семьи, напрасно стараясь убедить себя и читателя в том, что теперь как-то по-иному будет построена его семейная жизнь. Роман кажется незаконченным, беспомощно оборванным, тема не разрешенной; и неизбежна мысль о том, что конец книги может сойти за начало новой повести о распаде семьи Лаудина, иными словами, о кризисе семьи в современном буржуазном обществе.

Роман был бы очень бледен, если бы сквозь эту схему сухо-очерченных, искусственно подобранных фигур и ситуаций не прорывались струи вассермановской романтики, создавшей несколько живых, освобожденных от схематизма, достаточно красочных образов: актрисы Лу, философа и циника Фрауендорфера и некоторых других. Здесь, и только в подобной сфере, Вассерман интересен, тонок и попрежнему своеобразно и волнующе приподнят.

Н. Эйшишкина.

Исидор Клейнер. — «Театр Мольера». Анализ производственной деятельности. Предисловие Вл. Филиппова. С 32 таблицами в тексте и на отдельных листах. Изд. Гос. Ак. Худ. Наук. М. 1927. Стр. 138. Цена 1 р. 85 к.

До настоящего времени большинство попыток, за немногими исключениями, применить марксистский метод к изучению театра ограничивались скорее проведением аналогии между состоянием общества и театральными формами, чем подлинным диалектическим анализом. Книга Клейнера переходит из области несомненных и общих соображений к конкретному анализу театральным и сценическим явлений. В качестве предмета рассмотрения Клейнер избрал «Театр Мольера». Освобождаясь от груза общепринятых воззрений на Мольера (обвинения в чрезмерной «народности»—Буало, с одной стороны, в «антинародности»—Мишлэ—

с другой), автор пытается вскрыть производственную деятельность Мольеровского театра в зависимости от выполнения Мольером «социального заказа» той эпохи. Клейнер имеет в виду зрителей, на которых работал Мольер и чьи требования он выполнял в своей художественной деятельности. Основой для исследования служат «приходо-расходные записи Лагранжа», актера, казначея и администратора Мольеровского театра.

Именно в анализе «производственной деятельности» и заключается первостепенный интерес исследования Клейнера. Первая часть книги—«введение», включающая «общие предпосылки», характеристику Франции в XVII веке и анализ «искусства театра»—менее интересна: в ней Клейнер принужден возвращаться в кругу методологических предпосылок общего порядка.

В анализе «производственной деятельности» Клейнер становится точен, ясен и строг. На основании анализа «сборов», поступавших от «третьего сословия», которое заполняло партер, как «платная» часть публики, и «дотаций», поступавших от двора в качестве компенсаций за выездные спектакли при дворе, Клейнер рассматривает весь парижский период работы Мольера и

неопровержимо доказывает, что в своей основе Мольер опирался на третье сословие—тогда наиболее прогрессивную часть общества. Анализ репертуара, количество сыгранных пьес, взаимоотношения между пьесами «для двора» и «для зрителя» приводят к разделению всего мольеровского репертуара на три линии—«положительную»—прогрессивную, поскольку она утверждала реалистическое направление духовной культуры, носителем которой было третье сословие («Тартюф», «Скупой» и друг.); «тормозящую»—придворную,—поскольку она отвечала настроениям упадочных классов (комедии-балеты) и, наконец, нейтрализующую, в которой Мольер пытался примирить интересы обоих противоборствующих классов и которая явилась результатом воздействия «придворной» культуры на интересы «третьего сословия». Свои наблюдения Клейнер проводит с чрезвычайной и убедительной последовательностью, вызывая возражения только в единичных случаях.

Такова в общих чертах работа Клейнера. Она является первой частью обширного труда над Мольером, продолжение которого обещает Клейнер.

П. Марков.